МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Н. В. ВАЛЕНТИНОВ

ДВА ГОДА С СИМВОЛИСТАМИ

Воспоминания

Н. В. Валентинов

Два года с символистами

Воспоминания

Москва
Берлин
2019

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)
В15

Валентинов, Н. В.

В15 Два года с символистами. Воспоминания / Н. В. Валентинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 301 с.

ISBN 978-5-4499-0254-2

Автор этой книги – русский публицист Николай Владиславович Вольский (1879–1964 гг.), более известный под псевдонимами Н. Валентинов и Е. Юрьевский. Читатель познакомится с воспоминаниями человека, которого судьба столкнула с «вождями символизма». Среди них – А. Белый, Эллис (Л. Л. Кобылинский), В. Брюсов и М. О. Гершензон. Ряд очерков посвящен поэзии Александра Блока. Книга Н. Валентинова дает интересный и богатый материал для понимания некоторых аспектов русского символизма и ряда выдающихся «актеров» на его сцене.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-4499-0254-2

I
Почему я об этом пишу?

Советский литературный критик Цезарь Вольпе в предисловии к мемуарам А. Белого «Между двух революций» (1934 г.) обмолвился следующей фразой: «Блок, Брюсов, Белый – вот три вождя русского символического движения, деятельность которых тесно связана с зарождением советской литературы».

Заявление неожиданное и темноватое. Официальная теория СССР наверное не согласится трех поименованных символистов относить к родоначальникам советской литературы. Редакция «Литературного Наследства» (1937, том 27–28) говорит о сих вождях с большими нюансами, распределяя их по категориям:

> Одни из вождей символизма, как, например Мережковский, стали политическими эмигрантами, злейшими врагами победившего революционного народа. Другие, как Андрей Белый и Максимилиан Волошин, приветствовали революцию, как факт социального и политического освобождения народа, но остались чужды и враждебны философским и научным основам революционного мировоззрения революционного класса. Третьи, как Блок, не только радостно встретили бурю социалистической революции, но нашли в себе мужество открыто порвать с теми кругами буржуазной интеллигенции, которые видели в Октябрьской революции «разрушение цивилизации» и тянули символистов в стан контрреволюции. Четвертые, как, например, Валерий Брюсов, не только приняли Октябрьскую революцию... но решились претворить свою идейную оценку события в практическое действие, вступили в ряды партии рабочего класса – партии большевиков.

Что представляет собою цитируемый том «Литературного Наследства»? Объемистый сборник в 690 страниц, в котором коллектив из 14 авторов, предварительно благословившись цитатой из Ленина, чтоб получить право заявить:

«Все прошлое подлежит научному изучению» – отдал свои силы изложению и анализу разных сторон русского символизма. Авторы рассматривают философию и эстетику символизма, его язык, проблемы драматургии символизма, политическую позицию символистов в 1905 г., дают обзоры их литературного наследства, приводят некоторые неизданные тексты Белого и Блока и даже такие мелочи как рисунки Блока. Сборник несомненно имеет серьезный характер, но от него остается впечатление неоконченности, каких-то больших пропусков, недосказанности. А кроме того люди символизма в нем не живые, у них мумиеобразный вид. Общественно-литературное течение, называвшееся символистическим, охватывало широкий круг литераторов. На страницах, например, «Весов», кроме Брюсова, Белого, Блока, печатались Мережковский, Гиппиус, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, М. Волошин, Бальмонт, Эллис, Чулков, Городецкий, С. Соловьев, Б. Садовской, Кузмин и другие. Внимание «Литературного Наследства» сосредоточено на первых трех, хотя для лучшего освещения и понимания некоторых сторон символизма следовало бы обращаться не только к ним. Вопросы, связанные с символизмом, трактовались в журналах «Мир Искусства», «Новый Путь», «Вопросы Жизни», «Весы», «Перевал», «Золотое Руно», «Аполлон», «Искусство», в сборнике «Факелы», но «Литературное Наследство» не дает ни малейшей характеристики этих журналов, тогда как в них появились статьи, имеющие большое значение при изучении истории символизма. Абсолютно не затронут «Литературным Наследством» вопрос о том, когда появился в России символизм, кто его основоположники. А. Белый утверждал, что настоящими отцами символизма в Европе нужно считать Ницше, Ибсена, Бодлэра, у нас Мережковского, Вяч. Иванова и Брюсова. Как к этой тезе относится «Литературное Наследство», осталось неизвестным. В 1928 году Ходасевич

писал: «Символизм не только еще не изучен, но, кажется, и не прочитан. В сущности, не установлено даже что такое символизм, не выяснено ни его отличие от декадентства и модернизма, ни его соприкосновения с тем и другим [...] Не намечены его хронологические границы: когда начался? когда кончился? [...] Кто вполне символист, кто “полу”, кто “вовсе нет”?»

Дает ли «Литературное Наследство» на эти вопросы хотя бы приблизительный ответ? Нет. Его авторы колеблются сказать, что ближе к идейной сущности символизма – эстетическое ли мировоззрение Брюсова, или философско-теософические, эстетические и литературоведческие работы А. Белого, или статьи Блока о русской интеллигенции, «Новый Путь» или «Весы», или «Факелы». В оправдание своих колебаний и нерешительности «Литературное Наследство» указывает: «Эпоха символизма только теперь становится предметом научного исследования».

Заявление правильное, но ничего практического за собою не повлекшее, так как, насколько мне известно, после тома «Литературного Наследства» других серьезных сочинений, специально посвященных символизму, в СССР не появилось. Возможно, что советские исследователи хотели бы снова подойти к этому вопросу, но тому мешают два препятствия. Первое – это чугунная официальная теория т. н. «социалистического реализма», превращающая искусство в простую пропаганду идей и требований правительства и преграждающая путь для взгляда на какие-либо иные концепции художественного творчества. Не нужно забывать, что том 27–28 «Литературного Наследства» появился за шестнадцать лет до установления ждановских директив в области искусства, а эти директивы продолжают действовать и в «хрущевское» время. Поэтому не исключено, что в продолжении изучения символизма, в издании для этого новых

сборников или книг, советское правительство сейчас не видит никакой нужды, смотрит на это как на бесполезную трату средств.

Есть и другое препятствие для полного охвата символистического течения советскими авторами. Ходасевич превосходно сказал, что существовал особый *«воздух символизма»*. Тому, кто не дышал этим воздухом, далеко не прозрачным и не озонированным, пропитанным мистическими, теософическими, теургическими и всякими прочими миазмами, трудно понять специфическую породу людей, называвших себя символистами. «В них [символистах] – говорит тот же Ходасевич – есть что-то общее, и не в писаниях только, но также в личностях. Они могут и не любить друг друга, и враждовать, и не ценить высоко ... Но это не связь людей одной эпохи. Они – свои, “поневоле братья” – перед лицом своих современников-чужаков».

У советских авторов, десятилетиями обтесывавшихся топором диктатуры и грубейшей идеологии, вряд ли существуют сейчас те органы восприятия, которые нужны, чтобы с должной полнотой, ничего не опуская, охватить умом, чувством, взглядом символистическое течение и его странных людей. От них остались дневники, воспоминания, ряд еще неопубликованных материалов, хранящихся в архивах Государственного Литературного Музея. Их нужно обработать, а это более чем трудно людям, не дышавшим воздухом символизма. То, что происходило тогда, для них бесконечно далеко и должно быть чуждым, если только они не хотят быть обвиненными в «уклонах». На исчезнувший символистический мир они смотрят (и должны смотреть) как бы с далекой планеты. Из поля их зрения и чувства неизбежно должен пропадать ряд черт и фактов, как будто ничтожных, а на самом деле часто являвшихся решающим

элементом в характеристике действительных воззрений или самочувствия того или иного символиста.

В ином положении свободная литература эмигрантов. У них нет насильно навязанных препятствий для ощущения и изучения символизма, и среди них еще есть современники символизма, видевшие, знавшие его людей. Эмигрантская литература, касающаяся тех или иных сторон символизма, довольно обширна: воспоминания Степуна, Маковского, очерки Цветаевой, Тырковой-Вильямс, биографии Блока и Белого, написанные Мочульским, ряд статей в «Новом Журнале», «Новом Русском Слове», «Возрождении», «Опытах». Как ни ценен этот материал, я нахожу, что в нем много недосказанного и много, и очень важного, просто не сказанного. Это обстоятельство и побудило меня выступить «волонтером» на подмогу исследователям символизма и в мемуары о нем и его людях принести кое-что, до сих пор в печать не попадавшее. Мои слова вызовут некоторый шок у людей, знающих или слыхавших обо мне, как человеке, пишущем только о политических и экономических вопросах.

«Позвольте, – скажут мне, – вы то, причем тут? Вы не поэт, не беллетрист, не литературовед, не литературный критик – какое отношение может быть у вас к символизму? Что вы можете сказать о такой далекой от вас области?»

Как и почему я попал в среду московских символистов и в течение двух лет изрядно надышался символистическим воздухом – о том долго рассказывать. Главное не в этом. Я действительно не принадлежу к почтенной корпорации деятелей искусства, не литературовед, не присяжный литературный критик. Мои отношения с московскими символистами сложились и развернулись в особой плоскости, и именно по этой причине я о символистах могу сказать неведомое другим, даже близко их знавшим. Например, А. Белый в своих мемуарах сообщает, что я «будоражил» его «вопросами,

связанными с марксизмом». Никто кроме меня таким делом не занимался и, естественно, ничего о том написать и не мог. А между тем это «будоражение» открывало некоторые очень оригинальные представления и воззрения Белого, в частности, столь ошеломившую меня символистическую триаду – «Маркс, Апокалипсис, Соловьев», – ни в одном из мемуаров его не отмеченную, как ни в каких мемуарах о символизме не отмечена выдвинутая в споре со мною теза Эллиса: Бодлэр в его «Цветах зла» гораздо больший революционер, чем Маркс в «Капитале».

История русского символизма и сопровождавшего его «воздуха» еще не написана. Некиим остовом, единственным приближением к ней, являются четыре работы А. Белого: его воспоминания о Блоке в берлинской «Эпопее» (1922) и книги: «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (появившаяся в 1934 г., в год смерти Белого). Однако, созданная в рамках автобиографии беловская история символизма переполнена огромным искажением фактов, страдает от разных умолчаний, и ею нельзя пользоваться без значительных выпрямлений, поправок, дополнений. Цезарь Вольпе это чувствует и пишет:

> Взаимоотношения с Блоком, характер интереса Белого к социал-демократии и марксизму, проблемы кантианства Белого, вопросы использования эстетикой символизма современного научного знания... – эти узловые вопросы для понимания эстетики и мировоззрения Белого в мемуарах освещены субъективно и нуждаются в дополнениях, коррективах и критике.

Указанные мемуары Белого оканчиваются на 1910 годе. Вольпе, как и другие советские авторы, не знал Белого того времени, воздухом той эпохи не дышал и настоящих «корректур», а тем более «дополнений», он внести никак не может. В отличие от него – я могу и, мне кажется,

обязан это сделать. Никто из нас, покидая сей прекрасный мир, не должен уносить с собою вещей, о которых хотели бы узнать, но без помощи предшественников не могут знать, следующие за нами.

Мочульский тоже лично не знал Белого, и это очень чувствуется в написанной им биографии Белого, кстати сказать – самой обстоятельной работе из всех, посвященных этому писателю. «Петербург» Белого Н. А. Бердяев считал гениальным произведением, а Мочульский «блистательным завершением традиций великой русской литературы». Но, как всем другим, Мочульскому неведомо, ни с какими идеями зарождался «Петербург», ни под чьим влиянием он превратился в роман, появившийся в 1913 году в сборниках «Сирин». Считаясь с важностью выяснения этого вопроса, я счел нужным посвятить «Петербургу» две объемистые главы.

Тем, что сказано, не исчерпывалось мое побуждение писать о московских символистах – Белом, Брюсове, Эллисе, Сергее Соловьеве. Они были – их уже нет в живых – люди очень талантливые, необычного типа. В их голове бурлили острые вопросы и среди них такие, которые временами вызывали у меня яростную с ними полемику. Все время подымались проблемы мистического и религиозного характера. Обсуждались проблемы культуры и, как доказывал Белый, неизбежность катастрофы и «взрыва» всей современной культуры. Ставились проблемы о взаимоотношении Запада и Востока, призвании России, может ли она европеизироваться или «каналы европеизации засосут российские поля». Дебатировались вопросы об индивидуализме и коллективизме, отношениях «Я» и «Мы», оптимистическом и трагическом мироощущении, о целях искусства, его общественном значении, и мне пришлось выслушивать по сей день непонятную для меня теорию, которую Белый начал вынашивать в 1908 году в качестве философской основы

теурго-символистического мировоззрения. Не знаю, будут ли когда-либо у этой рукописи читатели, но если будут, они не могут не заметить, что некоторые, и не маленькие, проблемы, выдвигавшиеся в беседах и спорах того времени, свою актуальность совсем не потеряли. Внешне приняли другой вид, глубинная же сущность их осталась той же.

Несмотря на хорошие отношения ко мне московских символистов, особенно Белого и Эллиса, я, конечно, был в их среде чужаком, белой вороной, человеком из другого мира. Их воззрения обнаруживались в спорах со мною, чаще всего в полном противоположении тому, что я тогда защищал. Это обязывает меня на страницах, которые последуют, в ряде мест показывать, какие идеи я тогда разделял. Только в этой связи станет понятнее и яснее, что̀ и почему мне противопоставляли Белый, Эллис, Брюсов.

Хочу подчеркнуть указание на *«тогда»*, потому что теперь – *в 1955 году*, мои взгляды значительно отличаются от взглядов прошлого времени. Например, в годы встреч с символистами мне была присуща резкая критика индивидуализма. В ней, помимо других мотивов, была законная реакция на выпиравшую после революции, особенно в литературе, идею личности с безобразными наслоениями на нее эгоизма, эротизма, мистицизма, анархизма и всякой разнузданности. На этой почве вырастало мое постоянное выдвигание «Мы» над «Я». Но этот кардинальной важности вопрос в исторической обстановке много сложнее, чем я тогда думал. Так, французам с их крайним индивидуализмом нужно всемерно прививать идею «Мы». Наоборот, в Советской России, где диктатура десятилетиями убивала все проблески личности, стремясь заменить ее безличной, покорной человечиной, «мычащими мы», если употребить выражение Белого – там рост индивидуализма, выпрямление рабски согнутой личности – явление необходимое и желательное.

Нужно пройти через эту стадию прежде, чем подняться на высшую. Однако, в главе «"Я" и "Мы"», трактуя этот вопрос, я не счел нужным подправлять мои прежние воззрения, излагал их точно в таком виде, какими они были тогда. Этого правила я держался на всем протяжении моей работы.

Укажу и на другое изменение. Хотя социализацию хозяйства я и прежде не представлял себе только в грубо монистической форме сплошного огосударствления, превращения всего в государственную собственность, а плюралистически (собственность государственная плюс собственность муниципальная плюс кооперативная плюс общинная), все же, как почти у всех социалистов того времени, у меня несомненно была упрощенная вера в некое *«магическое»* значение социализации, своим появлением уничтожающей неравенство, образующей, если не идеальное, то близкое к нему бесклассовое общество. От этой «магии» я ныне свободен. Мистик Эллис в этом вопросе оказался бóльшим реалистом, чем я. Он прозревал «черные контуры» там, где я видел лазурь.

Изменения произошли и в том, что я назвал бы моим «европеизмом». Для меня в 1907–1908 гг. основной задачей России была ориентация на Европу, ее европеизация. Под нею я разумел не одну смену политических форм и учреждений, а отказ от самобытности, переделку наших Обломовых, Каратаевых, Рудиных, создание нового культурного человека, изменение психологии, форм и ритма жизни, самочувствия, быта, навыков всякой работы, отношений людей. Мое постоянное настаивание в беседах с Белым на «европеизме» объясняется боязливым сознанием существования в России *глубокого антиевропейского стремления,* имеющего мощные многовековые корни, могущего вырваться на волю, смыть все европейские черты с лица России, бросить ее назад, во что-то подобное Московии XVI–XVII веков (что и случилось в царство Сталина, реабилитировавшего

Ивана Грозного). В России искони жили и ненависть к Европе, и органическое отталкивание от нее, и вера, что у России особая, неевропейская стать, и уверенность, что духовно, морально «мы на много выше Европы», что «она нам не учитель», что мы не пойдем, не должны и не можем идти европейским путем. В разных расцветках такие идеи присущи многим нашим большим людям и целым общественным течениям – и правым, и левым. Для одних Россия – излюбленная страна Христа (мы услышим это и от А. Белого); для других – страна социализма, призванная первой в мире его осуществить. Идеи о сей особой стати мы найдем у Чаадаева, Гоголя, Одоевского, Тютчева, славянофилов, Герцена, народников, Достоевского и многих прочих, не говоря уже о Константине Леонтьеве, неукротимая ненависть которого к Европе довела его до желания «от всего сердца» полной гибели, разрушения Франции, представлявшей, по его мнению, «квинтэссенцию» презираемой им западной культуры. Не с воздуха взялись эти мысли и течения[1]. Под ними многовековая почва, и среди их родоначальников не следует забывать инока Филофея и его послание к великому князю Василию – отцу Ивана Грозного.

Завершающей идеей моего «европеизма» была мысль, что европейская культура – и только она *одна* – есть культура *мировая,* как это утверждает Политик в «Трех разговорах» Вл. Соловьева.

---

[1] Этой теме была посвящена написанная мною в 1912–1916 гг. большая книга в 650 страниц «Россия и русская культура». Рукопись, плохо спрятанная, попала в руки жившей у нас старушки, которая, считая, что исписанная бумага никакой ценности уже не имеет, употребила ее в 1918–1919 гг. листок за листком, для разжигания печки. Очень огорченный уничтожением многолетней работы, я дал зарок никогда больше не делать попыток писать научные или наукообразные книги.

«Что такое русские в грамматическом смысле? Настоящее существительное к прилагательному *русский* – есть *европеец.* Мы – *русские европейцы,* как есть европейцы английские, французские, немецкие [...] Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения европейской культуры повсюду. *Все должны стать европейцами.* Понятие европейца должно совпасть с понятием человека и понятие европейского культурного мира с понятием человечества. *В этом смысл истории.* Сначала были только греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на западе, потом и на востоке: явились русские европейцы [...] теперь должны появиться турецкие, индийские, японские, даже, может быть, китайские. Европеец это понятие с определенным содержанием и расширяющимся объемом».

Политик Соловьева, находя, что в русской душе на дне есть несомненно некоторый «азиатский осадок», все же утверждал, что мы, русские – «бесповоротные европейцы». Насчет этого у меня были очень большие сомнения, но, исколесив в предвоенное время Россию, чувствуя всюду изменяющийся «воздух», я тоже стал думать, что мы действительно стали на путь «бесповоротного европеизма». История принесла оглушительное, трагическое опровержение. С 1929 года откатываясь от Европы, потом огородившись от нее железным занавесом, Россия под Сталиным превратилась в тоталитарную Московию. Из Европы заимствовалась техника, а духовная суть европейской культуры засекалась в концентрационных лагерях. Удастся ли России вырваться из колодок антиевропеизма и когда – большой вопрос. Тезу Политика у Соловьева об европейской культуре и европейцах-русских я целиком воспринял еще в студенческое время, сочетав ее с марксизмом, в котором видел особенно нужную нам *европейскую идеологию,* несущую обещание, что мы не останемся полуазиатской страной и «из Востока превратимся в Запад». И в этой области ждало трагическое опровержение. Оказалось, что есть *два марксизма,* и если один нес дух

Европы, другой – тот, что, вместо православия, стал государственной религией заместившего царское самодержавие коммунистического тоталитарного режима – нес ненависть к Европе и дух ее убивал и у себя, и у подмятой им под себя Восточной Европы.

Злоключения европеизма этим не исчерпываются. К изменению, видимо, вынуждается само понятие о нем, как мировой культуре. Пятьдесят лет назад оно могло казаться верным. Сейчас оно представляется устарелым. Слишком велики происшедшие в мире изменения. Европейский Запад, даже со включением в него заокеанского продолжения в виде Соединенных Штатов и Канады, ныне уже не может претендовать на право первенства, на руководительство *миром и Востоком.* Кроме того, нужно внести ясность в до сих пор ее лишенные, противоречиво употребляемые понятия цивилизации и культуры. Но это вопросы, которых в этом маленьком предисловии лучше и не касаться.

II
Первое знакомство с А. Белым

Вспоминая осень 1905 года, Андрей Белый писал:

«Москва клокотала – банкетом, митингом, взвизгом передовиц: о “весне” в октябре и об октябре в весне; клокотали салоны; из заведений, ворот заводов, подвалов выскакивали взволнованные говорливые кучки с дергами рук, ног и шей; пыхали протестом и трубы домов; казалось: фабричный гудок вырвался в центр города; мохнатая, манчжурская шапка на самом Кузнецком торчала вопросом; человек с фронта подымал голос: “Так жить нельзя”...»

На Садовой-Триумфальной в театре Зон, в те дни как всегда переполненном народом, «клокотавшим митингом», говорил Станислав Вольский (Соколов). За ним должен был выступать Бунаков-Фондаминский, потом еще кто-то, потом я. В ораторах недостатка не было. Недалеко от нас на подмостках стоял молодой человек. Два года спустя Л. С. Бакст нарисует его портрет: большой покатый лоб, начинающие редеть волосы, несколько припухлый нос, густые усики, как бы приклеенные к нему с чужой губы. Тогда, в 1905 году, он был красивее, много свежее. Особенно выделялись серо-голубые глаза, лучистые, обрамленные непомерногустыми ресницами. Он восторженно смотрел на ораторов и особо «ударным революционным» словам начинал неистово аплодировать первым, подымая над своей головой тонкие руки и сопровождая апплодисменты пронзительным «браво». На митингах никто тогда не кричал «браво», никто так не воздевал рук. Молодого человека с лучистыми глазами нельзя было не заметить. Уж очень он выделялся из толпы. «Кто это?» Мне ответили: «Декадент Андрей Белый». Если бы А. Белый узнал, что его так рекомендуют, должен был бы обидеться: он не декадент, а символист. Но осенью 1905 года эти тонкости

меня совсем не интересовали, и о символизме, кроме едкой, высмеивающей Брюсова статьи Владимира Соловьева, прочитанной еще в школьнические годы, я ничего больше не знал.

«Декадента» мне пришлось снова увидеть дней через пять. Двери университета были тогда широко открыты для всяких митингов, собраний всех партий. Улица властно врывалась в него и где хотела устраивалась по аудиториям. Открыв дверь в одну из них в новом здании университета, я увидал человек пятьдесят, большей частью студентов, с явным любопытством (именно с любопытством!) слушающих кого-то «с дергами рук, ног и шеи», то притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягиваясь на трапеции, то выбрасывающего их, словно от чего-то отшатываясь. Подойдя ближе, я узнал «декадента». Ни по форме, ни по содержанию его речь не походила на то, что все в то время говорили. Странно звучавшее слово «волить» у него постоянно сочеталось со словом «взрыв», произносившимся с особым ударением на букву «ы». Он поучал аудиторию, что нужно теперь «волить взрыва», и «взрыва» такой силы, который должен ничего не оставить не только от самодержавной государственности, но от государства вообще. Из всей его речи, со ссылками на Владимира Соловьева и Ницше, выпирал неотесанный анархизм, нелепейший, явно непродуманный. С ранних лет анархизм мне всегда казался системой архиглупой. Я не выдержал и стал перебивать Андрея Белого. Несколько смущенный моими замечаниями, – а я старался их сделать, возможно, более колкими и насмешливыми, – он стал спотыкаться и, оборвав свою речь, обратился ко мне: «Вы хотите возражать, уступаю вам место».

Вскочил на подоконник, опрокинул голову на поднятые ноги, закрыл лицо руками. В длинном ответе Белому (был я в те годы до крайности многословен) я указывал, что именно

теперь, когда вопрос идет о первых настоящих попытках заменить старую государственность новой, речи об анархии и уничтожении государства вообще могут держать только безответственные болтуны, «декадентски» не ощущающие политических проблем настоящего. Ничего особо интересного или оригинального я не говорил, в сущности это были обычные и весьма заезженные аргументы против анархизма. Но я стал злиться, когда Белый, не отымая рук от лица, то есть как бы демонстративно закрывая уши и не желая слушать меня, стал пускать сначала потихоньку, а потом чаще и громче: «Так-с, так-с». Эти возгласы, казавшиеся мне насмешкой, до того меня разозлили, что я крикнул: «Вместо того, чтобы бессмысленно, по-овечьи "такать" и закрывать уши, лучше обдумать и понять то, что вам говорят».

Белый вскочил с подоконника с лицом полным недоумения.

«Я совсем не закрывал ушей. Это вам так показалось. Я слушал вас очень внимательно. Не понимаю, зачем вы на меня сердитесь. Когда я говорил "так", это было одобрение того, что вы сказали, то есть я с вами соглашался или становился быть согласным».

Слышать человека, только что проповедовавшего анархию и немедленно после этого соглашающегося с резкой критикой, отвергающей анархизм, было столь неожиданно, что и я, и вся остальная публика в аудитории расхохотались. Рассмеялся и Белый, но с очаровательной улыбкой тут-же заметил: «Я должен внести в сказанное мною поправку. Согласен я отнюдь не со всем, а лишь с частью той критики, которую направили против меня. Какая часть важнее – та ли, с которой я соглашаюсь, или та, с которой я не согласен – об этом нужно еще подумать».

«Декадент» – подумал я – большой оригинал. Делать такое признание, как он, немногие решатся.

Вскоре произошла у меня и третья встреча с Белым. Рассказ о ней требует маленького предисловия.

В начале января 1905 года я возвратился из Женевы в Россию нелегально, с фальшивым паспортом и твердым намерением «делать революцию». Числиться «профессиональным революционером», и в качестве такового получать «содержание» от партии, я не хотел, но, так как для нелегального интеллигента никакого другого заработка, кроме писания в буржуазные газеты (лишь бы они были приличными), я не видел, – мне, будучи в Харькове, этим делом и пришлось заняться. Одновременно я послал моей жене, жившей в Москве, несколько статеек и корреспонденций, прося ее попытаться поместить их в каком-нибудь московском органе. Она отнесла их в выходившую тогда «Вечернюю Почту», издававшуюся Холчевым. Там они были приняты, и мне предложили писание продолжать. Когда из Харькова, вследствие усиленной слежки, весною пришлось убраться и переехать в Москву, я уже не был для «Вечерней Почты» незнакомцем. Эта газета, появившаяся задолго до осенних свобод, была не обычного рода изданием. Редактировал ее Н. В. Туркин, впоследствии редактор октябристской правой газеты «Голос Москвы», но в 1905 году державший курс с сильным загибом влево. При покровительстве Туркина в газете появился целый революционный выводок: четыре социал-демократа, раньше не знавших друг друга. В ней писал Г. Алексинский, будущий член Второй Государственной Думы; Власов, в том же году умерший; Майстрох, бывший народоправец, ставший социал-демократом, излагавший недозволенные мысли каким-то птичьим языком; наконец – я. При всей осторожности Туркина, левый дух газеты обнаруживал себя слишком явно, и газету прихлопнули. Знакомство с Туркиным было для меня крайне полезно, при его посредстве я, не имевший связей в Москве, быстро приобрел довольно широкий круг

знакомых среди людей, участвовавших в общественном движении. Туркин меня познакомил с князем Сергеем Ивановичем Шаховским, братом Дмитрия Ивановича – одного из будущих лидеров только еще складывавшейся конституционно-демократической партии (кадетов). С. И. Шаховской был одержим революционной страстью в размерах, далеко превышавших кадетские нормы. А. В. Тыркова-Вильямс в своих воспоминаниях «На путях к свободе» пишет, что, приготовляясь к революционному перевороту, он организовал у себя склад оружия. Когда я с ним познакомился, одной из тем, к которым Шаховской постоянно и упорно возвращался, была необходимость пропаганды среди солдат московского гарнизона. Это была его idée fixe.

«Это главное, без этого никакого толка не будет. Я имею хорошие связи с казармами, воспользоваться же ими сам не могу. Для такого дела я слишком толст и слишком на виду, немедленно провалюсь и провалю других. Хочу передать мои связи вам». И он действительно мне их передал, и так с помощью сиятельного князя возникла (парадокс того времени) военная организация при московском комитете меньшевиков.

У Шаховского я познакомился с А. Н. Тургеневым, отец которого был двоюродным братом Ивана Сергеевича Тургенева. На этом знакомстве нужно остановиться, с разных сторон оно имеет отношение к А. Белому. А. Н. Тургенев был женат на С. Н. Бакуниной, дочери Н. А. Бакунина, дяди «Прямухинских» Бакуниных, в том числе и знаменитого анархиста, но в то время он с нею уже разошелся. От этого брака Тургенев имел трех дочерей: Наталью, Анну (в воспоминаниях Белого и других она всегда именуется «Асей») и Татьяну. Старших дочерей я видел один раз, будучи у А. Н. Тургенева. В памяти, но как во сне, осталось впечатление о двух очаровательных девочках. Одна из них была

застенчивой и казалась немного букой: это была «Ася». С нею в том же году, у ее тети, знаменитой певицы М. А. д'Альгейм, познакомился и А. Белый. Ему понравились «миндалевидные глаза Аси, в улыбке которой слилась Джоконда с младенцем». Близкое знакомство Белого с Асей произошло много позднее – в 1909 году. В 1910 году оно перешло в дружбу, в симпатию, в которой «ничего не было ни от страсти, ни от пылкой влюбленности». Вместе с Асей Белый, оставляя Москву, отправился в Италию, Сицилию, Тунис, Египет, Палестину. Они решили «соединить свои руки», но не «решали вопроса о том, кем будем: товарищами, мужем и женою?» Возвратясь в 1911 году из первого путешествия, Белый и «Ася» с 1912 года снова уехали за границу, на этот раз надолго, посетили Брюссель, Лондон, Париж, Норвегию, Германию, чтобы осесть в Швейцарии, в Дорнахе, где Белый, захваченный антропософской мистикой, сделался адептом Рудольфа Штейнера. В 1916 году А. Белый, в связи с призывом на военную службу, вернулся в Россию и, в сущности, это и конец его отношениям с А. А. Тургеневой. Весьма напыщенно, косноязычно, таинственно и со свойственным ему эгоцентризмом он в следующих словах обрисовывает суть и смысл их шестилетней совместной жизни. Ася, писал он в «Между двух революций», стала «живой восприемницей всех недоумений моих; разговор наш о правде жизни, связанный с решением так или иначе действовать, не мог состояться в условиях московской и даже российской жизни [?]; надо было объекты мук моих удалить, чтобы с птичьего полета увидеть себя и других в годах, которым сознание говорило: нет! Разговор этот длился несколько лет; когда он окреп для каждого из нас в решение, то смысл нашего пути стал исчерпываться; я был по-новому притянут к России; путь первой спутницы жизни моей определился на Западе; и мы разошлись с одинаковым признанием значения и ценности нашей встречи, каждого из нас выручившей».

В этой цитате следует подчеркнуть наименование Аси – А. А. Тургеневой – не женою, а «спутницей жизни моей». Различие очень важное. А. А. Тургенева, вопреки всему, что на этот счет писали и думали, женою А. Белого в том смысле, какой обычно вкладывается в это слово, никогда не была. Из ее письма, полученного мною в ответ на мои вопросы, выяснилось, что в «Путевых заметках», описывающих их первое путешествие и составленных под ее «контролем», слово «жена» отсутствовало, но в сопровождении других неверностей появилось в этих «Заметках» при их напечатании в 1921 году, вызвав резкий протест А. А. Тургеневой и заставив Белого словом «жена» уже больше не пользоваться. Все это может показаться мелочью, не заслуживающей внимания, на самом же деле – важно для полного понимания и ясного представления о том странном существе, каким был Белый.

Возвращаясь к знакомству с отцом «Аси», А. Н. Тургеневым, скажу, что это был типичный русский интеллигент (внешне похожий на чеховского Иванова в Художественном театре), настроенный столь революционно, что хранил у себя, как это подтверждает А. А. Тургенева, какие-то бомбы. С ним я встречался довольно часто и, кажется, попал в число симпатичных ему людей, так как летом или в начале осени 1905 года он настоял, чтобы я поехал с ним на несколько дней отдыхать в его имение в Тульской губернии. А. Белый называет Тургенева разорившимся помещиком. Это было сразу видно, когда вы попадали в его имение. На всем была печать развала, и занятый в нем персонал явно ничего не делал. Тургенев, приехав, отдавал ему какие-то приказания, а мне говорил: «Зря это делаю, ведь знаю, что, когда уеду, ни одно приказание выполнено не будет. Все это мне надоело, противно, души помещичьей у меня нет. Пусть имение скорее продается с молотка». Это не помешало нам провести в его имении несколько приятных дней, много гулять по полям,

вести долгие разговоры и съесть, как иронически говорил Тургенев – «последнюю курицу и последнюю утку имения».

На второй день нашего приезда мы отправились с ним в Ивановское, имение Бакуниных, недалеко от тургеневского имения. Какие это Бакунины, в каких родственных отношениях они находились с тверскими Бакуниными и, следовательно, с анархистом М. Бакуниным, на это ответить, хотя мне это разъясняли, сейчас не берусь. От всей поездки к ним мало что осталось в памяти. Помню только большую красивую комнату со старинной мебелью, картины или портреты на стенах, золотой блик от солнца через занавес открытого окна, прыгающий по паркету пола, и высокую седую даму. Это была мать бывшей жены Тургенева, бабушка «Аси»; главным образом, для свидания с нею, как я мог понять, Тургенев и приехал в Ивановское. Больше никого там не помню. Но зато превосходно помню разговоры, которые, возвратясь от Бакуниных, мы вели с Тургеневым об анархизме, о Михаиле Бакунине, о его вражде с Марксом, об авантюре с Нечаевым, об истории с деньгами за не сделанный Бакуниным перевод «Капитала», об его отношениях с Герценом, об исключении Бакунина из Интернационала. Я мог это знать, так как лишь недавно об этом читал, будучи в Женеве. Тургеневу же, не знавшему всей изданной за границей литературы, кое-что было неизвестно. Он с интересом слушал меня и, видимо, вообразил, что я большой знаток анархизма, в чем, вероятно, из свойственного молодым людям тщеславия я Тургенева не разубеждал.

«Раз вы такой знаток анархизма, – говорил он мне, – я, когда приедем в Москву, вас непременно сведу с одной группой анархиствующей молодежи. Люди очень талантливые, среди них особенно выделяется сын знаменитого математика, профессора Бугаева. Кое-кого из этой группы я знаю. Жаль, что эта молодежь, зараженная нелепыми теориями

Соловьева, несет такую политическую чушь, что уши вянут. Постарайтесь на них повлиять. Овчинка стоит выделки. То обстоятельство, что вы нелегальный, подпольщик, только недавно приехавший из Женевы, ваш авторитет усилит. Знаю, что эта молодежь на людей из подполья смотрит с мистическим почтением».

Как и через кого Тургенев меня «свел» с А. Белым, не помню (кажется, через Сизова), но встреча с ним произошла совсем не после этого разговора с Тургеневым, а много, много позднее, так как, придя на свидание, я увидел, что неизвестный мне «сын профессора Бугаева» и «декадент Андрей Белый», с которым я недавно полемизировал в Университете, одно и то же лицо.

Беседа с Белым с глазу на глаз, без свидетелей, продолжалась, пожалуй, часа три. В своих мемуарах «Начало века», изданных в 1933 году, Белый писал, что до 1905 года он был «социально неграмотен», хотя с семнадцати лет «поволил» собственную систему философии. Он знал Лейбница, Канта, Шопенгауера, Вундта, Вл. Соловьева, Ницше, Гартмана, но не читал Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов, Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера, Молешотта, Чернышевского, Ленина, Локка, Юма.

К тому, чего он не читал, А. Белый мог бы прибавить имена Чаадаева, Добролюбова, Белинского, Лаврова, Михайловского, Плеханова и многих других. Белый подчеркивал, что был социально неграмотен только до 1905 года, а в этом году уже читал социально-политическую литературу. Возникшие в 1905 году издательства бросили на рынок массу до того времени недозволенной литературы, и было бы странно думать, что она никак не затронула А. Белого. Но то свидание, о котором я сейчас рассказываю, с полной ясностью обнаружило, что осенью 1905 года он был действительно

«социально неграмотен» и крайне неграмотен. Он, например, говорил о марксистах, социал-демократах, а чем они отличаются от социалистов-революционеров, не знал. Он не имел ни малейшего представления об истории революционного движения в России, а об аграрной программе говорил, что она вполне ясна: «Сжечь, выжечь до тла помещичьи гнезда – вот и все». Из разговора с ним выяснилось, что анархизм в том виде, в каком он его проповедовал в аудитории Университета, обосновывается не какими-либо посылками общественно-политического характера, как, например, у Кропоткина, а абстрактно-метафизическими постулатами и мыслями Соловьева о «конце истории». Белый возражал мне с большой страстью, при чем язык, которым он пользовался, был на много выразительнее и красочнее обычного, избитого языка революционной среды. Хотя я только года на два был старше А. Белого, однако, в течение этой встречи чувствовал себя взрослым рядом с неопытным юнцом. Многое из того, что я говорил Белому, ему было неприятно. Он дергался, когда я говорил ему, что он не знает того-то, того-то, того-то. Однако, расстались мы как будто без неприязни с его стороны, и у меня осталось впечатление, что в главном я его убедил, поборол разъедавшую его «инфекцию анархизма». Некоторое подтверждение тому принесла несколько дней спустя мимолетная встреча с Белым у П. М. Ярцева. Когда я пришел к Ярцеву, Белый уже уходил и в передней, отозвав меня в угол, шепнул: «От моей инфекции, кажется, исцеляюсь. Ваши социал-демократические пилюли мне помогли».

Два слова о П. М. Ярцеве – неудачном драматурге, но тонком театральном критике и режиссере (он окончил свою жизнь эмигрантом в Болгарии). Осенью 1905 года он поместил в журнале Кожевникова «Правда» очерк «Красные дни» – лучшее изображение в нашей литературе осенних революционных дней 1905 года в Москве и, в частности, грандиозной

демонстрации в октябре при похоронах убитого Баумана. Белый эту демонстрацию тоже описывал, но много слабее, чем Ярцев. Белый говорит, что, когда демонстрация проходила по Никитской улице, из Консерватории вышел оркестр, игравший «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Нет, консерваторский оркестр встретил гроб Баумана звуками похоронного марша Шопена, и эти звуки произвели на всех потрясающее впечатление. Белый писал, что была «река знамен». «Знамена, знамена, знамена, какой режиссер инсценировал из-под выстрелов это зрелище? Вышел впервые на улицы Москвы рабочий класс». Это тоже неверно. Знамен было немного. Их наверное было бы больше, если бы демонстрацию организовали, «инсценировали», партии. Но она была стихийным взрывом, префигурацией февральской революции 1917 года. Сотни тысяч из всех классов, сословий, профессий вдруг без зова вышли на улицы и запрудили их. Это не была демонстрация только рабочих, а национальная демонстрация, в которой партии потонули в гигантской беспартийной массе. Позднейшее большевицкое описание ее, как пролетарской – ложно. Самое большое знамя среди всех знамен (на красном бархатном фоне золотыми буквами «Российская социал-демократическая рабочая партия») было сделано и вышито ночью перед похоронами – тенором Риген, Парусиновой – свояченицей графа Ланского – и моей женой. Ни к какой партии они не принадлежали.

Действие моих пилюль на Белого я мог заметить позднее. Два года спустя в журнале «Весы» и в газете «Час» он критиковал «Речи бунтовщика» Кропоткина, книгу Эльцбахера, всякие другие разновидности анархизма. И, что весьма интересно, делал это «с точки зрения социал-демократии и материалистического понимания истории»:

«В противоположность социал-демократической программе – писал он – построения анархизма не имеют за собою

никакого научного базиса. Анархизм, восставая против государственности, поневоле должен восставать и против материалистического понимания истории».

Цезарь Вольпе в предисловии к мемуарам А. Белого «Между двух революций» отметил, что аргументы А. Белого против анархизма взяты им, вероятно, из разных источников и в том числе, возможно, «от меньшевика Н. Валентинова». Не знаю, ни кто такой Цезарь Вольпе, ни каким путем дошла до него догадка, что я старался вылечить А. Белого от анархизма. Но «пилюли» мои подействовали на Белого, конечно, лишь поверхностно. Он только перестал держать нелепейшие речи о немедленном уничтожении всякого государства. Суть его глубинного анархизма, этот доведенный до крайней степени индивидуализм с болезненным самовозвеличением и интересом к собственной личности, никакие пилюли вывести, вырвать не могли. После мимолетной встречи у Ярцева Белый исчез с моего горизонта. Я больше не видел его ни в 1905, ни в 1906 году, встретил лишь в марте 1907 года у зубного врача К. Б. Розенберг, по характеристике А. Белого «умной барышни», «собирательницы с буржуазных салонов дани на партию». Я называл Розенберг Madame Roland. В 1905 году ее салон был местом постоянных встреч беспартийных адвокатов, артистов, художников, поэтов, музыкантов с интересовавшим их в то время «таинственным» миром революционных деятелей и людей из подполья. В 1907 году у легального мира этого интереса к миру «нелегальному» уже не было. Два года революции сняли печать таинственности со многих лиц, искать встречи с ними перестали, салон Розенберг сузился и стал местом свидания только меньшевиков. Когда Белый пришел к К. Б. Розенберг, в ее гостиной уже находилось человек пять меньшевиков и среди них я – в состоянии обороны против колко на меня нападавших партийных товарищей. До этого я никак не мог себе представить, что пришедший к Розенберг «декадентик», которому

два года перед тем я прописывал «социал-демократические пилюли», окажет мне большую политическую услугу, сразу в значительной степени устранив остроту направленных против меня нападок.

В это время мои отношения с партийными товарищами, и больше всего с редакцией меньшевицкого органа «Дело Жизни», были крайне натянутыми. Череванин, Громан и другие считали, что революция продолжается, и применительно к этой мысли устанавливали партийную тактику. «Могильщикам – писал Череванин – рано еще хоронить революцию, рано потому, что осталось голодное крестьянство, неудовлетворенный пролетариат» («Дело Жизни», № от 27 января 1907 года). Те же мысли были и у Громана, требовавшего ответственного перед Государственной Думой министерства и *«полного подчинения ему всей администрации, полиции, войска»*. Я же считал, что революция уже окончилась и этот факт требует изменения партийной тактики и политики. Продолжая в ряде брошюр и статей защищать аграрную программу (рассчитанную, конечно, на продолжение, при том победоносное, революции), я тем не менее считал, что изданные в 1906 году столыпинские законы вещь очень серьезная, способная положить основательный барьер для революции. На большом партийном собрании я прочитал доклад, уже без уловок заявляя, что революция выдохлась, сил у нее больше нет, догорают лишь последние плошки и ни на какое победоносное выступление народных масс, несмотря на всю левизну II Государственной Думы, рассчитывать нельзя. Разгон этой Думы, утверждал я, так же как разгон I Государственной Думы и выборгское воззвание, не вызовет в стране никакого глубокого движения. Что же делать – спрашивали меня – если II Государственная Дума будет действительно уничтожена? Не лезьте по поводу этого события в бой – отвечал я, – в этом бою будут бесплодно на голову разбиты накопленные силы, созданные

организации, возникшие профсоюзы, печатные органы, все будет превращено в прах. Призыву к решительному бою я противопоставлял формулу «организационное спокойствие», понимая под этим не в панике и при больших потерях совершающийся отход перед наступающим врагом, а отступление сознательное, «организованное», при котором главные силы остаются нетронутыми. Мой доклад подвергся ожесточенной и, я бы сказал, пристрастной критике. Формула «организационное спокойствие» встретила едкие насмешки. Меня обвинили во всех тяжких грехах, в упадочном настроении, в отходе от марксизма и чуть ли не в преклонении перед гением Столыпина и примирении с военно-полевыми судами. Я хотел возражать моим критикам на страницах «Дела Жизни», но, несмотря на то, что я был в числе редакторов этого журнала, созванная расширенная редакционная коллегия большинством всех против меня постановила не давать места моему возражению. В крайнем случае напечатать лишь мое письмо в редакцию – при условии, что оно не будет иметь «агрессивного» характера, не будет говорить, что революция кончилась, не будет называть имен мне возражавших товарищей и касаться сути их взглядов. Такое письмо, прошедшее через большое сито, и было помещено в № от 24 февраля 1907 года в «Деле Жизни».

Даже в туманной форме, приспособленной к партийным воззрениям и избегавшей сказать прямо, что революция кончилась, письмо мое было принято очень враждебно[2].

---

[2] Вот это письмо (ход дальнейших событий подтвердил правильность моей позиции): «На одном из недавно происходивших партийных собраний, обсуждавших тактические вопросы момента, мною была вкратце намечена одна из возможных перспектив развития и хода событий. Вижу теперь, что я выражался тогда недостаточно ясно и недостаточно развил свою мысль. Только этим *(а не чем-нибудь другим)* хочу объяснить те поистине странные, к абсурду приближающиеся, удивительные по смелости лжетолкования, которым подверглась выставленная мною формула

В «салоне» у Розенберг партийные товарищи продолжали меня щипать, доказывая, что я ошибаюсь, что революция продолжается, письмо мое *вредно*, ибо заранее предсказывает неудачу того движения, которое должно поддержать II Государственную Думу, если правительство решит с нею покончить. Вмешивать А. Белого в обсуждение этого «партийного» вопроса ни у кого желания не было; он находился в это время в другой комнате, вернее сказать, в дверях другой комнаты, беседуя с Розенберг. Однако, видимо, Белый, очень прислушивался к нашим спорам, так как вдруг, подойдя к нам, попросил позволения сделать маленький доклад, прямо относящийся к дебатируемому вопросу. Оказалось, что он лишь недавно возвратился из Парижа, где в течение

"организационного спокойствия". Я говорил, что есть моменты, когда тактика сохранения накопленных революцией и сплоченных организованных сил бывает в тысячу раз более целесообразной, более соответствующей моменту, а следовательно и более революционной, чем тактика уничтожения и потери этих сил в каком-нибудь "активном" выступлении без надежды на успешность этого выступления. С моей точки зрения это положение бесспорно, а из него вытекает ряд столь же бесспорных практических указаний. Применяя эти положения к вопросу о поддержке Государственной Думы, я говорил: если Дума просуществует настолько короткий промежуток времени, что не успеет поднять, сплотить и организовать широкое народное движение, и если с нею прикончат при условиях невыгодных для решительного выступления, как ответа на этот акт, то при этих условиях наилучшим исходом будет не выступление, обреченное на неудачу, а, наоборот, воздержание от выступления, именно то, что я называл "организационным спокойствием". Эту точку зрения я защищал в декабре 1905 года, ее придерживался после разгона Первой Думы и до тех пор, пока мне не докажут ее негодность, от нее отказаться никакого желания не имею. Выступая с защитой подобного взгляда, я хотел поставить на вид упомянутому мною выше собранию, что при обсуждении нашей тактики должны быть приняты во внимание не только выгодные для нас условия развития событий, но и обратные возможности. К подобной постановке вопроса меня вынуждает мое понимание современного политического положения».

нескольких месяцев имел возможность в одном пансионе встречаться с главою французских социалистов, Жоресом, и узнать его взгляды на русскую революцию. Жорес, по его словам, считал, что революция в России уже проиграна, загубленная максимализмом ее руководителей. Как лошадь, ее гнали под кнутом на крутую гору, она упала и дальше двигаться уже не может. Она истратила свою силу в ряде бесполезных боев, забастовок и выступлений, и сейчас уже нельзя надеяться, что самодержавие пойдет на такую большую уступку, как образование кадетского министерства. Жорес возмущался производимыми налетами на банки и говорил, что подобные экспроприации морально и политически компрометируют революцию и ее вождей, не нашедших у себя смелости резко выступить против подобных актов. «Словом, – заключил Белый, – из всего того, что, хотя и мельком, я здесь слышал, мне кажется, что взгляды на революцию г-на Валентинова почти совпадают с теми, что довелось слышать от Жореса».

Жорес в глазах партийцев-меньшевиков не имел веса, равного весу Бебеля или Каутского, и все же сообщение Белого произвело на присутствующих очень большое впечатление. А мне, подкрепляясь Жоресом, позволило тогда же и позднее броситься в атаку и из обвиняемого превратиться в обвинителя, доказывая насколько порочно и близоруко убеждение в продолжающейся революции и на сем опасно строющейся тактики. Желая узнать более подробно, что говорил Жорес Белому, я попросил его назначить мне одному по этому поводу свидание. Оно состоялось на следующий день в комнате редакции «Дела Жизни», помещавшейся на Патриарших Прудах. Нет нужды излагать то, что говорил мне Белый о встречах с Жоресом (он написал о них в газете «Час», а позднее в 1934 году, но в форме, смягчающей слова Жореса, в книге «Между двух революций»). При этом

свидании я сразу почувствовал большие изменения, происшедшие с Андреем Белым за полтора года, что мы не виделись. Я ему сказал, что за «социал-демократические пилюли», коими я его лечил осенью 1905 года от инфекции анархизма, он мне отплатил – долг платежом красен! – большой политической поддержкой в виде крайне важного сообщения о взглядах Жореса. Белый отнюдь не отрицал, что получил от меня пилюли против анархизма, но несколькими фразами дал понять, что далеко ушел от того времени, когда чувствовал себя социально и политически неграмотным «юнцом». «Я теперь – заявил он – разрабатываю платформу, которой намерен дать самое широкое распространение, в частности и с помощью газет». Что это за «платформа», в тот день Белый мне не разъяснил, но стал действительно появляться в газетах и прежде всего в газете «Час». Своим газетным статьям Белый впоследствии придавал огромное значение. Редакторы газет будто бы говорили ему:

«"Когда вы пишете в "Весах" (органе символистов), вас мало читают и книги ваши малопонятны, а когда пишете в газетах, то становитесь до того интересны, что увеличиваете нам тираж". Мне было понятно, в чем сила газетной моей популярности: пишучи для газет, я не работал над стилем, отдавал черновики; если бы их отработал, то фельетоны мои отпугивали бы читателя».

Белый мог писать самым простым, внятным, человеческим языком, и этот «необработанный» язык был у него довольно тускл. А когда он излишне обрабатывал его, появлялось насилие над синтаксисом, прыжки по всем направлениям, уничтожение всех знаков препинания, кроме точки с запятой, искусственное слововерчение, введение в текст эпатирующих выражений, в некоторых его позднейших произведениях безбожно душивших его огромный художественный дар. Например, в романах «Московский

чудак» и «Москва под ударом» «обработка» стиля привела его к следующим словечкам: «мозгнуло все и зажолкло», «распепенились щеки, теплянился нос», «улица сверкала раскатанною растаратарою пролеток, телег, фур», «психа, подфиливши хвост, улезала в репье», «он зубы пустил самопросвеком и загоготушил», «пыль зафетюнила в очень большие носища и во рты всякой формы, пускающие отсебятину в небесную всячину».

Начав свое участие с «Часа», редактируемого народником Белорусовым и издаваемого Мамиконяном, Белый пустился, как он говорит, в «авантюру с газетами». Из «Часа», одолеваемого штрафами, писал Белый, «меня похитили тогдашние социал-демократы, затевавшие “Столичное Утро” [...] Не помню, как я в газету попал, но кажется, – не без Валентинова (Вольского)». Перед тем Белый пишет: «По состоявшемуся соглашению с тогдашней марксистской газетой “Столичное Утро” (Валентинов, Виленский и т. д.) за четыре фельетона в месяц мне обещали платить по 50 копеек за строчку при двухстах рублях постоянного жалованья (независимо от гонорара). Но [...] газета социал-демократов в 1907 году явление ненормальное; она допускалась градоначальством как... дойная корова; через каждые два дня она штрафовалась; когда же успех “Столичного Утра” перерос все ожидания, – газету захлопнули, редакционную группу выслали из Москвы».

Все это напечатано на стр. 254 мемуаров Белого «Между двух революций». Руками разводишь от удивления: до чего искажены факты! «Столичное Утро» – газета большая, богатая (не помню, а может быть даже и не знал, кто ее финансировал), имевшая большой успех, ни социал-демократической, ни марксистской ни на одну минуту не была. Это было издание только с «левым», демократическим направлением. Ее редактировал Н. Е. Эфрос, опытный журналист, известный более всего как театральный критик. Социалистом

он никогда не был и в годы перед войной стал заведующим отделом информации либеральных «Русских Ведомостей». Эфрос охотно помещал в «Столичном Утре» мои статьи (бо́льшую часть их я не подписывал), но какого-либо видного положения в газете я не занимал, посему и не мог приглашать в нее А. Белого и будто бы предлагать ему гонорар, о котором он пишет. Верно – газету «захлопнули», но никаких высылок «редакционной группы – Валентинова и Виленского» не произошло, к тому же Виленский жил в это время не в Москве, а в Киеве и ни малейшего отношения к «Столичному Утру» не имел.

Почему А. Белый так грубо искажает факты? Может быть, в 1933 году его память ослабела и он уже не помнил хорошо, что было в 1907 году? О, нет, память его всегда была и оставалась превосходной, но здесь, как и в других моментах своих многочисленных автобиографических сочинений, написанных в советское время, он производит огромное, сознательное насилие над фактами, чтобы представить в ином свете свое прошлое. Он пишет, что, когда «Столичное Утро», эту якобы марксистскую газету, закрыли, ему «писать стало негде». «Это была единственная газета, в которой мне было незазорно писать». Атмосферы других газет он «не мог выносить». «Я почувствовал глубокую растленность буржуазной прессы». «Я многое уже рассмотрел в мире газет; и этот мир в сознании моем сплелся с азефовщиной [?], уже повисшей в воздухе». «Я, настроенный угрюмо и мрачно, относился с глубоким презрением и к возможной своей газетной славе, и к материальным благам, которые могли бы отсюда ко мне притекать». Буржуазная печать была для Белого «черным интернационалом, которого принцип есть беспринципность». Он не мог де сотрудничать в «Русском Слове» Дорошевича, так как «принципиальным сотрудником желтой прессы в моем понимании мог стать лишь вполне беспринципный

человек, как Влас Дорошевич». Он не мог писать в «Утре России», хотя редактор его «постоянно тянул меня в свою газету». Он не мог писать в «желтом» «Раннем Утре», «смимикрировавшем» заглавие марксистской газеты (то есть «Столичного Утра»).

То, что Белый пишет, не случайно вырвавшаяся, а сознательно препарированная ложь. В 1907 году он не плевал на буржуазные газеты, а старался появляться на страницах почти всех буржуазных московских газет. Так, в августе, сентябре и ноябре 1907 года он поместил в «Часе» статьи о Жоресе, о Пшибышевском, Шолом-Аше, Бальмонте; в «Русском Слове» (2 декабря) о Владимире Соловьеве; несколькими днями позднее (5 декабря) в «желтом» «Раннем Утре» статью о Блоке; в «Утре России» 16 сентября – о символистическом театре, 18 октября о Мережковском; и продолжал писать в этой газете в 1910 году и, между прочим, поместил в ней статью «Неославянство и западничество в современной русской философской мысли» – статью мне незнакомую, с которой было бы интересно ознакомиться в виду позиций в этом вопросе, занимавшихся Белым до этого и в последующее время. Усиленно стучался Белый в «Утро России» и в 1911 году, предлагая газете 15 фельетонов о своих заграничных впечатлениях, а так как «Утро России» их отказалось печатать (прошел лишь один фельетон 5 апреля 1911 года), Белый эти статьи направил в столь презираемую им (в советское время) кадетскую газету «Речь».

У меня, само собою разумеется, нет в руках московских газет за 1907 год. Частичные указания, в каких из них Белый тогда сотрудничал, беру из изданного в 1937 году в Москве тома 27–28 «Литературного Наследства», посвященного эпохе символизма. Они свидетельствуют достаточно убедительно, что Белый мотыльком летал по газетам самой различной окраски. Где тут его презрение к «гнусной

буржуазной печати», кстати сказать, в России уже не столь низкой, как о том, следуя за большевиками, твердил Белый?

В своих мемуарах он очень подробно рассказывает, насколько ему был близок некий П. Виленский, якобы сходившийся с ним в непереносимом отвращении к буржуазной печати. Что за человек Виленский? Бездарный, вместе с тем претенциозный и пролазливый сотрудник «Киевской Мысли», он оставил ее и в 1911 году появился в Москве. Обегав все московские газеты и нигде не найдя себе в них приюта, он перебрался в Петербург, где ему, в конце концов, удалось найти работу в т. н. «Биржевке» («Биржевых Ведомостях»). Благодаря уходу из нее наиболее ценных сотрудников, он возвысился до поста заведующего информацией, а после ухода многолетнего редактора этой газеты Гаккебуша, с 1916 г. стал редактором этой газеты, чему способствовало его раболепное обслуживание издателя газеты Проппера, известного всему Петербургу чванством и глупостью. Во время войны «Биржевка» при сотрудничестве Виленского, а потом при нем как редакторе, воинственно била в огромный барабан, непрестанно подымала патриотический стяг, требовала уничтожения немцев, а когда разразилась октябрьская революция, Виленский, понюхав воздух, немедленно переметнулся к победителям-большевикам. Хорошо его знавшие журналисты (среди них А. А. Поляков, ныне работающий в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке) отзываются о нем не иначе как о «лгуне, наглеце и прохвосте». Мелкая, скверная натура кривляющегося Виленского мне тоже была известна, когда одновременно с ним я был в 1909–1910 гг. сотрудником «Киевской Мысли». А Белый его восхваляет! Скрывая в своих воспоминаниях, что Виленский был редактором «Биржевки», не упоминая, что он сам во время войны посылал статьи в эту газету, он представляет Виленского ненавистником буржуазной печати, большевиком

и убежденным пораженцем, имевшим «миссию взрывать тогдашнюю патриотику». Моральные принципы Белого так расшатались в советское время, что он уже не видел, насколько гадок Виленский, способный быть большевиком и пораженцем и в то же время за хорошие деньги, платимые Проппером, вести «Биржевку» с патриотическим лозунгом победы над немцами.

Чтобы покончить с тем, что Белый называет «авантюрой с газетами», упомяну о следующем любопытном обстоятельстве. Белый, как я уже сказал, писал, что единственной газетой, где он считал «незазорным» писать, было «Столичное Утро». А что он написал в нее? Два ругательных письма (№№ от 5 и 11 июля) по адресу Рябушинского, издателя журнала «Золотое Руно», на которые последний ответил тоже двумя письмами в редакцию того же «Столичного Утра». Никакого удовольствия эта перебранка газете не доставила. Что же касается статей, то хотя у меня почему-то осталось впечатление, что их было несколько, составители «Литературного Наследства», очевидно, просмотрев весь комплект «Столичного Утра», указывают, что на его страницах Белый поместил всего *одну* статью: «Иван Александрович Хлестаков» (№ от 18 октября), высмеивавшую петербургских литераторов, т. н. «мистических анархистов», за их «словесное пьянство». И в тот же день 18 октября в «Утре России» появилась статья Белого о Мережковском, что никак не могло нравиться ни той, ни другой газете; каждая редакция стремится дать «своего» автора, а не такого, который прыгает по всем изданиям или, как говорил Дорошевич, «подается распивочно и на вынос». Выходит, что в газете, где «незазорно» было писать, Белый поместил одну статью, а в газетах, в которых «зазорно» было писать – в десять или пятнадцать раз больше. Этот вывод, вытекающий из мемуаров Белого, показывает,

в какой просак он попадал, стремясь в 1933 году изобразить с помощью всяких выдумок свое прошлое совсем не так, как оно протекало.

В его очерке об авантюре с газетами единственно верна только фраза: «в “Столичное Утро” я, кажется, попал не без Валентинова». Я действительно толкал его писать в этой газете и убеждал Н. Е. Эфроса пригласить его в сотрудники, несмотря на то, что Эфрос с опаской относился к Белому, говоря, что он способен выкидывать такие литературные штуки и антраша, которые газету поставят в смешное положение. Все-таки, когда подготовлялось издание «Столичного Утра» и Эфрос небольшими группками собирал у себя возможных будущих сотрудников, на одно из таких собраний он попросил меня придти вместе с А. Белым. Об этом собрании я и хочу рассказать подробнее. Тогда впервые пришлось мне узнать, до какой степени Белый может быть оригинален, ни на кого не походить и своими речами, импровизациями производить почти ошеломляющее, незабываемое впечатление.

К Эфросу он пришел последним и, извиняясь за запоздание, занял за чайным столом место в углу, рядом со мною. Мне показалось, что одна его нога чем-то обвязана, много толще другой. Заглянув под стол, я увидел на ней калошу – на улице было сыро. Это показалось мне столь неожиданным, что, желая проверить, не ошибаюсь ли, я снова украдкой заглянул под стол. Никакого сомнения не было: нога была в ботинке, а на нем большая толстая калоша. В передней Белый забыл ее снять. Перехватив мой взгляд, он тоже нагнулся под стол, увидел калошу, и по его лицу пробежала волна мгновенно сменяющихся чувств: удивление, досада, насмешка и какое-то сразу озарившее его вдохновение. Вскочил, на виду у всех стащил калошу, показал ее, почти бегом отнес в переднюю, а, возвратясь, начал, сначала заикаясь,

речь – буквально загипнотизировавшую всех присутствующих. Я прерву себя, чтобы дать здесь слово Ф. А. Степуну; не тогда, а года четыре спустя ему тоже довелось, и неоднократно, слышать речи Белого:

> Он, конечно, не был оратором в духе Родичева или Маклакова. Как в Думе, так и на суде он был бы невозможен: никто ничего бы не понял. Но говорил он все же изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхал зарницами неожиданнейших мыслей. Своей ширококрылою ассоциацией он в вихревом полете речи молниеносно связывал во все новые парадоксы, казалось бы, никак не связуемые друг с другом мысли. Чем вдохновеннее он говорил, тем чаще логика его речи форсировалась фонетикой слов: ум превращался в заумь, философская терминология в символическую сигнализацию. Минутами прямой смысл почти исчезал из его речи, но, несясь сквозь невнятицы, Белый ни на минуту не терял своего изумительного, словотворческого дара.

Лучше, чем Степун, о даре Белого сказать нельзя, нужно только внести некоторые дополнения. Его большие речи и импровизации похожи на какое-то сказочное дерево: от ствола идут во все стороны ветки, и они иной породы, чем ствол. Ствол может быть сосновым или липовым, а ветки – березы, клена, акации, сирени или экзотических древес. Приданные к стволу, они не суть придаточные предложения к тому, что может считаться главным в речи. Они существуют сами по себе, несут свой собственный, отдельный смысл и, не дополняя, не разъясняя главную тему, все же образуют с нею какое-то странное, непонятное единство. Это дерево, но такое, каких не существует. В стволе и его ветвях столько разных смыслов, что слушатель теряется: где же главный смысл? Почему его нарочно, искусственно затемняют грудой других вводных мыслей? На такой вопрос А. Белый однажды ответил: «Очевидно, так нужно, это “*метонимия*” сей творческий акт моей воле не повинуется». С точки зрения

«сократического» человека в придаточных ветвях речи Белого более чем часто не было никакого смысла. Он писал, что «волит ясности, четкости, трезвости» и одновременно заявлял: «выражаться понятно скучно» и потому прибегал, например, к таким шедеврам:

«Догмат не догмат уже, раз он "есть"; и раз есть "есть" догмата; в этом "есть" – в нем самом бьющий миг, так что догмат не круг, а круг с точкой. Что связует круг с точкой? Спираль».

Пойми – кто может!

А. Белый любил хвататься за слова, за *звук* слов, то их рассекал, то связывал. Он – химик, бросающий в реторту разные элементы и желающий узнать, какое новое тело, новое соединение из этого получится, как оно будет *звучать и* за этим звуком каков будет смысл. В 1907 году Гиппиус сказала с усмешкой о Розанове: «Ну и плоть». Звук этого слова ударил, подстегнул Белого, и он немедленно понесся в фонетическом трансе и галопе:

«Плоть! Вот уж плоть! И не "плоть" даже, а "плоть" без "ть", в звуке "ть" окрыление; не плоть – только "пло" или даже два "п", для протяжительности: "п-п-ло"». С такой фонетикой он постоянно носился. В романе «Москва под ударом» преступного «капиталиста Эдуарда фон Мандро», «Железную Пяту», «поработителя человечества», он в следующем виде представляет сидящим в ванне:

«Обнажилася белая и волосатая плоть или "п л о" (без всякого "т ь"); без одежд был – не плотью, не "п л о" даже: был только "л о", а намылившись стал – "лой-ой-ло"».

И дальше:

«Если бы осознать впечатление от звука "мандро", то можно было бы увидеть, что в "м а н" было синее; в "д р" было черное, будто хотевшее вспомнить когда-то виденный сон; "м а н" – "манило", а "д р" наносило удар... Да, удар над Москвою».

В фонетической обуянности Белый написал в 1917 году (издана в Берлине в 1922 году) «импровизацию на несколько звуковых тем». Он назвал ее «Глоссалолией». Звуки, пояснял он, выдают тайны древнейших душевных движений. «Звуки – древние жесты в тысячелетиях смысла. Жест руки, ноги безрукий язык подглядел и повторил его звуками. Звук беру как жест утраченного содержания». «Глоссалолия», на мой взгляд, дикая попытка бессмысленного обоснования бессмысленного фонетизирования, но Белый находил, что среди «поэм», им написанных, она наиболее удачна. «За таковую и прошу ее принимать, критиковать научно меня – совершенно бессмысленно».

В годы моих встреч с Белым до «глоссалолии» он еще не доходил, но самые интересные и содержательные его речи почти всегда сопровождала «фонетика», «заумь» и «невнятица», примеры которых я только что привел. По этой причине речи Белого во всем их своеобразии, с их парадоксами, прыжками, я бы сказал, – во всей их странной, ни на что не похожей красоте (нельзя ли их сравнить с музыкой Стравинского, в ней ведь тоже «заумь» и «невнятица»?) передаче, пересказу не поддаются. На страницах, которые будут следовать, мне придется раз пять пересказывать большие импровизации Белого. При превосходной памяти, сохраненной до сих пор, я могу с большой точностью установить некоторые основные пункты, основные беловские мысли этих речей, передать наиболее запомнившиеся слова и выражения, но, предупреждаю, это будет только бледная, без красок, имитация Белого. Лучше, чем кто-либо, его «скопировала» Марина Цветаева (разговор с Белым в Берлине в 1922 году, см. ее статью «Пленный Дух»); ей это удалось только потому, что она передавала не какую-либо сложную политическую, философскую, «символистическую» речь, а лишь простые его высказывания, отрывистые замечания и фразы.

Сделав эти совершенно необходимые предупреждения, перейду к речи Белого у Эфроса.

Белый начал ее с извинения за свое неприличное поведение: вошел в гостиную, забыв снять калошу. Он не удивляется, что Валентинов это первый заметил. Валентинов – марксист, а у марксистов взор постоянно притянут только к земле, к месту, по которому ходят в *калошах.* Марксистам нужны железо, уголь, земные вещи *под калошами.* На небо они никогда не смотрят: там, по их мнению, никому ненужная пустота. Но он – Белый – несчастный поэт. Забывая, как важны уголь и железо, он смотрит в небо, видит там «золото в лазури» (название книги стихов Белого) и, восторгаясь небесной лазурью и солнцем, не думает о марксистских *калошах.* Забыть о них мог он еще и потому, что только недавно возвратился из Парижа, где и зимою никто не носит калош. Он приобрел привычку не думать о калошах (тут неожиданная экскурсия Белого в старину: верна или неверна фраза «привычка свыше нам дана»). Но Москва не Париж, и в ней о калошах надо думать. Но почему Москва не Париж? И почему Москва не может быть Парижем? По этому поводу Белый бросает какие-то сложнейшие, интересные, исторические, философские, религиозные, архитектурные сравнения, неожиданно кончающиеся выводом: «В Москве храм Христа Спасителя, а в Париже Нотр Дам, и от дыхания химер-чудовищ на крыше Нотр Дам могут потухнуть свечи пред иконами в московском Храме». Ухватываясь далее за то, что Нотр-Дам и недалеко от нее Sainte Chapelle, так же как Руанский, Реймский, Амьенский соборы, являются готикой, архитектурными созданиями, стремящимися ввысь, Белый указывает, что «своими стрелками они рвали небо, искали и находили там Бога». Но пришел Ренессанс и начал забавляться с козлоногим Паном, – и от бесстыдных звуков его флейты отворачивалась душа тех, кто с благоговением смотрел на святые изображения и картины Дюрера.

Остановившись на Дюрере и его значении, Белый делает прыжок в сторону к Канту, оставившему для Бога пристанище в виде вещи в себе. Отпрыгивая от Канта, Белый несется к Платону, к Владимиру Соловьеву и приводит к «сути мира». Ее божественный говор слышит ухо тех, кто способен отдаться мелодиям Шумана, Шуберта, Бетховена. Музыка проникает в невидимую, неосязаемую суть мира. Поэт-символист подслушивает звуки этой сути, находя для них адэкватные, их одевающие слова. Неизрекаемое становится изреченным. Поэт-символист – ловец душ и теней, живых и мертвых. Выполняя свою миссию, он – представитель Вечности. Ток прошлого незримо ползет, туманом проникает в настоящее, а настоящее беременно будущим. Поэт-символист извещает о нем. Он зрит зарю, у него чувство зари (следует долгое объяснение *чувства зари).* Под небом лазурным, там за горой находится храм будущего – новый мир. Путь к нему, в это будущее, идет через гору, черную, пылающую, сжигающую, испепеляющую тех, кто по ней и через нее тянется дальше. Будут падения, страдания, катастрофы. Поэт все видит и тяжко страдает. Он сгибается под тяжестью своего пророческого назначения – все сказать, все открыть. Сжальтесь над ним, не смейтесь над поэтом. Не снятая в передней калоша пусть не лишает его вашего сострадания.

Речь Белого продолжалась минут 25. Мы – нас было семь или восемь человек – слушали его как завороженные. Встретив начало ее с улыбкой, перешли к удивлению, к разинутому рту. Это была музыка, страсть, поэзия, философия, мистика, водоворот, каскад словотворчества. Нужно ли еще и еще раз подчеркивать, что я даю лишь эрзац? Никто в это время не пошевельнулся, а когда, вытирая залитый потом лоб, Белый, улыбнувшись, сел на свое место, все, как в театре, стали ему неистово апплодировать. Супруга Эфроса, артистка Малого Театра Смирнова, потом говорила,

что Белый ее загипнотизировал, что он какой-то необычайной силы артист. А сидевший рядом со мною более чем прозаичный Кугульский (он заведовал конторой и финансами «Столичного Утра») мне шепнул: «Чорт возьми! От такого номера голова кружится, точно меня на качелях качали, в ухо шилом залезали».

Никаких возражений Белому, конечно, никто не сделал. Очнувшись от гипноза, мы перешли к разговору на иные темы. От Эфроса Белый вышел вместе со мною; на улице, пройдя несколько шагов, вдруг спросил: «Вы на меня не обижаетесь, не сердитесь?»

Я в полном недоумении: «Помилуйте, за что же я могу на вас обижаться? Почему об этом спрашиваете?»

«Ну, как не спрашивать! Ведь если бы вы на мою калошу не смотрели, моя оплошность не была бы обнаружена и мне не пришлось бы так конфузиться. За это в отместку я вас немного высмеял. Если вы действительно на меня не сердитесь, тогда давайте, поцелуемся».

С этих пор, встречаясь со мною, Белый завел странную привычку со мною целоваться. Делал это, нужно заметить, машинально. Эти поцелуи меня несколько смущали. То было время, когда читался порнографический роман Арцыбашева «Санин», лесбианские повести Зиновьевой-Аннибал, педерастические «Крылья» Кузмина («Ох, зачем же нам даны лицемерные штаны»), и все поклонники и поклонницы Вячеслава Иванова декламировали его

Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда,
Где страстная ранит разно многострастная услада,
На два пола – знак Раскола – кто умеет сможет счесть –
Шестьдесят и шесть объятий и шестьсот приятий есть.

Мне казалось, когда два молодых человека – Белый и я – целуются, кто нибудь с усмешкой непременно скажет:

«Странно, тут что-то похоже на “Крылья” Кузмина». Я однажды намекнул на это Белому. Он никакого внимания на мои слова не обратил, равнодушно бросив: «Honni soit qui mal y pense». Все-таки, когда мы встречались и здоровались на людях, я делал все, чтобы этих поцелуев избежать, тем более, что видел, что Белый даже своих близких друзей – Сергея Соловьева и Эллиса – поцелуями не всегда награждает. Позднее узнал, что поцелуи он дарил многим...

От вечера у Эфроса пошли мои частые встречи с Белым. Начавшись с апреля или мая 1907 года, они без перерыва продолжались до начала 1909 года, когда я уехал из Москвы.

III
На заре символизма

У А. Белого уже было большое литературное имя, когда я с ним познакомился. Естественно захотелось узнать, что же такое он написал? Его сборники стихов «Пепел», «Урна» тогда еще не были напечатаны, но вышел сборник «Золото в лазури» (1904), имевший в свое время восторженных поклонников. Так, Б. К. Зайцев, через тридцать четыре года после появления этой книги, писал в «Русских Записках», что в ней «лазурь бугаевских глаз сияла почти ослепительно, явно он острей и духовней ощущал свет, чем кто-либо». Какое впечатление произвели стихи Белого на меня?

Марина Цветаева утверждала, что художник может быть «судим судом либо товарищеским, либо верховным, собратьями по ремеслу или Богом». Больше никем. Все остальные – грубы, не обладают чутьем, чтобы разбираться в такой возвышенной вещи – как поэзия.

После столь строгого окрика, людям не-поэтам, не-художникам и от небесных сфер далеко отстоящим, казалось бы, и словечка нельзя произнести о поэтах. Но берясь за произведения Белого, я отнюдь не имел в виду влезать в неведомую мне область метрики стихов, судить, удачно или неудачно, хорошо или плохо он оперирует ямбом, хореем, дактилем, анапестом, амфибрахием. Вопрос был неизмерно проще: нравится ли мне поэзия Белого или нет? Много позднее некоторые стихи Белого (сошлюсь хотя бы на написанное в 1917 г. «Рыдай, буревая стихия») ударили меня своей силою, но в 1907 г., знакомясь с ним, я не чувствовал в нем большого поэта, что отнюдь не мешало мне видеть в нем искрометного, огромной талантливости человека. В «Золоте в лазури» никакого содержания я не усмотрел. Я прошел мимо

«аргонавтов», «кентавров», мистерий, мифов, лжепророков и прочих вещей, наполняющих сборник. Белый в разговоре был для меня намного (несравнимо) интереснее Белого в стихах. Нельзя серьезно говорить о таком его стихотворении как «На горах», где некий горбун

Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом

И дугу описав,
озаряя окрестность,
ананас ниспадал, просияв,
в неизвестность.
……………………………….
Я в бокалы вина нацедил
и, подкравшися боком,
горбуна окатил
светопенным потоком.

Это ходило по Москве, над «ананасом» потешались. У меня стихотворение вызвало только недоумение: для чего нужна эта дешевая клоунада, что толкает Белого на нее? А такая клоунада не была единственной в «Золоте в лазури». Странными, уже своей рекордной примитивностью, оказались и многие строфы других стихотворений. Например:

Я встревожен назойливым писком.
Подоткнувшись, ворчливая Фекла,
Повисая над улицей с риском,
Протирает оконные стекла,

или:

Все было в доме зажжено,
Мы в польтах [??] осенних сидели.

Друзья отворили окно,
Поспешно калоши надели.

Неужели это «большая поэзия»?

Позднее оказалось, что не очень-то ее ценит и сам Белый. В «Начале века» (1933) он говорит, что его «воротило от книжного вида и сути “Золота в лазури”»: «беспомощность, самоуверенность детских стихов удручала в сравнении с маленькой, трудно прочтенной книгой стихов Вячеслава Иванова».

Значит, не таким уже я был варваром, когда усомнился в поэтических достоинствах «Золота в лазури». Мнение, что при всей своей талантливости Белый все-таки не очень большой поэт и потому совсем не с этой стороны к нему нужно подходить, укрепилось в 1908 г. Весною Белый пришел ко мне с папкой, а в ней листки, на одной стороне которых огромнейшими, какими-то особенными графическими буквами было начертано только что написанное им стихотворение под заглавием «Прости». Белый от меня куда-то шел, папку с собою, видимо, брать не хотел и, оставляя ее, сказал: «Зайду за нею через час; если вас интересует мое стихотворение, прошу прочитать». Когда он ушел, я прочитал:

Зарю
Я зрю –
Тебя...
Прости
Меня,
Прости-же:
Немею я,
К тебе
Не смею
Подойти.

И так далее. Да, ведь это не поэзия! – подумал я. Удалите красные строчки, вытяните набор слов в одну линию,

и от всего получится нуль. Для творчества таких вещей нужен ли поэтический дар? В таком случае поэтом могу быть и я:

О перестань,
Борис
Бугаев,
Стихи писать.
Тебе
Я должен
Непременно
О том сказать.

Возвратясь, чтобы взять папку, Белый, вероятно, ждал от меня каких-нибудь приятных восклицаний, тем более, что сделал мне честь одним из первых ознакомиться с новинкой. Не желая обнаружить отсутствие восторга, и уже зная, насколько Белый чувствителен ко всем касающимся его выражениям неодобрения, я, дипломатически забежав вперед, сказал, что стихи прочитал, но ему не следует метать бисер перед такими «калошами», такими некомпетентными в этой области людьми, как я.

«Я люблю Пушкина, Лермонтова, отчасти Тютчева, много читал в свое время Некрасова, Фета, Полонского, Майкова, Мея, Плещеева, Апухтина, Надсона, а в новейшей поэзии многого не понимаю, в частности и в вашем “Золоте в лазури”».

Белый был явно недоволен.

«Всю эту груду поэтов можно не упоминать. Эти Меи, Апухтины, Плещеевы, Майковы – невыносимо пошлый хлам. О Надсоне нечего и говорить: полнейшее бездарье. А все-таки любопытно, что в области поэзии вы, как и многие другие, никак не хотите уйти дальше от ваших гимназических знаний и симпатий. Они для вас создают барьер и преграждают знакомство с новейшей поэзией. Это ужасный консерватизм».

В полемику с Белым по этому поводу я не хотел пускаться, лишь ответил, что, если покоривший душу Пушкин создает этот консерватизм, у меня тогда нет никаких шансов от него освободиться. Белый на это промолчал. Характерно, что за годы встреч с ним ни разу не пришлось слышать восторженных, почтительных или хвалительных слов о Пушкине, столь обычных у него, когда он говорил, например, о стихах Владимира Соловьева. В «Золоте в лазури» он посвящает последнему стихотворения «Одиночество» и «Раздумье» и пишет два подражания Соловьеву. Пушкин был глубоко чужд натуре Белого. Лишь обычно отсутствовавшая у Белого сдержанность не позволяла ему о том смело и открыто сказать. Но явное непочтение к Пушкину Белый в советское время проявил в книге о ритме «Медного Всадника». Немилосердно искажая, уродуя поэму Пушкина, он стал уверять, что под «Медным Всадником» Пушкин разумел не Петра, а Николая Первого!

В тот же день, когда Белый принес свое стихотворение «Прости», у нас произошел далеко не лишенный интереса разговор о цветах и их значении в художественном творчестве. В краски русской символистической поэзии Вл. Соловьев, кажется, первый ввел лазурь – элемент его мистической, софиологической картины. Видение ее предстало Соловьеву в лазури:

Лазурь кругом, лазурь в душе моей.
Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

А. Белый подхватил соловьевскую лазурь, сделал ее одним из цветных спутников своего «Золота в лазури». Он говорит о «лазурных чертогах», «ослепительной лазури», «лазурном

атласе», «море пьяном лазурью», «лазурной одежде», «лазури огней» и т. д. Блок, одновременно с Белым заразившись соловьевской лирикой, еще более аннексирует лазурь. В «Стихах о Прекрасной Даме» лазурь – постоянный рефрен: «Ты лазурью сильна», «в этой бездонной лазури», «лазурное скрыто от умов», «Бог лазурный, чистый, нежный», «солнечные ласки в лазури», «лазурное око», «лазурный сон», «ты, лазурью золотой просиявшая на век», «двери келий светлая лазурь», «орлы, кричащие в лазури», «предел наш синяя лазурь» и т. д.

«Лазурь – очень красивое слово, – сказал я Белому, – все-таки и вы, и Блок несколько злоупотребляете им. Что значит, например, сочетание "синяя лазурь"? Если лазурь голубое, тогда синяя лазурь – голубая синева или синяя голубизна. Не есть ли это нагромождение эпитетов?»

Мое замечание вызвало у Белого длинную речь о значении цветов в «теургической и символистической концепции мира».

«Пусть не думают, что цвета, которыми мы, символисты, пользуемся, суть вульгарные краски маляров, грубые цвета спектра или тупые цвета художников вроде К. Маковского [он был bête noire московских символистов – Н. В.]. Показать в поэзии значение цветов – было одной из задач моего "Золота в лазури". Цветами мы можем характеризовать самые сложные психологические состояния. Одно настроение можно представить лазурью с розово-золотыми оттенками, другое цветом серым с лилово-зелеными отсветами, третье черным цветом с желтыми и рыжими пятнами. Темно-лиловый цвет и черный отражают мир катастроф, душевных надломов, смертельных растлений, падений в бездну, самосжигание, сатанизм, сумасшествие, удушение Астартой. С помощью цветов, их соединений, их оттенков неизрекаемое и неизреченное становится показанным, запечатленным.

Мы, символисты, умеем цветами сказать о Вечности, Безвременности, Закате Души, Зове Зари, Напоре Эпохи, Душевной Тени, Страхе Ночи, Мире Неуловимых Шепотов, Неслышных Поступей».

Увидев, что я несколько скептически отношусь к изображению цветами таких вещей как Безвременность и «Неслышная Поступь», Белый воскликнул:

«Творчеству, когда оно теургично, все доступно. Богатство новых художественных средств является одной из черт, отделяющих нас, символистов, от мертвой бурды – литературы бытовиков. А новые художественные средства нам нужны не для искусства как искусства, а для преобразования жизни».

О теургии и преобразовании жизни искусством у нас позднее будет большой разговор, но в этот день Белый долго распространялся о значении разных цветов и их оттенков, в частности особенно остановился на фиолетовом цвете. Не могу забыть, что от этого цвета он отпихивался как от чего-то дурно пахнущего, пожалуй постыдного, о чем и говорить-то не следует. Так как к этому времени (весна 1908 г.) я успел достаточно надышаться «воздухом символизма» – и ничему не удивляться – антифиолетовая реакция Белого меня не удивила, мне было только смешно. Чтобы мистическое отношение Белого к фиолетовому цвету было понятнее, сошлюсь на один разговор Белого с Блоком, происходивший, кажется, в начале 1906 г. и дважды занесенный им в его мемуары.

«Блок с волнением сообщил мне, как много он узнал от вживания в едко пахнувший фиолетовый, темно-лиловый оттенок.

– Что такое фиолетовый цвет? – и Блок посмотрел на меня испытующе.

Я же смутился. У меня доминировали три цвета: белый, лазурный, пурпурный. Соединение этих цветов по-моему

рисовало мистический треугольник – Лик Христа. В оттенке, пленившем Блока – величайший соблазн, удаляющий от Лика Христа.

Пока Блок тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого темно-лилового цвета, я чувствовал себя нехорошо, точно поставили в комнату полную углей жаровню; угар я почувствовал, то угар Люцифера».

Я присутствовал однажды – конечно, в качестве совершенно постороннего лица, зрителя с галерки – на диспуте на тему о цветах, который вели А. Белый, Сергей Соловьев и Эллис. Слушать было интересно, но моментами трудно было сдерживаться, чтобы громко не расхохотаться. «Пахло Люцифером», и спорщики опускались в такую теософскую глубину, что можно было опасаться, что они из нее не вылезут. Большим специалистом по части манипуляций с черным цветом был тогда Эллис, который прибавлял к черному оттенки желтый, рыжий, темно-серый – рисовал всякие мифы и пристанища ада. Это он осенью 1907 г. пустил в ход историю о черном профиле Белого.

«Эллис – рассказывает Белый – пытался меня уверить, что у меня есть двойник – черный профиль, который он видел. Однажды, прибежав ко мне, Эллис уселся над книгою, поджидая меня; вдруг ему показалось, что в полуоткрытую дверь шмыгнул черный контур (мой черный контур), и перепуганный Эллис убежал быстро (все в доме спали), забыв закрыть дверь. С этого случая Эллис стал часто мне доказывать, что у меня черный контур».

Могу удостоверить: Эллис делал это серьезно. И Белый слушал его тоже серьезно, и оба серьезно размышляли, что̀ может означать появление черного профиля. В «воздухе символизма» это было обычное явление.

В 1907 г. для знакомства с художеством Белого одним «Золотом в лазури» ограничиться было нельзя. Кроме «Золота»

им были написаны три произведения: «Симфония Северная», «Симфония вторая, драматическая» и третья симфония – «Возврат». Больше других меня заинтересовала вторая симфония. Написанная в 1901 г., на заре символизма, она появилась в 1902 г. С этим произведением Белый впервые выступил в печати, впервые в литературе появился псевдоним «Андрей Белый», очень скоро получивший большую известность.

В предисловии к «Симфонии» он писал:

Исключительность формы настоящего произведения обязывает меня сказать несколько пояснительных слов. Произведение это имеет три смысла. Во-первых, это симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных основным настроением (настроенностью, ладом), отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывков на стихи (музыкальные фразы); неоднократное повторение некоторых музыкальных фраз подчеркивает это разделение. Второй смысл – сатирический: здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма. За музыкальным и сатирическим смыслом для внимательного читателя может быть и идейный смысл, который, являясь преобладающим, не уничтожает ни музыкального, ни сатирического смысла. Совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму.

Форма произведения действительно «исключительная». Нет никакой «музыкальности», если не толковать этот термин в каком-то особом, неясном смысле, свойственном «воздуху символизма». Нет и следа стихов. Без всякой связи перо чертило все, что попадало в глаз Белого в городе и деревне под сводом «то голубым, то серо-синим, то серым, то черным», полным «музыкальной скуки, вечной скуки с солнцем-глазом посреди». Кошки на крыше, дождь, чаепитие, асфальтирование улиц, тройка, дом сумасшедших, золотобородый пророк Сергей Мусатов, какая-то сказка с рыжеватыми волосами,

Новодевичий Монастырь и т. д. Фразы нарочито составлены так, что напоминают старинный учебник французского языка – знаменитый Марго. В школьнические годы, потешаясь над содержанием и сочетанием предлагаемых в нем переводов, мы, в еще более утрированном виде, их подсовывали учителю французского языка: «Я люблю мою бабушку, но вчера шел сильный дождь», «Моя сестра не выучила урок, а в саду соседа расцвела роза». Схожими конструкциями изобилует и «Симфония» Белого. Ничем не склеенные фразы начинаются красной строкой с бессмысленно звучащими «А» или «Но». Для большей оригинальности фразы перенумерованы. Нумерация постоянно обрывается, и снова начинается счет. Иногда он ведется до 10, до 34, иногда до 4 и до 1. Так под ½ 1 стоит фраза: «Много еще ужасов бывало», без всякой связи с тем, что идет раньше и потом.

Содержание произведения было еще более «исключительным». Большинство читателей, не глотавших «воздуха символизма», находило, что в этой «Симфонии» Белого, как и в двух других, никакого смысла нет: просто полоумная графомания, написанная человеком ненормальным. «Вы эту вещицу до конца не дочитаете» – предупреждали меня. И действительно, не будь у меня любопытства-желания узнать Белого, не заинтересуйся я словами, что он намерен выступить с пропагандой какой-то «новой политической платформы», – я смысла в его симфонической какофонии не стал бы отыскивать и книгу Белого просто бы бросил. Этого я не сделал. У меня оказались кое-какие небольшие ключики, чтобы ими попытаться открыть смысл «Симфонии». Пять лет перед тем (в 1902–1903 г.) мне довелось часто встречаться с С. Н. Булгаковым в Киеве. Я был тогда студентом-политехником и марксистом почти-ортодоксом, он молодым профессором политической экономии, как раз это время далеко уходившим от марксизма к идеализму, метафизике,

в сторону Владимира Соловьева. Просвещая меня взглядами Соловьева, комментируя его, указывая, какие сочинения его особенно важно прочитать, Булгаков, видя мое отталкивание от этой философии, с укоризной говорил: не то плохо, что вы его не понимаете, а другое – в вас сидит что-то, не желающее его понять.

Непонимание, не от нежелания понять, соловьевской онтологической концепции и многих других частей его мировоззрения осталось у меня на всю жизнь. Вместе с тем, от времени просвещения меня Булгаковым сохранилось небольшое знание некоторых характерных для Соловьева постулатов. Поэтому, в отличие от тех, кто с насмешливым недоумением спрашивал, что это за «Жена, облеченная в Солнце», с которой, как дурень с писаной торбой, все время носится Белый в своей «Симфонии», я знал: с этим заимствованием из Апокалипсиса связывается один из важнейших мистических символов в системе Соловьева (см. предисловие к сборнику его стихов):

«Жена, облеченная в Солнце, уже мучается родами, она должна явить истину, родить слово, и вот древний Змий собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи и правдоподобных обманов».

Пользуясь этим и некоторыми другими инструментами из метафизики Соловьева, я более или менее понял, о чем хотел сказать Белый в своей Симфонии. Он осмеивает мистику «благовидной лжи и правдоподобных обманов», проповедуемую ложными пророками в лице изображенных им Дрожжиковского (Мережковского), Шиповникова (В. Розанова), и, главным образом, в лице «золотобородого аскета» (в действительности не аскета) – Сергея Мусатова, принявшего себя за «Глашатая Вечности», а «обманную сказку с рыжеватыми волосами и в парижском туалете» за «Жену,

облеченную в Солнце». Не есть ли это тот великий грех, на который указывал Соловьев – нельзя смешивать «откровение настоящей красоты», «вечной женственности», «одевающей Божество и Его силою ведущей нас к избавлению от страданий и смерти», с «лживым ее подобием, той обманчивой и бессильной красотой, которая только увековечивает царство страданий и смерти»?

Ложные пророки и мистики «своими нелепыми выводами, своими выводами сапожника» – говорит «Симфония» – компрометируют идею о «Жене, облеченной в Солнце». Белый противопоставляет им полноценную мистику, построенную уже на полном понимании Соловьева. Ее представителем является любовно очерченный А. Белым отец Иоанн, наставляющий Сергея Мусатова.

Усадил отец Иоанн Сергея Мусатова и тихонько вел речь об общих тайнах. – Теперь когда ты в несчастьи, а душа твоя сгорает от любви, *они* [нечистые силы? *Н. В.*] кружатся над тобою невидимым облаком, ужасной тучей, вгоняя в отчаяние, развертывая свиток ужаса. – Люби и молись: все побеждает вселенская любовь. Немного сказал отец Иоанн о вселенской любви, ничего не принимая и не отвергая, но от этих слов повеял белый ветерок, разогнал *ужасную стаю.*

Многое раздражало при чтении «Симфонии». В те годы я особенно был чувствителен ко всем проявлениям вражды или высокомерного отношения к Европе. Я считал, что именно после встряски страны революцией 1905–06 г. Россия должна европеизироваться, окончательно выбрасывая из своей головы старые бредни, будто бы у нее какая-то «особая стать» и Европа для нее не учитель. А между тем в страницы «Симфонии» то и дело вклеивались выпады против Европы, и подчеркивался «вопрос о священном значении России». «Отсиял свет на Западе». «Европейская культура сказала свое слово, и это слово встало зловещим символом. И этот символ

был пляшущим скелетом. И стали бегать скелеты вдоль дряхлеющей Европы, мерцая мраком глазных впадин. Европа, в сущности, мертвец, – открывает мертвые очи, шамкает беззубым ртом, румянится и жеманится перед Зверем».

Неприятное впечатление производили и грубые выпады против «точного знания», «позитивного мировоззрения», с особенной силою проявившиеся в третьей Симфонии в речах сумасшедшего Хандрикова. Но антипозитивизм, конечно, весьма подходил к общему духу, проникающему вторую «Симфонию». «Жена, облеченная в Солнце» для Белого – как он однажды сказал – символ «величавый, чарующий, светлый, полный огромного смысла». Однако, оперируя этим символом, он неоднократно сбивается в такую сатиру и буффонаду, что является вопрос – да так ли уже этот символ для него священен?

Стоило-ли бы Белому говорить о «крайностях мистицизма», если бы вопрос шел только о том, что, начитавшись Апокалипсиса, Мусатов за «Жену, облеченную в Солнце» стал принимать рыжеватую даму? Не идет ли критика мистицизма дальше этого, направляясь на высмеивание самого Апокалипсиса и приложения его предсказаний к «Святой Руси»? Но тогда уничтожается весь «идейный смысл» Симфонии, вся связанная с Апокалипсисом вера Белого во второе пришествие. Недоумение вызывало в Симфонии другое обстоятельство: пламенный почитатель Соловьева изображает его в ней просто в комическом виде. В доказательство приведу несколько цитат.

В тот час в аравийской пустыне усердно рыкал лев: он был из колена Иудина. Но и здесь, на Москве, на крышах орали коты. Крыши подходили друг к другу ... На крышах можно было заметить пророка. Он совершал ночной обход над спящим городом, усмиряя страхи, изгоняя ужасы. Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных, ресниц. Седеющая борода

развивалась по ветру. Это был покойный Владимир Соловьев. На нем была надета серая крылатка и большая широкополая шляпа. Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом. Многие слышали звук рога, но не знали, что это означало. Храбро шагал Соловьев по крышам. Соловьев то взывал к спящей Москве зычным рогом, то выкрикивал свое стихотворение:

Зло позабытое
Тонет в крови,
Всходит омытое
Солнце любви.

Хохотала красавица зорька, красная и безумная, прожигая яшмовую тучку...

Церковь Неопалимой Купины была заперта. Тем не менее, изнутри ее отворили. Стояли на паперти, никем не замеченные. Один был в огромной шубе и меховой шапке, а другой в ватном пальто и в зимнем картузе. Он посмотрел на ясную звезду, от которой протянулась золотая нить, и сказал, прищуриваясь: «А что, Владимир Сергеевич? Ведь это вспыхнувшая денничка». На Девичьем Поле они сидели на лавочке, занесенной снегом: рассматривали небо добрыми, близорукими глазами. Тот, на ком была меховая шапка, сказал глухим басом: «То ли еще они увидят впоследствии». Они долго молчали, совершая таинство. Наконец тот, на ком был ватный картуз, завизжал внезапно как ребенок. Он ударил по мерзлой скамейке и кричал, тряся львиной гривой волос и серой бородой: Эээ... Да неельзяяя же так, Влади-мир Сергеевич. Они нас совсем скомпрометируют своими нелээпыми выходками. Это, наконец, ди-ко! Тут он начал сокрушать выводы Сергея Мусатова, а сидящий рядом (Соловьев) захохотал как безумный и стучал ногами от хохота, распахнув свою шубу. (Владимир С. Соловьев часто заливался именно таким хохотом – до икания). Наконец, пересилив смех, он сказал: Это ничего, Барс Иванович, первый блин всегда бывает комом. Двое прохожих вздрогнули от этого священного хохота, но не потрудились вглядеться в лицо хохотавшего. Если бы они увидели, ужас и умиление потрясли бы их взволнованные души. Они узнали

бы старых друзей. Долго еще сидели на лавочке, тихонько разговаривали между собой. Потом они ходили по Москве и заглядывали в окна к друзьям; приникали к холодным стеклам и крестили своих друзей. Не один друг слышал постукивание вьюги в окне, не один друг поднимал к ночным окнам свои недоумевающие глаза, прищуриваясь от ламповьего света. Он не знал, что стучатся к нему былые друзья, что крестят его своими прозрачными руками. Так ходили вдоль Москвы оба скитальца. Наконец, грустно вздохнув, они окинули окрестность прощальным взором. Удалились до радостного свидания. В Новодевичьем монастыре, среди могил, они пожали друг другу руки, расходясь на покой.

Итак, покойный Соловьев выходит из могилы, ходит по крышам, трубит в рожок, хохочет, заглядывает в окна друзей. Что означает эта буффонада?

Мы сидели однажды с Белым на скамейке Пречистенского бульвара. Не помню, с чего начался разговор, но он перешел к Соловьеву, и я спросил Белого, почему в «Симфонии» он проявил такое сатирическое и непочтительное отношение к своему учителю? Белый встрепенулся.

«В чем сказалась там моя непочтительность? Этого быть не может».

Я приблизительно привел ему содержание только что цитированных строк.

«До ужаса, до ужаса вы ошибаетесь!» вскричал Белый. «Я писал Симфонию, будучи пронизан сыновьим обожанием Соловьева. Недаром его брат – Михаил Сергеевич – настаивал на скорейшем издании моей вещи и дал для этого необходимые денежные средства. И это он тогда меня, впервые вступающего в литературу, окрестил Белым. Псевдоним Белый мне дан как бы в награду за правильное чувствование утешительного, благовествующего света, исходящего из учения Владимира Соловьева, за понимание “белого” отца Иоанна с “белыми” словами и веющим от них “белым

ветерком”. Я ничего не выдумывал, описывая в “Симфонии” Владимира Соловьева. Я говорил только о том, что действительно видел».

«Как это вы его видели? Соловьев умер в 1900 г., а вы писали в 1901 г. Видеть его тогда вы никак не могли».

«Говорю вам – я видел».

«Видели, как он выходит из могилы, ходит по крышам, сидит на лавочке, стучится в окна?»

«Да, да, все это я видел».

После такого заявления продолжать расспросы я уже не стал. На скамейке Пречистенского бульвара рядом со мною сидела пылающая мистика, никаким опровержениям не поддающаяся. Позднее узнал, что Белый во время писания «Симфонии» был охвачен сильнейшим эсхатологическим чувством и видел Москву, освещенную огнем апокалиптических чаяний. Ему чудился зов встающих из гроба. В этом состоянии он мог видеть и Соловьева вышедшим из гроба. «Симфония» с таким «исключительным» содержанием поэтому не могла не искать для себя и исключительную форму. В ответе (в 1901 г.) на книгу Мережковского о Толстом и Достоевском, подписанном «Студент-естественник», Белый утверждал, что Древний Змий не дремлет, но эпоха «Жены, облеченной в Солнце» и «Вечной Женственности» приближается и нужно к ней готовиться, чтобы не быть застигнутым врасплох. Ощущение этого приближения Белым выявлено на последних страницах «Симфонии» в беседе Печковского с отцом Иоанном:

«У старушки Мертваго сидел отец Иоанн. К ней позвонили. Она представила гостя отцу Иоанну, приветливо заметив: “А вот Алексей Сергеевич Печковский. Вы о нем уже не раз слышали, батюшка”. И батюшка смеялся и протягивал гостю свои старые руки, радостно замечая: побольше бы нам таких. Старушка Мертваго наливала им чаю, и они тихо беседовали между собою.

«Отец Иоанн говорил: это была только первая попытка. Их неудача (Мусатовых и прочих мистиков) нас не сокрушит. Мы не маловеры, мы многое узнали и многого ждем. И разве не видите, что *близко*, что уже *висит над нами*, что недолго осталось терпеть, что нежданное близится. На что собеседник отца Иоанна ответил, допивая вторую чашку чая: Так, Господи, я знаю тебя. И они молчали. И они молча слушали *вечное приближение*... И казалось, *что-то летело с шумом и пением.* И казалось, где-то за стеною *близились чьи-то шаги*».

Это была страничка прошлой жизни Белого. Я удивлялся, что торжественный финал, выражающий мистическую веру Белого во второе пришествие, – он облек в очень уж бедную и бледную литературную форму. Где же его гордая уверенность, что у символистов в распоряжении слова и цвета, способные ярко выразить и «Напор Эпохи», и «Неслышные Поступи», и «Безмерность»? В 1907–1908 г. чувства, что «за стеною близятся шаги», я у Белого не замечал. Но на самом дне его души, конечно, глубоко лежало то, к чему он религиозно тянулся в своей «Драматической симфонии». Все со дна бурно всплыло в 1918 г., когда Россию, объятую октябрьской революцией, он объявил «Женою, облеченной в Солнце».

IV
Дух, летающий по Москве

Ни «Симфонии» Белого, ни его «Золото в лазури» – об этом я сказал – меня к нему притягивать никак не могли. Что же к нему влекло? Только ли любопытство, «пятый» – по словам Фомы Аквината – из смертных грехов?

В Москве в 1907–1908 гг. было три журнала с символистическим направлением: «Золотое Руно», «Перевал», «Весы». В них во все я заглядывал, но регулярно читал лишь «Весы». Ими бесплатно меня снабжали и Брюсов, и Белый, и Эллис. В «Весах», из номера в номер, печатался большой роман Брюсова «Огненный ангел» из эпохи XVI века, с описанием религиозных психозов, отпадений от веры, мистического шабаша, черной мессы, всяческих маний, заклинаний, инкубов – демонов, вступающих в телесное общение с женщинами – и суккубов, общающихся с мужчинами. Кое-кто из знакомых москвичей видел в романе чистейшую порнографию и потому усердно его читал. Главное лицо в романе – несчастная Рената, с запавшим в ее душу видением ангела Мадиэля. Он предстал пред нею «в солнечном луче, в белоснежной одежде, лицо его блистало, глаза были голубые как небо, а волосы словно из тонких золотых нитей». Ее охватило безумное желание телесно сочетаться с ангелом, и в ее глазах он слился с образом молодого австрийского графа Генриха фон Оттергейма. Лицо Генриха – полуюношеское, глаза, как у ангела, казались осколками лазурного неба, губы складывались в улыбку, а волосы, похожие на золотые нити, возносились над челом, словно нимб святого. Граф Генрих дал обет остаться на всю жизнь девственником, Рената соблазнила его, и он бежал от нее с ужасом и отвращением.

Когда я читал Брюсова, образ Мадиэля, графа Генриха, каким-то молоточком постучал в мою память, и оттуда

всплыл эпизод из детства. Однажды мы с братом серьезно обсуждали, какой вид имеют ангелы. Что они существуют, в том никаких сомнений у нас не было. Лицо, голову ангела помог быстро установить стеклянный шкаф сестер с фарфоровыми статуэтками. Там был лебедь, тащивший лодку с феей в цветах, букет из роз с выглядывавшим из них гномом, негр в ярком костюме, высовывавший (когда его толкнут) язык и качавший головой, красивые пасхальные яйца, пастухи и пастушки, державшие овечек, маркиза с длинным шлейфом, всадница на прекрасной лошади и другие всякие фигурки и среди них одна, меня и брата особенно прельщавшая. Это был юноша в белоснежном плаще, опиравшийся на серебряный меч; у него были золотого цвета волосы, голубые глаза, черные брови, длинные ресницы, розовые щеки и чудная улыбка. Без малейших колебаний мы с братом порешили, что таким и должно быть лицо ангелов. Разумеется, у ангелов крылья – большие, белые как снег – но к чему они прикреплены? Голова, крылья, а *дальше что?* У брата напружилась жила на лбу – так всегда бывало, когда он усиленно думал – и после некоторого молчания он изрек: а дальше все как у курицы. Я вспыхнул – прозаическое куриное туловище (суп из курицы, непременно с лапшой), которым брат награждал ангелов, оскорбило мое о них представление. В сердцах назвав брата дураком, я хотел уже выйти из комнаты, но брат вцепился в меня и требовал ответить: что же дальше у ангелов? «Голова, крылья, а *дальше ничего*» – крикнул я, гордясь своим умным ответом.

Смешно сказать, но в течение многих первых месяцев знакомства с Белым ничто в моих глазах так точно не схватывало его сущность, как именно эта «символистическая» формула. У него была интересная голова, светлые волосы, чудные глаза, очаровательная улыбка, «крылья» (он ведь «летал» по всей Москве), «а *дальше ничего*». Пиджак, галстук бантиком, штаны,

ботинки – только «внешность». За нею ровно ничего. Голым Белого я представить себе не мог. Он был как-бы бестелесен, не-физичен. Я читал потом в его мемуарах, что в первые годы Университета его «мускулы были упруги», в беге он был первым, в прыжках также. Предположение, что у него могли быть мускулы, мне казалось нелепым. Дунуть на него – и ничего не останется: рассеется как цветочная пыль. Кости запястьев Белого так тонки, что иногда я думал: непременно сломятся, если по ним сильно пальцем ударить. В моей комнате (в 1907 г. на Малой Дмитровке) целый угол был занят всем, что нужно для атлетических упражнений – штанга, гальтеры, гири. К этим упражнениям я привык еще со студенческих времен. Среди гирь одна – огромная, круглая. Пустая, она весила около 2 пудов: насыпанная дробью, кажется, четыре. Подымая и подбрасывая такие пустые, но кажущиеся очень тяжелыми гири, атлеты в цирках удивляли легковерных зрителей. Среди приходивших к нам гостей не было буквально ни одного человека, который не хватался бы за эту чудовищную гирю, не спрашивал, сколько в ней весу. Поднять и взметнуть ее вверх пробовали и артист Райский, и граф Ланской, и символист Эллис, и П. П. Маслов, и Громан, и Череванин. Лет восемь спустя, уже на другой квартире, только эта гиря случайно у меня осталась, все остальное было выброшено, и Максим Горький, увидев ее, стал, так же как и все, пробовать ее поднять: «А сколько весу-то в ней»? Ничего подобного Белый не сделал: придя к нам в первый раз и идя мне навстречу, он, прежде чем поздороваться, мимоходом ласково погладил эту гирю, словно она была собачка или кошечка. И после этого ни единого слова о ней. Ни сколько она весит, ни для чего она мне. Вместо этого, с места в карьер, продолжал начатый три дня перед этим спор о Риккерте.

Бестелесному существу Белого все физическое было чуждо, было вне его и сознания его. Таким я видел, таким мыслил

Белого. Я, например, никогда не видел, как и что он ест. Со многими его знакомыми, больше всего с его другом Эллисом, мы часто сидели в накуренном до потолка ресторане на углу Тверского бульвара и М. Бронной, ели пирожки у Филиппова на Тверской, посещали пивные и, интереса ради, ночные харчевни извозчиков. В компании с Белым этого никогда не бывало.

Вспоминаю такой случай. Когда жена с оперной труппой уехала в Тифлис, я стал жить в меблированных комнатах в доме Обид иной на Петровке. Жильцы этих комнат имели право получать самовар с чайником, стаканами, полоскательной чашкой и ложкой. Прислуга в 9 ½ часов вечера уходила, и те жильцы, которые в это время имели еще самовар, должны были потом выставить его за дверь своей комнаты в коридор. В доме кишели крысы, все предпринимавшиеся против них меры оказывались тщетными. И ночью эти крысы, шлепая по коридору, начинали хозяйничать около самоваров, было слышно как они опрокидывают стаканы, гремят ложками. Я сказал об этом Белому: у нас ночью по коридору танцуют крысы. Он весь загорелся: «Танцуют, как танцуют? Ах, как это интересно – крысы танцуют! Мне обязательно их нужно посмотреть, вы даже представить себе не можете, насколько это важно». И целую ночь, начиная с 10 часов вечера, он провел у меня у приоткрытой двери, следя за крысами в коридоре. В это время меня дома не было, возвратился я лишь в полночь и лег спать; пусть Белый один высматривает крыс. В пять часов я проснулся и решил итти в чайную для извозчиков. Она помещалась против окон моей комнаты в здании, вернее в башне, составлявшей часть старинной ограды Высоко-Петровского Монастыря. В ранний час все закрыто, а там можно было получить «пару чая», калач и кусок горячей колбасы (для нетребовательного вкуса).

«Пойдемте со мною в харчевню, – предложил я Белому, – вы простояли семь часов около двери, вам наверное будет теперь приятно выпить стакан чаю с калачем». Белый посмотрел на меня обидчиво, с негодованием: «Никуда я не пойду. У меня есть дело поважнее чая с калачом, я еще многого не досмотрел». Получилось нечто вроде реплики Белинского на слова Тургенева: «Мы еще не решили вопроса о бытии Бога, а вы хотите обедать».

Из статьи Марины Цветаевой я узнал, что в Берлине в 1922 г. в ресторане «Zum Bären», куда, осточертев от немецких молочных и прочих супов своей квартирной хозяйки, Белый пригласил Цветаеву и ее дочку, он съел три мясных блюда. Дочка Цветаевой потом с ужасом говорила: «Он ел как волк, точно нападал на мясо». От голода в 1918–20 гг. Белый выл благим матом. П. С. Когану он кричал: «Это позор! Я должен стоять в очереди за воблой. Я писать хочу. Но я и есть хочу. *Я не дух. Я не дух.* Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на мелкой тарелке и чтобы ее не я мыл. Я заслужил! Я писатель земли русской!»

В 1907–1908 г. в голову не могла придти мысль, что Белый может и будет держать подобные речи. У нетелесного в моем представлении Белого вопрос об еде почти не существовал, был где-то в загоне. Голова, крылья, а дальше ничего. Значит, в отличие от всех – нет и важного вопроса об еде. «Я не дух», но именно *духом* «Котик Летаев» мне и казался, летая по всей Москве с лекциями, докладами, речами, спорами.

«Я носился (вспоминал он в 1933 г.) как в вихре из кружка в кружок, с выступления на выступление. Моя общительность в те годы была невероятна».

Каждое слово тут правда. Он читал лекции в Религиозно-Философском Обществе, в Политехническом Музее, в Литературно-Художественном Кружке, в Обществе Эстетики, в Доме Песни Олениной-д'Альгейм. Делал доклады среди

студентов и курсисток педагогических курсов, проводил всякие собеседования в разных кружках, ездил с лекциями в Петербург и Киев. Все время был на людях и вместе с тем успевал писать в «Весах», «Перевале», «Золотом Руне», газетах. Так было в 1907 г. и первой половине 1908 г. «Дух» не замыкался в своем кабинете, а летал по улицам, притягивая внимание к самым разнообразным вопросам искусства, религии, культуры. Никто не обнаруживал в этой области такой кипучей прозелитской энергии. Уже по этому одному Белый становился интересным. И мой интерес к нему возрос, когда он стал говорить, что хочет *«символизм соединить с марксизмом»,* что *«призывает всех под знамя социализма»* и требует *«прекратитъ болтовню и научиться ходитъ поступью Маркса».*

Мои партийные товарищи над моим знакомством с Белым подсмеивались. Ф. А. Череванин, прочитав произведения Белого, называл его «ананасом» («в небеса запустил ананасом») и не упускал случая спросить: «Когда ваш полоумный ананас будет выступать в цирке?». Встретившись у меня с Белым, Череванин был с ним беспощаден. В упор смотря на Белого смеющимися глазами, постукивая по столу пальцами, Череванин инквизиторски предлагал ему такие вопросы, самая постановка которых показывала, что он ждет от него ответа, неопровержимо свидетельствующего о слабоумии Белого. В детстве, когда Бореньку Бугаева считали «идиотиком», именно так экзаменовали его некоторые родные: «Скажи, Боренька, если тебя разрубить пополам – сколько будет Боренек?» И Боренька с обидой и мучением кричал: «Два!» Белый конфузливо и вежливо отвечал Череванину (тот был нелегальным, а к ним Белый проявлял в 1907 г. особую почтительность), а когда тот ушел, Белый сказал: «Мне было тягостно беседовать с вашим товарищем. У него ко мне любопытство, как к мухе с оторванной головой.

Дети часто отрывают им голову и смотрят, что муха все-таки перебирает лапками и пытается ходить. Это – нездоровое любопытство».

Здоровое или нездоровое любопытство, но Белый его вызывал решительно у всех. Некоторые видели в нем Алешу Карамазова, князя Мышкина из «Идиота» Достоевского, моя жена после нескольких встреч с ним нашла, что он «блаженный». Были люди (и мужчины и женщины), влюбленные в Белого: они говорили, что «вспыхивает свет», когда появляется Белый с его лазурными глазами, сияющей обаятельной улыбкой, и что все, что он говорит, интересно и значительно. Другие называли его актером, позером, рекламистом и душевно не совсем нормальным. Были и такие, которые приходили на его лекции, как на спектакль – посмотреть, какую штучку он выкинет, как, читая лекцию, будет танцовать, дергаться, или, декламируя стихи, то вопить басом, то заливаться высоким тенором. Белый писал, что он требует «внятности» (и одновременно заявлял: «выражаться понятно – это скучно»), но внятности-то у него никогда и не было, а была всегда груда противоречий и невнятицы, вызывавших у слушателей насмешливые замечания. Эти замечания, особенно критика в печати, даже мимолетная, в нескольких словах, в какой-нибудь короткой газетной заметке, воспринимались им подобно современным радарам с крайней чувствительностью, даже с остервенением. С. В. Яблоновский, фельетонист «Русского Слова», по самой натуре своего писания не был способен кидать стрелы, наносившие глубокие раны. Его критика лекций и стихов Белого совсем не была беспощадной. И однако, Белый не выносил Яблоновского, называл его «гадиной» и, вспоминая о нем 25 лет спустя, со скрежетом зубовным писал: «Этот человечек обладал истинным талантом вони, он подкрадывался со сладким видом, но так подло ущипывал, выбравши побольнее места, что несколько раз

мне хотелось ему закатить затрещину». В том то и дело, что все места у Белого были «болючие». Укол от иголки, по его словам, он чувствовал еще за два аршина от него. От каких пустяков он мог вспыхивать, показывает следующий случай. Маленькому горбунку, беллетристу П. А. Кожевникову Белый как-то поведал, что поэтические симфонии им сначала воспринимаются в виде неясных звуков, шумов, мелодий. Удерживая в памяти нахлынувшие звуки и их ритм, он «привязывает» к ним первые попавшие на язык слова, буквы, без всякого содержания и смысла, и уже потом этот отмеченный значками «каркас» одевает осмысленными словами, образами, красками. Кожевников рассказал о методе Белого И. А. Бунину – я присутствовал при этом. Тот рассмеялся: «Ну, теперь тайна "Симфоний" Белого известна. Он слышит звуки, привязывает к ним ба-ба, ми-ми, ка-ка, си-си, пи-пи, и вот готова "Симфония"». Шутка дошла до Белого, и забыть ее он не мог. Тихий и незлобивый Кожевников превратился в его глазах в «мерзкого карлика», «ядовитого сплетника», а Бунин в «подкалывателя», в «подколодную змею». Откуда эта странная и ненормальная реакция на малейший укол? В «Начале века» (изд. 1933 г.) Белый писал, что в 1907–08 гг. был «морально разбит и унижен, и физически даже слаб; я был в припадке умоисступления, когда люди казались не тем, что они есть, и дефекты позиций врагов разыгрывались в моем воображении почти как полемические подлости по адресу моей личности». «Все боролись и проклинали меня: Блок, В. Иванов, Чулков, Айхенвальд, Абрамович, Городецкий, Гофман, Зайцев, Ляцкий, С. Соколов, В. Стражев, Глаголь, И. Бунин. В газетах орали: собака весовская, бешеный, полусумасшедший, бездарный, скандалист. Яблоновский, Гиляровский, Лоло, Петр Пильский, Измайлов, Игнатов и сколько прочих в "Русском Слове", в "Речи", в "Русских Ведомостях", в "Раннем Утре", в "Голосе Москвы"

только и ждали удобного случая, чтобы *доконать* окончательно молодого писателя, переживавшего последствия тяжелого горя и едва стоящего на ногах от затерзанности».

Под коверкающим действительность микроскопом Белого укусивший его комар превратился в его мемуарах в ихтиозавра. Читатели в 1934 г. могли подумать, что все газеты Петербурга и Москвы в 1907–1908 г. ничего не писали о 2-ой Государственной Думе, ее роспуске, изменении избирательного закона, Третьей Думе, столыпинских законах, ничего о жизни страны, а только о Белом, о том, как бы его «проклясть» и «доконать».

Однажды, придя ко мне, Белый стал около стены, прижал к ней крестом поднятые руки и почти со слезами стал жаловаться: «Я распятый, я на кресте. Всю жизнь от рождения я должен страдать. Страдания мои никто не знает. И вот теперь их обостряют этими подлыми, ядовитыми намеками, что я душевно болен. У меня слух тонкий, я слышу спрятанные намеки».

Неожиданная жалоба, что он на кресте, распят – признаюсь, произвела на меня сильное впечатление. Я решил: есть что-то мне неведомое, но очень большое, заставляющее Белого страдать. Я проникся к нему большой жалостью, и это чувство в 1907 г. и первую половину 1908 г. никогда меня не оставляло. Оно подсказывало мне в общении с ним быть в максимальной степени мягким, осторожным и, несмотря на все экстравагантности Белого, всегда подчеркивать, что у меня нет к нему любопытства, как к мухе с оторванной головой. Я не ведал тогда, что страдание было как бы profession de foi Белого, что с ранних лет он стал мыслить себя некиим страдающим, распятым Дионисом. Если бы я с бóльшим проникновением читал его «Золото в лазури», я заметил бы, что там идет речь не только о «лазурной лучезарности», но и о его, Белого, страданиях, о возложенном

на него «терновом венце». Свои страдания он с большим чувством описал в сборнике стихов «Пепел». Он видел себя в гробу, описывал «Отпевание», «Вынос гроба» и умолял его, мертвого, пожалеть и полюбить.

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите –
Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь –
Вернусь!

Блок неизмеримо лучше меня знал Белого, когда в письме от 8 августа 1907 г., том самом, что вызывало Белого на дуэль, писал: «Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что вы только один на всем свете "страдаете" и никто, кроме Вас, не умеет страдать, – все это в достаточной степени надоело мне».

Кстати о дуэлях – это ведь один из эксцитативных элементов «воздуха символизма». Разыгрывались страсти, раскрывались «бездны», появлялись в «лиловом сумраке» демоны и «черные контуры», и после вздергивания себя до истерики все кончалось благополучно примирением. В 1905 г. Брюсов вызывал на дуэль Белого. Дуэль не состоялась. В 1906 г. Белый вызвал на дуэль Блока – она тоже не состоялась. В 1907 г. Блок вызвал на дуэль Белого – и тот же результат...

Думаю, я достаточно сказал для того, чтобы ответить теперь на вопрос: что меня притягивало к Белому. Прежде всего – огромное любопытство: таких людей, как он, я еще не встречал. «Голова, крылья, а дальше ничего». И талантливость. Я чувствовал ее на вечере у Эфроса, а еще раньше осенью 1905 г. в Университете, когда Белый призывал «волить взрыва». Кроме любопытства, конечно, очень большой интерес к заинтриговавшей меня «платформе» Белого: соединить

символизм с марксизмом. Об этом еще придется много говорить. К Белому, временами неотразимо обаятельному, я чувствовал симпатию и, вместе с нею – я объяснил почему – жалость. Но рядом с этими чувствами было еще одно, о котором я непременно должен сказать.

Еще со студенческих времен у меня было желание написать философскую книгу и в ней заменить материалистическую гносеологию марксизма критическим реализмом, эмпириокритицизмом Маха и Авенариуса. Философский материализм, в том виде, в каком он пропагандировался Плехановым и принимался партией, я решительно отвергал. Никаких материальных возможностей написать такую книгу не было. Для заработка нужно было писать в газетах, журналах, составлять популярные брошюры; для серьезной философской работы, да еще при обремененности, как это было все время в 1905–1908 гг., различными партийными и политическими делами, времени не оставалось. Книгу написать я мог, лишь освобождаясь от всех этих дел и занятий, как-то обеспечивая себя материально на это время.

И вдруг эта возможность появилась. Владелец книжного магазина в Москве на углу Тверского бульвара и М. Бронной, начавший издательство книг, решил после разговора со мною, что книгу мою он издаст, если я принесу ее не позднее, чем через три месяца. Я его уверил (это была неправда), что книга в огромной части уже составлена, и на этом основании он выдал мне крупный аванс. А после этого начались несчастья. Для составления книги были нужны многие сочинения, на русский язык не переведенные: Авенариуса, Маха, Леклера, Петцольда, Когена, Шуппе, Шуберт-Зольдена, Корнелиуса и др. Их можно было достать в университетской библиотеке, но они находились в руках приват-доцента Викторова, писавшего тезу об эмпириокритицизме, и еще другого доцента, Самсонова. Когда эти до зарезу нужные книги я

наконец получил, до срока обязательной сдачи работы оставалось лишь полтора месяца. Написав сорок первых страниц, я послал их издателю с просьбой вследствие запоздания получения из университета нужных книг, изменить срок сдачи рукописи и дать мне дополнительно еще полтора-два месяца. Издатель просил к нему прийти, встретил с сухим лицом и заявил:

«Я должен с вами говорить откровенно и сказать все до конца. Я прочитал то, что вы написали, и извините меня: если бы вы были даже Кантом или Гегелем, написанное все равно печатать не стал бы. Вы нарушили наш договор. У нас шла речь о живой, понятной всем, философской публицистике, а вы даете какой-то тяжелый сухой трактат, в котором разобраться могут лишь немногие. Тратить деньги на издание вещи, интересной лишь маленькой группе специалистов, я не буду. Предлагаю вам это переделать и дать мне – как о том и шла речь – понятную всем и зубастую философскую полемику. Срок сдачи книги не могу изменить. Знаю, что издательство "Зерно" выпускает книгу на ту же тему, и на ту же тему выпускается сборник в Питере. В такой обстановке всякое опоздание с книгой убивает к ней интерес, она перестает быть новинкой. Я издатель-коммерсант, а не меценат, тратить деньги без уверенности, что они ко мне вернутся, не могу, не хочу и не буду. Если вы не согласны – договор наш будем считать расторгнутым, вы вернете взятый *аванс,* и мы разойдемся с миром».

Что мне было делать? Вернуть аванс не было возможности. А не получить сумму, причитавшуюся мне по сдаче рукописи, равносильно было финансовой катастрофе. Я сдался и изменил весь задуманный стиль, план работы, превратив ее только в упрощающую вопросы философскую публицистику и полемику с Плехановым, Аксельрод-Ортодокс, Дицгеном, Богдановым. Чтобы сдать рукопись к сроку, писал всю ночь,

а в восемь утра приходил мальчик из типографии Саблина, и написанное немедленно набиралось. Часто типография меня обгоняла и требовала для набора материала, а он сидел еще в моей голове, и на курьерских приходилось переносить его на бумагу. Не было ни возможности, ни времени что-либо переделать, исправить, добавить – типография устраивала скандалы, протестуя против вычеркивания или изменения уже набранного текста. Меньше чем в полтора месяца я написал 307 печатных страниц, и это был ад. Самая работа делалась противной – это было совсем не то, о чем я думал. Во время писания книги Белый узнал о моих несчастьях и буквально воспылал ненавистью к моему издателю: «Вы не должны сдаваться перед ним. Он, поставив вас в материальную зависимость от себя, заставил писать не то, что вы хотели. Он хамски взял вас в плен. Такое положение недопустимо. В вашем лице унижена, оскорблена вся корпорация писателей. Я поеду к нему и *оскорблю его действием.* Рябушинский [издатель "Золотого Руна"] попробовал было стеснить мою волю свободного писателя, так я ему такой скандал учинил, что он заюлил передо мной, как битый кнутом пудель. Вот как нужно обращаться с издателями. Ваш издатель – подлец, мерзавец, его нужно научить деликатно обращаться с писателями. Я не могу допустить, чтобы под давлением издателя вы писали не то и не так, как хотели бы. Мое отношение к вам не позволяет мне с таким фактом примириться».

Мне еле-еле удалось убедить Белого не делать скандала, не наносить моему издателю «оскорбления действием». На следующий день Белый снова был у меня.

«Другого издателя для вашей книги у меня нет. "Скорпион" [издававший "Весы" и символистов] ее, конечно, не возьмет, но я хочу быть вам полезным. Вы сказали, что связаны взятым авансом. Я вас спасу. Аванс мы издателю кинем.

Нужные для этого деньги я попрошу у мамы, если она не даст – попрошу у Полякова [издателя “Весов”], а если увижу, что он жмется, готов обратиться хотя бы к Гиршману»[3].

На возвращение аванса и, следовательно, на разрыв с издателем – должен признаться – я пойти испугался. Слишком была велика необходимость получить гонорар за книгу. Поведение Белого во время этой истории, его желание «спасти меня» глубоко меня тронуло. К чувству симпатии к Белому прибавилось чувство признательности, благодарности, какого-то долга перед ним.

---

[3] С Гиршманом Белый встречался в обществе «Эстетика». В «Между двух революций» он пишет о нем: «Этот бритый и рыжеусый банкир, посторонний искусству, с развязной скромностью пятивший грудь, лез, упорно проталкиваясь куда-то, срывать что-то с нас. Он мелко не плавал, задумав Москву покорить своим тактом, терпением, выдержкой». Считаю своим долгом сказать, что мой издатель (Курындин) совсем не был «подлецом и мерзавцем». Джентльменски расплатившись со мною за книгу «Философские построения марксизма», он в том же году издал мою книгу «Мах и марксизм», куда я включил то, что в спешке не мог уложить в первую книгу. А вскоре после этого он издал мою брошюру «Мы еще придем» о «Жизни человека» и «Царе Голоде» Леонида Андреева, уплатив за нее очень высокий гонорар. Все эти вещи расходились хорошо; издатель на них ничего не потерял, а на брошюре «Мы еще придем» даже здорово заработал.

V
Марксизм, Апокалипсис, идея «взрыва»

Я сказал почти обо всем, что объясняет мою тягу к Белому. А какие были *у него* мотивы часто видеться со мною? Он говорит о них в своих мемуарах. Но прежде, чем на это ссылаться, считаю нужным отметить одну отвратительную черту этих мемуаров. После своего возвращения из Берлина, куда он перекинулся, временно не выдержав советской жизни, Белый, реабилитируя себя перед советской властью, систематически пачкал грязью своих прежних знакомых, а в особенности тех, кто стал эмигрантом. В 1909 году Гершензон печатал его статьи в «Критическом Обозрении», журнале «набитом профессорскими именами», и профессорская среда с большим вниманием относилась к Белому и, в частности, помогала ему в отыскании средств, когда он уезжал с А. А. Тургеневой («Асей») за границу. В благодарность за это многих членов этой московской профессорской среды, так же как коллег своего покойного отца, Белый потом злобно изобразил в самом изуродованном виде. Он рисовал их в образе «профессора Задопятова» в сатире «Московский чудак». Л. Б. Каменев в предисловии к «Началу века» Белого (1933 г.) правильно говорит, что он не рассказывает, а «лепит идеи через носы, брови, зубы, слюни, междометия». Мы знаем, что «эти люди умели членораздельно излагать свои мысли, но у Белого все они косноязычны до полнейшей невнятицы», пишет Каменев. В результате «выростает жуткая картина идейного бессилия, исторического бесплодия и умственной скудости целой прослойки предреволюционной интеллигенции». Такого результата, униженно приспособляясь к требованиям советской идеологии, и добивался Белый, тратя свой огромный талант на грязное занятие. Когда он говорит, например, о Бердяеве, идей или высказываний этого

человека мы никогда не узнаем; вместо того дается отвратительная картина нервных тиков Бердяева:

«Упав головою в свои кулаки, подлетевшие к красным губам, как у мавра, рвал губы, оскалясь, мигая, и прыгая теперь сутулой спиной, подаваясь утверждением; из ротового отверстия черноогромного красный язык вывисал до грудей; он одною рукою язык себе силился снова упрятать, трясся над ним, а другой, отлетавшей, хватался за воздух и рвал его (так ловят моль); после этого первого тика – руки, рот, язык, голова возвращались на место».

О всех эмигрантских своих прежних знакомых – о Бунине, Зайцеве, Ходасевиче, Степуне, Гессене, Яковенко и т. д. – Белый стремился сказать что-нибудь «поболючее», задевающее, оскорбительное. Моментами кажется, что автор «Золота в лазури», певец «Жены, облеченной в Солнце», готов залезть под кровать, подслушать там секреты и распрю супругов и потом этим подслушанным замазать их физиономию. Об одном почтенном эмигранте он ехидно сообщает, что от него убежала богатая жена, соблазненная некиим «херувимом» (имен, я, конечно, не называю), что эмигрант, о коем идет речь, напоминал «скорлупчатого скорпиона».

Входил во все души, в них располагаясь с комфортом; в них гадил; и вновь выходил неуличаемый, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи казался порою убежавшим из склепа, где познакомился уже с червем. Перебрасывая свои сплетни из лагеря в лагерь, он, со всеми дружа, делал всем неприятности. С детской грустью больного уродика любил прикинуться ползающим в своей грязи из чувства подавленности пред ризами святости. С подергом змеиной головки он нервным, грудным, перекуренным голосом пел, точно страстный цыганский романс, как он Пушкина любит за то, что и Пушкин купался в грязи.

Из своего богатейшего арсенала слов, Белый выбирает такие, которые острой шпилькой вошли бы в ухо, чтобы даже кишкам было больно. И этот садистический шарж – потому,

что его бывший товарищ по Университету (и по изданиям в Берлине), тот, кому он подарил свою книгу «Петербург» «с чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь», не стал – как он, Белый – пленником советской власти. Он щелкает решительно всех. Ходасевич правильно сказал: «Он пощадил лишь нескольких живущих в Советской России. Будь они за границей, им бы не сдобровать».

В 1933 г. вышел том воспоминаний Белого «Начало века». Там было и о 1905 годе. Меня очень занимало, скажет ли что-нибудь Белый о том, как я его лечил от анархизма «социал-демократическими пилюлями». Около этого вопроса он ходил, но не сказал обо мне ни слова. Такое же умолчание я рассчитывал найти и в третьем томе его воспоминаний («Между двух революций»), доведенных там до 1910 г., то есть со включением сюда 1907–1908 гг., когда мы очень часто виделись. Мне стало известно, что, приспособляясь к советским требованиям, Белый составляет в извращенном виде свою автобиографию и все, что может его уронить в глазах советских издателей, цензоров и правителей, из нее выбрасывает или переделывает так, что факты перестают быть фактами. Исходя из этого, я решил, что обо мне и наших отношениях он ничего писать не будет: это слишком для него *невыгодно*. Обойти меня ему было очень легко. Он, например, писал о своих встречах в Литературно-Художественном Кружке. А в это учреждение я не ходил, оно мне мало нравилось, к тому же я был до конца 1907 г. «нелегальным», жил по чужому паспорту. Ходить в Кружок, всех членов и посетителей которого полиция знала, мне не полагалось. По той же причине не бывал я и в салоне Морозовой. Белый писал о тех, которые с ним полемизировали, – я ни единой строчки о нем не написал. Или, вернее, написал однажды, не называя его, и написанное ему до печати показал. В своих мемуарах он много говорит о литераторах Петербурга, о «башне» Вяч. Иванова,

о Гиппиус, о Мережковском; в этом же обществе, живя в Москве, я не бывал. Самое построение его мемуаров было таково, что он мог бы меня игнорировать. Поэтому, когда в 1934 г. вышло «Между двух революций» и мне написали, что там есть «кое-что и о вас», я этому удивился, а зная характер двух первых томов Белого, предполагал получить на свою голову, если не ведро помоев, то по крайней мере несколько кружек. Ведь Белый знал, что, покинув парижское торгпредство, я с 1931 г. стал эмигрантом. А если эмигрант, да еще с наклеиваемой на меня кличкой «меньшевик», пощады не будет, и буду я наречен «белогвардейцем», ослом или крысой, вроде тех, что Белый наблюдал у меня в номере в доме Обидиной.

Случилось неожиданное. Ни одной ругани по моему адресу, если не считать одной без моего имени; наоборот, даже какие-то приятные слова. Читаю: «Валентинов (Вольский), живой, бледный блондин, обладал даром слова и был острый и увлекательный собеседник».

В другом месте: «Меня кое-вчем понял эмпириокритик Валентинов». Эмпириокритицизм в СССР был давно объявлен запрещенным, такая фраза была неосторожна. Быть понятым «эмпириокритиком» – аттестация плохая.

Белый встречался со мною в редакциях газет. В воспоминаниях он с остервенением говорит о всех «газетчиках», как типе растленных людей. С удовольствием констатирую, что меня в эту категорию он не внес. Валентинов – писал он – «не был типом газетчика, скорее доморощенного [sic!] философа».

У Белого есть одна фраза, уже совсем неосторожная: «*С Валентиновым связывали меня теоретические интересы*».

Связь с «меньшевиком», – а связь значит не случайная встреча, а более или менее длительное общение – факт, компрометировавший Белого. Зачем ему было в этой связи

признаваться? Он мог об этом умолчать. Почему он этого не сделал? Некое подобие объяснения находится в следующих фразах:

Валентинов обладал умением будоражить во мне вопросы, связанные с марксизмом; мне казались странными его безгранные расширения марксизма на базе эмпириокритицизма; но я ценил в нем *отзывчивость* и то *внимание,* с которым он выслушивал тезисы мною вынашиваемой теории символизма; он писал в те дни книгу, за которую ему так влетело от Ленина, назвавшего позицию этого рода эмпириосимволизмом; мы с ним договаривались *почти до согласия в конечных темах наших построений;* но Валентинову я подчеркивал, что позиция его развивается за пределы марксизма; и в сторону символизма. Он, в свою очередь, силился мне доказать, что напрасно я держусь за слово «символ», так как **я** на три четверти марксист; символизм де во мне – непричем. Прочтя поздней знаменитое сочинение Ленина, я подумал: прав-то был я, а не Валентинов в оценке его тогдашней позиции.

Столько здесь напутано, что распутать нелегко. О том, что он «на три четверти марксист» (такой ярлык Белому был нужен!), я уж наверное не говорил. Для меня важно установить, что в отличие от прочих, фигурирующих в его мемуарах и поверженных в прах эмигрантов, помои на меня не вылиты. «Отзывчивость и внимание», с которыми я действительно к нему относился, и он очевидно, это хорошо помнил, и в этом деле вероятно имели большое значение. Но, говоря, что его связывали со мной теоретические интересы, Белый предпочитает об этом только упомянуть. Но если я был, по его словам, «увлекательным собеседником», то почему в своих мемуарах он не сказал ни слова, о чем же мы с ним «увлекательно собеседовали», какие такие вопросы, кроме теории символизма, обсуждали? Причину умолчания, как я уже сказал, понять нетрудно. В наших беседах А. Белый был совсем не таким, каким позднее он себя вообще представлял

«советской общественности и власти». Он слишком много от них скрывал и об этом умолчанном и не рассказанном я и хочу рассказать.

* * *

Белый говорит, что я будоражил его вопросами, связанными с марксизмом. О марксизме мы с ним немало говорили, хотя бы потому, что в то время, после нескольких лет боязливо бродившего во мне тайного ревизионизма, я уже открыто отходил от ортодоксального марксизма, и всякие относящиеся сюда вопросы сидели у меня в голове и на языке. Конечно, не обо всем, что мы по этому поводу говорили с Белым, хочу я рассказать, а только о самом интересном для его характеристики. Он как-то пришел ко мне с кислой миной:

Был в Румянцевской библиотеке. Взял три тома «Капитала», в них более 1800 страниц. Второй и третий томы я и в руках-то никогда не держал. Мне нужно «проинспектировать» в них некоторые идеи, а я не могу этого сделать. Мне осталось жить, может быть, каких нибудь семь или восемь лет (он прожил после этого 26 лет. *Н. В.*). За это время я должен написать два тома по теории и истории символизма, книгу о стиховедении, книгу о новом театре, два романа, два тома стихов, книгу о Соловьеве, книгу о Ницше. Нет у меня времени заниматься побочным чтением «Капитала», я заглянул туда, он очень труден.

«А вы обратитесь к популяризациям, – сказал я. – О первом томе “Капитала” есть книга Каутского, о самом существенном во втором томе найдете у Булгакова в его “Рынках при капиталистическом производстве”, сущность третьего тома изложена у Бернштейна».

Белый смотрит на меня с обиженным видом.

«Я не старушка-нищенка, которая стоит на паперти церкви у нас в Никольском переулке и сморщенной рукою просит

копеечку [подробно показывает, как она просит]. Копеечных популяризаций я не прошу. Мне они не нужны. В 1906 г. Эллис мне их таскал, а я незаметно ему в боковой карман пальто швырял. Я хочу проинспектировать некоторые идеи "Капитала" и слышать о них не от кого-то, кого я не знаю, а от того, кому в это время могу в глаза смотреть, чей голос слышать, кому могу предлагать вопросы и получить ответ не через месяц или через год, а сейчас, немедленно. У меня нет времени ждать. Потому-то я и обращаюсь к вам».

Я в панике. У меня очень срочная работа для издательства «Антик», каждый час дорог. А я знаю, что Белый, пропадая, как это бывало летом, иногда на целый месяц, в другое время залетал не на час, а не несколько часов, с продолжением такого залета в течение нескольких дней подряд. И тогда от разговоров в духе Ивана и Алеши Карамазовых – «русских мальчиков» – становилось сухо в горле, и комната наполнялась до потолка дымом от бесчисленного числа выкуренных папирос. Возможно, что мне удалось бы уклониться от отнимающего много времени «инспектирования» идей «Капитала», но случилось недоразумение, которое способно было страшно обидеть Белого, и мой уклон от «инспектирования» сделался уже невозможным.

«За отнятие у вас времени от срочной работы – сказал Белый – я отплачу выкладкой вам некоторых идей символизма, о которых не писал и никому еще не говорил». Фраза была запутанная, я ее не понял, мне послышалось, что он мне хочет «заплатить» за помощь ему, и я естественно пришел в раж:

«Да вы с ума сошли! Подумайте только, что вы мне предлагаете!»

Белый побледнел. Он хочет мне сообщить какие-то большие, им вынашиваемые идеи, а я говорю, что такое предложение может сделать лишь сумасшедший, и слушать его не хочу. Слава Богу, недоразумение удалось быстро выяснить,

мы с ним поцеловались, и, уже оставляя всякую мысль о срочной работе, я сказал, что сделаю все, что он просит. В моей комнате находился маленький диван с изогнутым сидением. Лежать на нем было нельзя или только в скрюченном, крайне неловком, положении, подтянув ноги почти к голове. Тем не менее, Белый попросил позволения лечь на него. Больше того: забывая свое заявление, что ему нужно смотреть в глаза, он сказал, что, если я ничего против этого не имею, он будет лежать, повернувшись ко мне спиною: «Это позволит мне слушать с наиболее сосредоточенным вниманием». Я, конечно, против этого не возражал и все время, пока я, расхаживая по комнате, говорил, «инспектируя» идеи, цитировал Маркса и другие марксистские издания, Белый смирно, без движения, лежал скрючившись на диване, спиною ко мне, то бросая реплику, то ставя вопросы, из чего можно было заключить, что слушает он действительно с напряженным вниманием. Некоторые его реплики были весьма интересны. Так, по поводу Марксовой теории о присвоении капиталистом прибавочной ценности, произведенной рабочим, Белый, не повертываясь ко мне, сказал: «Моральное осуждение этого акта не у Маркса нужно искать, а у Канта или еще лучше в Евангелии».

Какие идеи нами «инспектировались»? Я далек от мысли наводить скуку, подробно передавая, что я говорил в течение нескольких часов. Но, чтобы показать, на что, крайне характерно для него, реагировал Белый, изображу в максимально (подчеркиваю: максимально!) упрощенном виде суть моего «доклада»:

«Капиталистическое развитие, по Марксу, ведет к уничтожению крестьянства, к его уходу в город или превращению в сельских рабочих. Свободная собственность, по Марксу – “самая нормальная форма собственности” для мелкого производства, но целый ряд причин неумолимо и бесповоротно

крестьянское хозяйство уничтожает. Георг Эккариус в брошюре, одобренной Марксом, писал, что мелкое крестьянское хозяйство обречено на гибель, оно балласт в современном социально-политическом развитии, оно “пятое колесо в телеге”, и рабочие заинтересованы в том, чтобы “малейшая попытка к созданию мелкого крестьянского хозяйства подавлялась в корне”. Развивал те же идеи и Вильгельм Либкнехт, заявляя, что над крестьянством произнесен смертный приговор и не существует средств, которые могли бы его спасти. Ход капиталистического развития в деревне весь этот оплот старого общества уничтожает».

Белый, не поворачиваясь ко мне: «Оплот в деревне, значит, *взрывается?»*

«Да, если хотите применить это слово, “взрывается”, такова мысль Маркса. Но исчезает не только мелкое крестьянское хозяйство. Опираясь на такие-то и такие-то факты и, главное, соображения, Маркс утверждает, что на исчезновение обречены и все средние слои города – мелкие фабриканты, торговцы, ремесленники и всякие другие независимые предприниматели».

Белый снова подает реплику: «Вся эта середина тоже *взрывается»?*

«Да, этот люд перестает быть независимым собственником, предпринимателем и превращается, как крестьяне, в наемных рабочих. Общество разделяется все более на два резко противопоставленных класса. С одной стороны – капиталисты, с другой – численно растущий класс наемных рабочих. Игрою имманентных законов капиталистического производства происходит экспроприация населения и одновременно идет централизация капиталов. Один капиталист, читаем мы у Маркса, побивает другого, уменьшается число магнатов капитала, держащих в своих руках все общественное хозяйство и узурпирующих все выгоды его. Однако,

в недрах такого общества начинают “шевелиться силы и страсти”. Масса пролетариата страдает “от нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации”, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, организуемого и объединяемого самим процессом капиталистического производства. Монополия капитала, централизация средств производства, обобществление труда достигают такой степени, что становятся несовместимыми с капиталистической оболочкой. Она лопается. “Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют”».

Белый, до того момента лежавший на диване, вскакивает с него и кричит:

«Значит, происходит взрыв, все сокрушается, сметается, лопается!»

Я делаю попытки заметить, что теорию Маркса можно толковать и по-иному: факты показывают, что крестьянство не подвергается полному исчезновению; Бернштейн и его последователи находят, что самый «взрыв» устраняется реформами, позволяющими не скачком, а эволюционным путем перейти к социализму. Наконец, сам Маркс полагал, что, например, в Англии можно избежать взрыва, своевременно «откупаясь» от капиталистов. Белый не хочет этого даже слушать. Он заявляет, что, внимательно следя за моим изложением трех томов «Капитала», «инспектируя» таким образом основные идеи Маркса, он приходит к выводу, о котором уже раньше догадывался, но лишь хотел его проверить в разговоре со мною.

«Настоящий марксист, думающий действительно по Марксу, должен под своей лобной костью, в своем мозгу, обязательно носить идею *взрыва. Марксизм без идеи взрыва – уже не марксизм.* Это обстоятельство имеет огромную важность для меня, символиста, и находится в теснейшей связи с мистикой Соловьева и величественными прозрениями в “Откровении” Иоанна».

От услышанного, ударяющего своей неожиданностью топором по голове, я теряю способность говорить, хочу только слушать, что̀ дальше скажет Белый! Извольте-ка понять его!! Нужно научиться «ходить поступью Маркса» – и вот теперь ссылка на откровение Иоанна, иначе говоря – на Апокалипсис. Во мне смутно бродит мысль, что в мозгу этого странного существа есть действительно какая-то мистическая связь между «взрывом» по Марксу и полоумной «Симфонией», в которой Белый изображал как Владимир Соловьев ходит по крышам домов и трубит в рожок: «Конец уже близок». Я чувствую, что на самое дотошное изложение трех томов «Капитала» Белый меня толкал как будто только для того, чтобы услышать о взрыве, о *неминуемости взрыва,* самому несколько раз произнести с особенным чувством это слово и меня заставить его повторять.

Неотступное видение грядущего «взрыва» несомненно занимало в его голове особое, громадное место и сопровождалось глубокими, волнующими переживаниями. Перелистывая его сочинения, мы находим:

«Взорваться – средство не погибнуть ... На черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное».

В другом месте:

«Взрывчатый снаряд разорвется не ранее, чем человечество станет под одним трагическим знаменем».

В третьем месте цитата из Ницше:

«Политика растворится в духовной войне. Старые формы жизни будут взорваны. Будут войны, которых никогда не было на земле».

В четвертом месте:

«Священное сумасшествие – взрыв назревшей революции духа».

В пятом месте:

«Вулканические взрывы приближаются. Мы их уже слышим».

В шестом месте (в его «Петербурге»):

«Культура – трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось; будет взрыв, все сметется».

Там же:

«Прыжок над историей будет; великое будет волнение; рассечется земля, самые горы обрушатся от великого труса».

В седьмом месте:

«Во взрывах, в катастрофах и в пожарах развалится старая жизнь. Эти взрывы уже совершаются в тех, кто себя начинает готовить к событиям "Новой Эпохи"».

Профетическая мысль о взрыве – неотъемлемый спутник его душевной жизни, и характерно, что в период острого душевного заболевания Белого в Дорнахе (1914–1915 гг.) именно эта *мысль о взрыве «взрывает» его заболевший* мозг, приводя к сумасшедшему выводу, что взрывы в мире происходят от взрывов в самом А. Белом:

«Взрывы во мне стали взрывами мира... Я бомба, летящая разорваться на части и, разрываясь, вокруг разорвать все, что есть... В могиле, на родине, в русской земле, мое тело, как бомба, взорвет все, что есть, и огромной атмосферой дыма поднимется над городами России».

Откуда было у Белого это, иногда скрывавшееся, но не покидавшее его видение, предчувствие, пророчество «взрыва», довольно-таки меня раздражавшее, так как после революции 1905 г. нового взрыва я не чувствовал, не ожидал, а позднее (после всего, что я видел в России в 1909–1914 г.) был глубоко убежден, что взрыв в 1917 г. не произошел бы, если бы не было войны. Для понимания предчувствий Белого следует обратиться к семейной обстановке, в которой ему пришлось жить. Рано начавший думать, развиваться, крайне нервный мальчик был раздавлен отношениями между отцом, знаменитым профессором математики, человеком физически здоровым, но уродом, с ненормальной рассеянностью

и нелепыми чудачествами, и матерью, красавицей, властной, злой неврастеничкой, заставлявшей всех в доме ходить на цыпочках. Более противоположных натур, говорит Белый, чем его мать и отец, трудно найти. Самый брак их непонятен. Все, что принималось отцом, зло и настойчиво отвергалось матерью, и наоборот. На этой почве вечно происходили дикие домашние сцены, повергавшие в ужас Бореньку Бугаева. «Я нес, пишет Белый в своей автобиографии, мучительный крест ужаса этих жизней». Он жил изо дня в день в ожидании какой-то катастрофы, взрыва всех семейных отношений, «конца мира», после которого последует страшный провал куда-то. Страх и ожидание такого провала – содержание его мучительных ночных кошмаров. Он научился притворяться, говорить одно отцу, другое матери, метаться между ними, «взрываться» как мать и «пороть дичь» как отец, что бы в конце концов – впасть в полную «немоту», в боязнь и неумение вообще что-либо сказать. Его начали считать идиотом. С годами «немота» прошла, он делается бойким, слишком бойким молодым человеком, но детское ожидание катастрофы глубоко залегло в его душу, и когда позднее юноша Бугаев хватается за книги, его «предчувствие» получает теоретическую, философскую, мистическую санкцию от чтения Апокалипсиса, Ницше и Вл. Соловьева. Отец с 6-го класса гимназии ему подсовывал Бокля, Льюиса, Спенсера, логику Милля; по его требованию (при негодовании и протесте матери) он поступает на математический факультет, чтобы «быть как отец». Однако, не этого требовала его душа. Душа выбирает иное. В Дедове «посредине пруда» на лодке он с С. Соловьевым читает ночью Апокалипсис при свете колыхаемой ветром свечи. «Апокалиптической мистикой – поясняет он – я был переполнен до всякого Апокалипсиса». К странным видениям он привык еще со времени ночных

кошмаров. Боря Бугаев в восемнадцать лет сочиняет повесть о пришествии Антихриста под маской Христа, и М. С. Соловьев (брат Владимира Сергеевича) находил, что она значительно сильнее той, что написана его знаменитым братом. В девятнадцать лет Белый знакомится с «Заратустрой» Ницше и с этой книгой уже не расстается. Он упивается словами Ницше: «Я благостный вестник, какого никогда до сих пор не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор недоставало понятий ... Я хожу среди людей как среди обломков будущего, того будущего, что вижу я один». Весною 1900 г. происходит свидание Белого с Вл. Соловьевым, производящее на него потрясающее впечатление. «С этого времени я жил чувством конца, ощущением новой последней эпохи благовествующего христианства». Белый постоянно ходит на могилу Соловьева, встречается с ним в своих снах, под влиянием его повести об Антихристе ему «чудятся зовы восставших мертвых». Его притягивает с новой силой Апокалипсис. Беседовать о нем и о новой эпохе он ездит в Донской Монастырь к живущему на покое епископу Антонину. Об Апокалипсисе он ведет беседы и с Л. Тихомировым, который в прошлом был главой террористической организации «Народной Воли», а после «раскаяния», возвращения в лоно самодержавия и православия стал ученым толкователем «Откровения Иоанна». Уже с 1901 г., слыша что «эволюция безболезненно приведет человечество в лучшее будущее», Белый проникается презрением и ненавистью к позитивистическому мировоззрению и к самой идее эволюции, «постигает скуку такого будущего», бросается к анархизму, находит, что только при обладании трагическим мировоззрением можно ощутить «апокалиптический ритм времени», иметь чувство «зари», услышать «звук грядущей эпохи» и приближающегося «взрыва». В 1905 г., в год революции,

Белый в кружке Астровых читал доклады об Апокалипсисе и анархизме, и мне теперь понятно, что этим апокалиптическим духом была проникнута и та странно для меня прозвучавшая речь Белого осенью 1905 г. в Университете, взывавшего «волить взрыва» и требовать немедленного уничтожения всякого государства. В ней был не только анархизм, было и другое: Апокалипсис. Но в день, когда мы с Белым «инспектировали» три тома «Капитала», генезиса его духовного, идейного развития я не знал. В обнаружившемся соединении Маркса с Соловьевым увидел я лишь выверт оригинальничающей мысли.

«Если вы хотите хотя бы немножко следовать за марксизмом, то на что тогда вам Соловьев, Апокалипсис и “Жена, облеченная в Солнце”? А если вы за Соловьева и эту жену крепко держитесь, тогда бросьте даже мимолетные разговоры о марксизме. Одно абсолютно отрицает другое. Неужели вы этого не видите, не чувствуете? Нельзя же под лобной костью, как вы выражаетесь, держать такую непереносимую смесь. От нее ваш мозг “взорвется”».

«Я вам сейчас отвечу» – и в первый и *единственный* раз я услышал от Белого речь, совершенно непохожую на обычные. Обычно он «пылал», волновался, прыгал, негодовал, что слушатель не понимает его мысли. На этот раз он говорил со мною поразительно спокойно, вроде учителя, объясняющего ученику самую простейшую арифметическую задачу и терпеливо ожидающего, чтобы ученик ее усвоил. Что сказал мне Белый?

Мне приходилось уже говорить, повторю в последний раз, что речи Белого точно не передаваемы. Причина совсем не в том, что моя память сдает. И построение фраз и слова его были не таковы, как у нас всех. Поэтому я могу передать смысл его речи, отдельные особо запомнившиеся в ней куски

и слова, но не его ни на что не похожий поток слов во всей их связи или, вернее, с присущей Белому бессвязностью.

«Жена, облеченная в Солнце» есть чарующий, светлый символ, награждающий человечество благовествующей вестью о новой эре. Взят этот символ из Апокалипсиса – величественного леса из символов, сохраняющих свое значение вплоть до момента, когда, по выражению Соловьева, небо сольется с пучиною вод, или, по Апокалипсису, появится новое небо и новая земля. В Апокалипсисе ряд символов, отражающих борьбу разных эпох в жизни человечества – уход от эпохи, в данный момент считающейся благополучной, к другой – катастрофической, революционной. Между символами Апокалипсиса и марксизмом есть некий параллелизм. Марксизм со стороны его религиозно-пророческой сущности есть тоже видение смены, путем взрыва, двух эпох: одной, называемой им буржуазно-капиталистической, другой – социалистической. Под своей лобной костью марксист должен обязательно носить идею взрыва, иначе он перестает быть человеком катастрофической эпохи, делается вроде домашней собаки с выстриженной шерстью, чтобы она походила на льва. Из марксизма, говорите вы, нельзя перейти к Соловьеву. Соглашаюсь, но от Соловьева, как от общего к частному, можно перейти к марксизму, так как, если марксизм, в конечном счете, есть лишь видение и прозрение, то философия Соловьева есть еще бóльшая система видений и прозрений, связанных с охватом всего Космоса и делающих ее неизмеримо более широкой, более глубокой, более проницательной, чем сухие и, в сущности, недалеко идущие марксовы прозрения. В чем суть революционного взрыва, этой ссылки Маркса на лопающуюся оболочку общества, после чего происходит экспроприация экспроприаторов? Взрыв есть акт духовный. Ссылка на концентрацию капиталов или на что-либо подобное этого акта не объяснит,

тогда как у Соловьева глубочайшее объяснение того, что значит этот взрыв, находящий себе проявление в кризисе нашего сознания, всей нашей культуры, в резких изменениях нашей психики, в появлении видений зари? По Марксу, оболочка лопается, а что дальше, что потом? За этим, говорите вы, Маркс видел бесклассовое общество. Общество без классов означает общество людей, переставших друг друга резать, грабить, угнетать, эксплоатировать – иными словами, сменивших старые чувства на чувства признания своих ближних. Какие это чувства? Отвечая на это, нужно поставить несколько огромных, до неба возвышающихся слов. *У Маркса их нет.* А у Соловьева есть: *после катастрофического взрыва,* смены старой, прежней эпохи *наступает эра вселенской любви, благовествующего христианства.*

Зло позабытое
Тонет в крови,
Всходит омытое
Солнце любви.

Это или не это хотел сказать Маркс? Если не это, тогда Маркс не видит, не чувствует, не знает что̀ нужно сказать. А если это, тогда совершенно очевидно, что его видения ничтожнее соловьевских. Взрыв у Маркса – хлопушка с пустотой, а у Соловьева за ним космический поворот, победа Софии премудрости Божьей, перерождение человечества, в акте вселенской любви устанавливающееся полнейшее единство всех людей, составляющих человечество. Я Маркса уважаю. В его теории взрыва, которую, оказывается, можно хорошо установить по трем томам “Капитала”, есть несомненно звук идущей эпохи, но я не могу не видеть, что на величественном экране религиозных прозрений Соловьева марксизм представляется лишь свидетельством очень узкого, частного характера, подтверждением лишь кое-что видящего

материалиста, позитивиста. Отсутствие широты у марксизма видно и из другого. Вы говорите, что Маркс всегда отказывался давать какие-либо подробные указания, что̀ произойдет после взрыва и обобществления средств производства. Он просто утверждает: будет благо. В этом-то пункте особенно ясно, насколько материалист Маркс слабее прозревает будущее, чем Соловьев. Соловьев допускает, что после взрыва может наступить *равенство всеобщей сытости,* это еще не будет царством блага, Христа, а может быть эпохой Антихриста под маской Христа. Потребуется новый взрыв, чтобы придти к эпохе подлинного благовествующего христианства и подлинной вселенской любви. Пред нами не одно детерминированное решение будущего, не один путь будущего, а сложное противоборство двух тенденций. Антихрист может придти ранее Христа.

«Проповедь» Белого – а ничем иным его речь назвать нельзя – я слушал с большим любопытством. Меня однажды уже убеждали принять философию Соловьева. Это делал Булгаков, но он в то время поспешно уходил от какого-либо прикосновения к марксизму, а Белый, наоборот, делал попытки сблизиться с марксизмом, в какой-то степени принять его, одновременно присоединяя к нему и Соловьева, и Апокалипсис. Было занятно (как в театре смотрят на интересную пьесу) следить за умственной эквилибристикой этого талантливого человека.

В то время я не знал ни Гарнака, ни других ученых, занимавшихся исследованием происхождения книг Нового Завета, стал читать их четыре года спустя. Апокалипсис впервые прочитал, кажется, только в конце 1902 г. после разговора с Булгаковым. Кроме книги шлиссельбуржца Морозова «Откровение в грозе и буре» (вышла в 1907 г.), мало убедительно доказывающей, что Апокалипсис написан под впечатлением затмения солнца в IV веке Иоанном Златоустом,

о сем произведении ничего больше не читал. Но его кровожадность и описываемое им истребление людей всеми способами – огнем, мором, мечом, дымом, серой, саранчей, драконами, многоголовыми страшными зверями, рыжими и бледными всадниками – произвели на меня отвратительнейшее впечатление. От всего веяло Ассурбанапалом, Хаммураби, ассирийско-вавилонской жестокостью. Даже при весьма поверхностном знании Нового Завета я почувствовал (думаю, такое же чувство должно быть и у других) огромное противоречие между духом Апокалипсиса и других частей Нового Завета (Евангелий от Матвея, Марка, Луки).

«Вы видите – сказал я Белому – в Апокалипсисе лес величественных символов, но можно ли в нем усмотреть хоть капельку вселенской любви, о которой вы так хорошо говорите? Там и в царстве Христа народы пасутся "жезлом железным"».

Белый снисходительно улыбнулся:

«Вы напоминаете моего отца. Об Апокалипсисе он говорил почти то же самое, что слышу от вас. К этому всегда прибавлял: Влад. Соловьев носится с Апокалипсисом, но кому же неизвестно, что он был психически больным человеком, сумасшедшим, в течение многих лет страдал галлюцинациями. Я отвечал моему отцу, что знаменитого математика Лобачевского многие тоже считали сумасшедшим, тогда папа замолкал. У вас, позитивистов, имманентный отпор против высшей метафизической математики».

Я ответил Белому, что всех сочинений Соловьева не читал, прочитал лишь те, на которые, как на главнейшие, мне указывал С. Н. Булгаков. Но даже при объяснении их таким глубоким комментатором, как он, я пришел к убеждению, что в них разобраться никто не может, что это – темь, что-то близкое к оккультного характера построениям. Можно ли, например, понять что такое «душа мира», представленная

то вечным телом Божества, то Софией – Женственным существом, соединяющимся с Логосом-Христом, то носительницей хаоса и безобразия, то субстанцией Божественной Троицы, то идеальным человечеством и т. д.? Абсолютно уже недоступна здравому пониманию теория Соловьева об андрогинизме, будущем половом единстве мужского и женского начала, приводящем к перерождению вселенной.

«Я убежден, что вы (Белый) всемерно упрощаете темную метафизику Соловьева, сводя ее лишь к переделке его повести об Антихристе, к поэтике "Вечной Женственности" и "Жены, облеченной в Солнце". Совершаемые вами упрощения Соловьева с особой ясностью выступают у Блока в его "Прекрасной Даме", где все в сущности сводится к стишкам Соловьева: "Знайте же: вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет"».

Снисходительная улыбка, до сих пор не покидавшая Белого, сразу с его лица исчезла. Он потемнел, стал абсолютно иным, чем за минуту перед тем, и злым тоном мне крикнул:

«Убедительно, покорнейше, дружески, настойчиво прошу вас не смешивать меня с Блоком, не ставить меня рядом с ним, нас не сопоставлять. Вы на это не имеете никакого права, и мне это очень неприятно».

«Почему?» – спросил я.

Ответа в тот день не последовало. Наш сеанс с «инспектированием» Маркса, с разговором об Апокалипсисе, отнял много часов. Оба мы страшно устали; был третий час ночи, нужно было расходиться, и Белый ушел. Продолжение разговора с ответом на мой вопрос произошло через пять-семь дней, и то, что я тогда услышал от Белого, несомненно сильно повлияло на мое отношение к Блоку. Отсюда и некоторые неприятности, которые я Блоку позднее сделал. Что же мне сказал Белый? К этому сейчас перейду.

VI
А. Блок и А. Белый

Блок познакомился с Белым в 1903 г. и писал ему: «Ваши богатства неисчерпаемы, и повторения Вас не будет». С 1904 г. они начинают встречаться, друг в друга влюбляются.

Блок пишет в 1905 году: «Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо. Тебя никто не знает, но как Ты думаешь, знаю *ли* я Тебя? По крайней мере я этого всегда хочу». И дальше: «Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю».

«Милый брат Боря, я все ближе и ближе к Тебе, все больше понимаю все, что Тебя касается, и все нежней и заветней тебя люблю. [...] Пиши мне, милый, я уже не могу нормально существовать без Твоей поддержки от времени до времени».

Такие же письма, и обязательно с «Ты» с заглавной буквы, посылает и Белый Блоку. В письмах, переполненных таинственными словечками, мистическими намеками, вывертами, любовными самоанализами, пышет «эпоха символизма». Хорошим образчиком символистической переписки может быть следующее письмо Блока:

«... о Тебе, Боря, как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную лужу в черных небесах над Твоей головой».

Недурно и другое письмо:

> Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет причины не верить. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осенний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер повеет, и колючие мои руки запляшут свободно.

После года страстной влюбленности и объятий их отношения рвутся:

> Мало кто, – заявляет Белый, – мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он. В июле 1905 г. обнаружилась

глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 г. провалом, через который перекинули было мост, но он рухнул в начале 1908 г. Лишь с 1910 г. выравнялась линия наших отношений ... У нас было расхождение до ужаса, до невозможности даже выносить бытие друг друга.

Почти то же самое писал и Блок:

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне... С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших *темпераментов* и странное несоответствие между нами – роковое, сказал бы я...

И дальше:

Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх ... В ту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы – *«разного духа»*, что мы – духовные враги...

В другом письме Блок писал Белому:

... более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем.

Наконец, еще позже мы читаем в письме Блока Белому:

Можно сказать, что человеческого почти и не было между нами; было или нечеловечески несказанное, или не по-людски ужасное, страшное, иногда – уродливое...

Белый и Блок – в том нет сомнения – разные натуры. Во многом важном сходились; во многом, еще более важном, расходились. Например, А. Белый никогда не мог бы о себе сказать то, что Блок заносил в свой дневник: «Безумно люблю жизнь, все житейское, простое и сложное, бескрылое и цыганское».

С бескрылым и цыганским хорошо увязывается запись в дневнике Блока:

> Варьете. Акробатка выходит, я умоляю ее ехать... Я совершенно вне себя... Она закрывает рот рукой – всю ночь. Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках какая-то сила и тайна. Часы с нею – мучительно, бесплодно...
>
> Эту женщину я, вероятно, не увижу больше, и не надо видеть, ни мне, ни ей неприятно. Она «обесплочивает» мои страсти, бросает их в небеса своими саксонскими глазами.

Очевидно, после посещения очередной обладательницы «саксонских» глаз Блок сотворил следующий «шедевр»:

> Я не муж, не жених и не друг.
> Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
> В сердце острый французский каблук.

Могло ли что-либо подобное быть у А. Белого, исступленно, савонарольски бичевавшего эротику? «Голова, крылья, а дальше ничего».

Указанными чертами, разумеется, не исчерпывается «роковое» несоответствие их натур; все же, без указания на них, многое в разрыве отношений Белого и Блока не будет понятно. О сущности их отношений я ничего не знал, но с конца 1907 года мне бросилось в глаза раздражение, с которым Белый говорил о Блоке. Я мельком слышал, что в порче их отношений сыграла роль какая-то женщина, но никто мне тогда не говорил, что это жена Блока, хотя очень многим это было известно. Лишь позднее, взяв написанное об этой истории Белым в берлинской «Эпопее» (в 1922 г.) и «Между двух революций», соединив все с рассказом мне Белого о Блоке и кое-с-чем, слышанным от Эллиса, я мог понять, в какой обстановке разыгрался характерный для «воздуха символизма» конфликт между Белым и Блоком. Его начало несомненно положено некоторыми похождениями Блока, обличенного

Белым в припадке мистического «исступления». Из факта нарушения Блоком «святыни и мистерии брака» он заключил, что тот недостоин быть рыцарем «Прекрасной Дамы» – Любови Дмитриевны Блок – и должен уступить эту миссию, эту роль ему, Белому. Так возникла исступленная любовь Белого к жене Блока, ее временное им увлечение (он потом объяснял это «экспериментом похоти»), даже согласие уехать с ним за границу, отказ от этого, вспыхнувшее презрение к Белому и ее решение, несмотря на вину Блока, не уходить от него.

«История этой любви, – говорит Ходасевич в “Некрополе”, – сыграла важную роль во всей истории символизма. В своих воспоминаниях Белый изобразил ее в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить не мало труда на восстановление истины».

«Этот трагический период своей жизни, – замечает К. Мочульский, – Белый описывает в двух книгах: “Воспоминания о Блоке” (Берлин, 1922) и “Между двух революций” (Ленинград, 1934). В первой он обходит молчанием свои отношения с Л. Д. Блок, во второй, рядом с ней, выводит некую г-жу Щ. Оба приема камуфляжа совершенно извращают перспективу событий и отношений. Очень трудно не заблудиться в лесу двусмысленностей, недомолвок, сознательных искажений и обманов, нагроможденных автором» (К. Мочульский. Александр Блок, стр. 119, примечание).

Разбитая любовь создает «моральную растерзанность, униженность», о которых Белый постоянно говорил в 1907 году, но у него были не только эти чувства. Всплывала и острая ненависть, одновременно и к жене Блока, и к самому Блоку: вот он, Белый, страдает, а в это время Блок, уже забыв, что̀ произошло, живет полной жизнью, веселится, увлекается артисткой Волоховой, воспевает ее в «Снежной Маске», а жена

Блока уже завела роман с У., потом с Ф., потом с Ш. Ненависть к Блоку сопровождалась, почти с уверенностью можно сказать, комплексом неполноценности, чувством отсутствия мужской полноценности, завистью к Блоку, пред которым так легко открывались альковы, так легко склонялись женщины. А ненависть к жене Блока доходит до того, что в романе «Серебряный голубь», изображая хлыстовскую богородицу, «духиню», развратную бабу Матрену, он вкладывает в нее, и позднее вызывающе об этом сообщает, черты «Щ.» – жены Блока. Блок тогда уже умер, но Щ. – жена Блока – была жива!

Раздражение против Блока (в 1907–1908 гг.) находило себе выражение в его отзывах о стихах, пьесах, статьях его прежнего друга. Когда он говорил о них с С. Соловьевым, Эллисом, я часто слышал такие слова: Блок «опять разразился пустотой», «опять кощунствует», «снова и снова лицемерит и двуличничает». Злоба так накатывала на него, что раз он завел со мной долгий разговор о Блоке, хотя знал, что Блока я видел мельком лишь раза два в жизни, им совсем не интересуюсь и подавно его интимною жизнью. Разговор, – правильнее сказать, яростная диатриба, являвшаяся как бы объяснением «покорнейшей просьбы» не смешивать его с Блоком, – поразил меня своим характером. Как только он начал говорить о Блоке, лицо его сразу изменилось, потемнело, глаза стали противными, белыми, видно было, что злоба в нем клокочет. Ни о ком другом – ни о Пильском, ни о Стражеве, ни о Бунине, ни о других, которых привык ругать, – он не говорил с таким остервенением. Я никак не могу передать всего, что от него услышал, тем более о сексуальных похождениях Блока: это совершенно нецензурно, и это язык проклинающего монаха. Его диатрибу я должен сильно сократить, а остаток очень смягчить.

«Вы не знаете Блока! О, его нужно видеть и знать. Посмотрите на этого красавца, сколько умения носить костюм, смокинг, украсить карманчик цветком, сколько благородства в его рыжей шевелюре. Как он великолепен, когда в театре выбирает место где-нибудь у рампы и хочет, чтобы все женщины им любовались. Как он умеет бросить в нос никому неведомую, неясную, но глубокую мысль! Он актер с юных лет, со времени гимназии стремился быть актером. Этим он всех обманул. За красивым обликом у него постоянная ложь. Читая его “Прекрасную Даму”, мы все были уверены, что там заложена религия, мистика. В Блоке мы видели рыцаря, склоняющегося пред Царством Духа, пред Мадонной, пред Неземной. Оказалось, там просто хлыстовство, похоть, только похоть. Неслучайно же через полтора года после женитьбы он возвращается к своей подлинной натуре, идет к проституткам и в дом свиданий. От Мадонны к проститутке, от Неземной к земной незнакомке у него один шаг, и так как он лжец, то, возвратившись со свидания с очередной “незнакомкой”, с благородным видом говорит, что не переносит эротики. Он великий лжец и лицемер. После долгих разговоров с ним мы были убеждены, что Блок глубоко проникнут соловьевской онтологией, философией, мистикой. Об этом он всем говорил неоднократно. Обнаружилось, что Соловьева-то он и не читал, не знает, а ухватился лишь за какие-то клочки от Соловьева, чтобы ими покрыться. Соловьевство было модно, оно понадобилось ему, чтобы скорее сделать литературную карьеру, а когда она была сделана, он разразился “Балаганчиком” и осмеял всех мистиков и мистицизм. Из постулата Соловьева о “Вечной Женственности” он создал только санкцию для разгула похоти. Блок мерзко кощунствует и лжет, когда говорит о Боге, вешает у себя в комнате иконы, умилительно говорит о Христе. Его он не знает

и не может знать. Образ Христа ему противен уже потому, что предостерегает от гадостей его натуры. Блок – это физиология, отравленная поисками запаха ночной фиалки, эротического душного угара, фиолетовых сумерок, столь подходящих к его развратным припаданиям к Астарте. В блоковской физиологии нет места для интеллекта. Никакой философией, никакими теориями он себя не утруждает, а когда пробует философствовать, несет такую чепуху, что за него становится стыдно. Он любит покупать книги, заказывает им эффектный переплет, не читая, ставит на полку или бросает на стол: пусть гости думают, какой он образованный. Последнее время играет в демократа, выжимает из себя большие демократические слова. Недавно в "Золотом Руне" писал о долге художника пред обществом и народом. Он даже стал заявлять что у него почти "душа шестидесятника". Я посоветовал бы ему, прежде чем говорить об общественных делах, научиться по-человечески обращаться с прислугой. Он – типичный белоподкладочник, относится к прислуге как феодал-помещик, за малейшую провинность чуть ли не по физиономии бьет и гонит в шею. В конце концов, что представляет собою Блок? Талантливую пустоту, только пустоту, лишенную какого-либо положительного ядра. Через несколько дней выходит номер "Весов", там по поводу последних произведений Блока вы найдете то, что уже давно во весь голос нужно о Блоке сказать. Достаточно ненужных умолчаний и церемоний».

Статья Белого, впервые в литературе выступившего против Блока, была помещена в «Весах» (1908 г., № 5). После смерти Блока, временно (позднее все снова исчезнет) отдаваясь «чувству любви и преклонения пред покойником», Белый заявит, что напрасно написал статью, что сделал это под влиянием «черного контура, овладевшего моими поступками

и в припадке боли и полемической злобы». Что же он написал, толкаемый этим «черным контуром»? Приведу некоторые выдержки из его статьи:

Блок – талантливый изобразитель пустоты: пустота как-бы съела для него действительность. Красота его песни – красота погибающей души, красота «*оторопи*», а не красота созидания ценности.

Вот пред нами изящный томик в картонном переплетшее; обложка Сомова, как венок из роз, венчает книгу; переверните обложку: вас встретит Предисловие: «Лирика не принадлежит к областям... творчества, которые учат жизни...» Далее узнаем, что переживания лирики хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть «немножко в этом роде»; под обложкой в Предисловии встречает вас пустота мысли. Далее встречает вас ароматный венок самого творчества: символы, как розы, гирляндой закрывают смысл и цельность переживаемых драм: приподымите эту гирлянду: на вас глянет провал в пустоту...

Как атласные розы, распускались стихи Блока; из-под них сквозило «виденье непостижное уму» для немногих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его как созидателя новых ценностей. Но когда облетел покров с его музы (раскрылись розы) – в каждой розе сидела гусеница, – правда, красивая гусеница ... но все же гусеница ... Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого прекрасного поэта гусениц, но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину, нечто вроде «$\sqrt{-1}$».

Но далее: Блок стал еще более совершенным техником, а Незнакомка, Смерть, Жизнь, проститутки, рыцари, кабачки – все, к чему ни касался Блок, превращалось в изящный как виньетка покров над... чем? И вот в «драмах» оказалось что это «что-то» есть... «Ничто». «Драмы» Блока – обломки рухнувших миров ... как попало соединенные в своем полете в пустоту: здесь к реальному образу приставлена голова Небесного Виденья, там к образу Виденья приставлена голова восковой Клеопатры или даже голова из сыра

«бри» – все равно: ведь сила своеобразной прелести рыдающих драм Блока (которые рыдают всем, чем угодно: Бетховеном, комаринской и т. д.) в том, что в них нет ничего, они – ни о чем...

Без связи, без цели, без драматического смысла мягко струит на нас гибнущая душа ряд своих образов: символизм – ряд синематографических ассоциаций, – бессвязность – вот смысл блоковской драмы...

Попробуйте подойти к драмам Блока с точки зрения цели, смысла, ценности. «Бри» и все тут!..

Вы говорите, нельзя понять драм Блока; да их нечего понимать ... Захватывающая сила этих драм есть бесцельная тризна поэта над своей душой, которая и себя, и свои кумиры бросила на алтарь ... пустоты.

... Блок – незабываемый изобразитель «*пустых*» ужасов: тут перед вами бесшумный провал всего, что вообще может провалиться.

Что неверного в рецензии Белого о Блоке? Есть и до сих пор поклонники Блока, считающие его драмы произведениями высочайшего искусства. Георгий Чулков, изобретатель «мистического анархизма», был даже уверен, что постановка «Балаганчика» Блока это «значительный этап» в истории русского искусства. А по моему убеждению, Белый был полностью прав, называя драмы Блока бессмыслицей, бесцельностью, бессвязностью, пустотой: «Бри и все тут». «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка», «Песня судьбы» – это символический, мистический хлам. Драмы Блока никогда к большому искусству отнесены не будут, о них – за исключением, может быть, «Розы и Креста» – все безвозвратно забудут. У Станиславского – кто это отрицает? – было достаточно вкуса, чтобы разбираться в искусстве, а «Песня судьбы» у него вызвала только пожатие плечами. Да, наконец, и сам Блок признал, что его «Балаганчик» – «декадентская пьеска», а в 1911 г. он нашел, что «Песня судьбы» – «дурацкая пьеса»

и из нее нужно выкинуть «все пошлое и глупое, то леонид-андреевское, что из нее торчит». Но если выкинуть это, что останется?

Обозленный рецензией Белого, Блок решает разойтись с ним «навек» и пишет в своем дневнике: «Хвала Создателю! С лучшими друзьями и “покровителями” (А. Белый во главе) внутренно разошелся навек. Наконец-то! Разумею полупомешанных – А. Белый, и болтунов – Мережковских».

Рецензия Белого, на мой взгляд, совершенно верно, правильно и резко характеризовала символистические упражнения Блока. Совсем другой вопрос – что верно или неверно в том, что Белый с озлоблением мне говорил о Блоке, а приглушенный отголосок этого я сразу почувствовал в его рецензии. В мае 1908 г. я слушал Белого, у меня не было ни надобности, а главное никакой охоты проверять, правильны ли его суждения и рассказы о мало интересовавшем меня Блоке. Но теперь, когда опубликованы дневники, записные книжки Блока и всякий другой относящийся к нему материал, с полной уверенностью можно сказать, что рассказ Белого, несмотря на бешеный тон, не извращал действительности. В самом деле, возьмем ту же «Прекрасную Даму». Кого под титрами «Владычицы Вселенной», «Марии», «Святой», «Непостижимой», «Неизреченной Красоты», «Лучезарной Девы», «Вечной Жены», «Вечной Любви», «Солнца Завета» и прочими именами в том же духе славил Блок? Богородицу, Мадонну, Премудрость Божью, Софию Соловьева? Конечно, нет. Речь не о «Неземном Существе», а о весьма земной и прозаической Любови Дмитриевне Менделеевой, его будущей жене. Блок одно время был так влюблен в нее, что решил, если не будет взаимности, покончить с собой. В 1902 году в связи с этим, он даже приготовил такую записку:

«В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне отвлеченные и ничего общего с “человеческими”

отношениями не имеют. Верую во единую святую, соборную и апостольскую Церковь. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

«Я твердо уверен, писал он Любови Дмитриевне, в существовании таинственной и малопостижимой связи между мною и Вами. Так называемая жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где соприкасается с Вами. Я стремлюсь давно уже как-нибудь приобщиться к Вам, быть хоть Вашим рабом. Разумеется, это дерзко и даже непостижимо. Однако, меня оправдывает продолжительная и глубокая *вера в Вас как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно*».

«Пресловутая Пречистая Дева» – это сильно сказано! Вот во что в голове Блока превращалось соловьевство:

Я медленно сходил с ума
У двери той, которой жажду.

Ходасевич был абсолютно прав:

«Эротизм бурлил под соблазнительным и лицемерным покровом служения “Прекрасной Даме”».

И первым это заметил отец Блока, а теперь это признают, кажется, и его биографы. Говоря, что в блоковских стихах о «Прекрасной Даме» спрятано «хлыстовство и похоть», Белый от истины не уклонялся. Также был он прав, доказывая, что философией Соловьева Блок «лишь покрылся». До сочинений Соловьева он лишь дотронулся и их не знал. Этому есть полное подтверждение. Блок писал Е. Иванову: «Я силился одолеть “Оправдание Добра” Вл. Соловьева и не нашел там ничего кроме некоторых формул средней глубины и непостижимой скуки. Есть Вл. Соловьев и его стихи – единственное в своем роде откровение, а есть “Собрание сочинений” В. Соловьева – скука и проза».

Из всего «откровения», каким он считал стихи Соловьева, в сущности, он выхватил лишь одно стихотворение «Das Ewig-Weibliche», а с ним под «гирляндой из роз мистических переживаний» можно уже было устремиться ко множеству «Фаин», «Лучезарных Дев», «Незнакомок» и «красивых гусениц».

Белый возмущался тем, что, «покрываясь мистикой», Блок мистиком однако не был, а лишь пускал в ход, по словам самого Блока, «идиотски бессвязные, понахватанные чорт их знает откуда», мистические слова. Это было действительно модно, «полезно» для литературной карьеры, а когда она была сделана, он разразился «Балаганчиком» и мистицизм высмеял. Белый видел в этом двуличие, и снова он был прав. Но почему Белый заметил это с таким запозданием? Блок в припадке откровенности написал однажды Белому:

«Отчего ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом. Я вообще никогда (заметь: никогда, даже когда писал стихи о "Прекрасной Даме") не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом у меня *ничего не стоит*. Я просто беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал, а перестав, и понимать многое не могу».

Белый утверждал, что Блок – физиология, в которой нет места теоретизирующему, философствующему интеллекту. Он с малыми изменениями повторял Зинаиду Гиппиус, говорившую: «Все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, откатывает от него». О том, что все от него «откатывает», Блок сам говорил. В 1907 году, ссорясь с Белым, он писал ему:

... «Философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога – иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли ...

А несколько раньше:

Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую то ни было школу.

Блок забыл в это время, что принадлежал к школе «символизма», вне которого, по его же словам, нет искусства. Но в данный момент не это важно. Важнее другое: не веря в Бога, не веря в Христа, он «умилительно» и часто говорил о Христе. В «Прекрасной Даме» он писал, что «понял юного Христа». «Я шел вперед, а позади – Он Сам» и «направлял мой шаг завороженный». Эти слова лживы, отношение Блока к Христу с ясностью показано в письме к Е. Иванову (1904 г.):

Я ни за что, говорю вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я его *не знаю* и *не знал* никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то желчное, то равнодушное. Пустое слово для меня, термин, отпадающий, «как прах могильный».

Белый трясся от негодования, говоря о «кощунственной игре Блока с образом Христа», но Блок свое лицемерие и не отрицал. Ведь он в той же «Прекрасной Даме» писал:

В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из под маски лицемерной
Смеются лживые уста.

Белый мне говорил, что, «выжимая из себя большие демократические слова», Блок в то же время оставался «белоподкладочником», психологически столь далеким от «демоса», что не «по-феодальному» не мог относиться, например, к прислуге: за малейшую провинность «гонит в шею». В 1928 г. вышел дневник Блока и, проглядывая его, я вспомнил слова

Белого: прислуге отведено в дневнике какое-то особое место. В записи 22 мая 1912 г. стоит:

Ужас после более или менее удачной работы: прислуга. Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно ужасное. Лицом – девка как девка, и вдруг – гнусавый голос из беззубого рта.

«Девка», шокирующая эстета Блока своим голосом, выгнана, ибо запись 28 мая гласит:

«После нескольких дней бесприслужья – какая-то девчонка, умеющая сносно готовить...»

«Девчонка» долго не удержалась, после нее были многие другие. 2-го сентября Блок заносит в дневник, что произошла «проба прислуги – неудачная», а 4-го сентября «проба прислуги – удачная», но барину и эта «удачная» прислуга не нравится, и 16 октября он пишет: «еще одна кухарка выгнана». Приглашена какая-то новая, а через пять дней и ее нет: жена «наняла еще одну прислугу – глухую».

Словом, какие бы пункты диатрибы Белого против Блока ни брать, все они потом оказались «документально» подтвержденными. Белый в данном случае не лгал, не измышлял, говорил правду. Остается последний пункт: похождения Блока «в сумраке фиолетового цвета», начатые «полтора года после женитьбы» и вызвавшие у Белого ужас и гнев против разрушения Блоком его мистического союза с «Прекрасной Дамой».

Рецензия в «Весах», указывая на Прекрасную Даму, превратившуюся в проститутку, на это и намекает. Позднее Белый выражался еще яснее. У Соловьева, писал он, музой была «Мета» (мета-физика), а «подругой Блока – Люба с вещественной физикой, но без метафизики. Впоследствии оказалось, что физика Блока не Люба, а незнакомка с Елагина острова, вдохновившая его к винопитию». Но, может быть,

это поклеп на Блока со стороны озлобленного Белого с его комплексом неполноценности именно в сексуальной области? Когда я спрашивал Белого, откуда он так детально знает о похождениях Блока, он ссылался на многих свидетелей и особенно на «полностью лишенные сознания греховности» признания самого Блока. Доказывать, что этого не могло быть, что Белый говорил неправду, теперь просто нелепо. «Мистерия» брака была нарушена, сначала Блоком, потом его женой. В Петербурге об этом все знали. Знали о его пьянстве, посещении притонов, увлечении «незнакомками». В свой дневник он заносил: «я напиваюсь каждый день», «вчера был пьян до бесчувствия» или «сплю одну ночь из двух». В 1912 году, встретившись с Белым (они тогда временно примирились) в Петербурге в ресторанчике около Таврической улицы, Блок, осунувшийся, потрепанный, побледневший, рассказывал, что пьет и «увлекается многими». «В сфере стихии внешней жизни подвержен он всяким случайным опасностям, неприятностям вплоть до заболевания».

Белый его тогда ни в чем не упрекал, ибо, объяснил он, «в визге и свисте мятели, в объятиях бесшабашного ветра в тайниках жизни Блока отслаивались огромные и чреватые мысли о новой России». Нужно ли было для вынашивания этих великих мыслей идти в лупанарий?

* * *

В предисловии к изданным в 1946 г. в СССР в одном томе сочинениям Блока В. Орлов писал, что в ряде произведений Блок выступает как «национальный поэт от лица всего народа» и поэзия его – «великое явление русского и мирового искусства». То же самое, лишь иначе мотивируя, говорят и многие среди российской эмиграции. В самом деле как не считать национальным поэтом Блока, уверявшего, и многих в том уверившего, что ему «ясен до боли долгий путь»

«Руси моей, Жены моей». Теперь, когда даже до мельчайших деталей известна его биография, можно сказать, что «Жену»-то он и не знал. Он знал только «Петербургское небо» и Шахматово, свое имение в Клинском уезде Тверской губ. Блок посещал Францию, Италию, Бельгию, Голландию, Германию, откуда писал матери письма, оплевывающие Европу – «чудовищную бессмысленность, где в каждом углу человек висит над самым краем бездны», он постоянно возвращался в Bad Nauheim, а вот познакомиться с «Женою», с Россией, которая «всех краев дороже мне», Блок никакого желания не обнаружил. Он никогда не бывал севернее Шахматова. Никогда в средней России. Никогда на Волге. Никогда на Юге России. Только однажды молнией прилетел на один день в Киев читать стихи и молнией улетел обратно в Петербург. Бретань – Аберврак – сей национальный поэт знал лучше, чем родную страну. О «Новой Америке», возникшей в Донецком Бассейне, он одним ухом услышал от М. И. Терещенко (будущий министр иностранных дел и финансов во Временном Правительстве был в 1912 году издателем сборников «Сирин»). От него Блок узнал об угле и железе там, где был прежде «стан половецкий». Его стихотворением «Новая Америка» заинтересовались люди, обычно стихов не читавшие. Так, «Горнозаводское Дело» (1914 г., № 1), издание Совета Съездов Горнопромышленников Юга России, приводя несколько строф из «Новой Америки», писало о том, как хорошо, что «ультрасовременный поэт Блок прозревает значение нашей промышленности». Блок, по словам Пяста, очень обрадовался такому отзыву, даже стал подумывать, не написать ли ему поэму, посвященную «фабричному возрождению России». Она, конечно, не была написана и не могла быть им написанной. «Новая Америка» стоит среди его сочинений совершенно случайным эпизодом.

Не будь на этот счет случайного разговора с Терещенко в ресторане на Стрельне, «Новая Америка» не появилась бы на свет.

Подобно А. Белому, проникнутому идеей «взрыва» и презрением к эволюции, Блок испытывал «ненависть к различным теориям прогресса». Он разжигал в себе чувство катастрофы, всеобщего крушения, жажду революции, некоего «кровавого светопреставления». «Пусть кровь, самосуд, красный петух, пусть разрушаются дворцы и стираются с лица земли Кремли, пусть хамство и зверство, разбойники, убийцы» –

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови –
Господи, благослови!

У этого человека, любившего «все цыганское и бескрылое», нутро тянуло не к мирному прогрессу, а к «Двенадцати», где старая «убогая» Русь с ее крестами и звоном колокольным преобразуется не входящей в нее культурой, перепахивается не глубоким плугом эволюции, а просто убивается пулей творящих «возмездие» красноармейцев:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь –
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!

В «Двенадцати» Блок, пишет В. Орлов, с громадным вдохновением и блистательным мастерством запечатлел открывшийся ему в романтических пожарах и метелях образ новой, свободной, революционной родины. Поэт, верный своим исконным представлениям о «России – буре», понял и принял

революцию, как стихийный, неудержимый «мировой пожар», в очистительном огне которого должен сгореть «весь старый мир до тла». «"Двенадцать" – шедевр русской гражданственно-патриотической поэзии».

От этого шедевра (а сотворив его, Блок занес в свой дневник: «сегодня я гений») меня тошнило. Я не могу забыть, какой восторг вызывали «Двенадцать» в самых зверских, на все способных кругах. Для них поэма «Двенадцать» как бы санкционировала: «Теперь все позволено». От «Двенадцати», объявил мне один чекист, «напруживается мускул, хочется разить, выжигать до тла все старье». В Октябрьскую революцию с поэмой Блока могла соперничать лишь поэма Ленина, состоявшая из двух слов: «Грабь награбленное». Обе вещи одного и того же порядка, и их громадный успех от одних и тех же причин. Мое отношение в «Двенадцати», конечно, должно возмутить не только диктаторов советской литературы, но и какое-то количество эмигрантских знатоков «высокой и тонкой поэзии». Все, что ими не прощается, например, Горькому, Брюсову, – прощается Блоку. Его тронуть нельзя: lèse-majesté! – его сейчас же заградят от всяких нападок забором преклоняющихся пред Блоком слов. Ему прощается (никогда не цитируется) даже знаменитая статья, воспевавшая в 1919 г. «крушение гуманизма»:

«...побежденным оказалась гуманная цивилизация, победителем дух музыки. Во всем мире звучит колокол *антигуманизма;*[4] мир омывается, сбрасывая старые одежды... Человек... проснулся от векового сна цивилизации; дух, душа и тело захвачены вихревым движением; в вихре революций духовных, политических, социальных, имеющих космические соответствия, производится новый отбор, формируется новый

---

[4] Подчеркнуто мною. – *Н. В.*

человек; человек – животное гуманное, животное общественное, животное нравственное – перестраивается в *артиста*...

Исход борьбы решен ... движение гуманной цивилизации сменилось новым движением ... теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения – уже не этический, не политический, не гуманный человек, а *человек-артист;* он, и только он, будет способен *жадно жить* и *действовать* в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество».

Скверные слова! Иногда жалеешь, что человек, в отличие от животного, обладает речью. Певец «Прекрасной Дамы», «Вечной Женственности» и катастроф, «музыкально» возгласил осанну новой человеческой породе – негуманного и неэтического артиста. Тут он угадал, именно эта порода стала «жадно живущим и жадно действующим» героем новой эпохи. Этот герой артистически истреблял «не-артистов» – Петек, Катек, Ванек и прочих из «Двенадцати». Страну «крестов» и «колокольного звона» он опоясал и покрыл густой сетью концентрационных лагерей. В течение пятилеток создал могущественную технику «Новой Америки», позволившую «артистам» быстро подмять под себя пол-Европы:

> Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
> Попробуйте, сразитесь с нами.
> Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!
> С раскосыми и жадными очами!

Блок в нашумевшей статье о революции требовал от интеллигенции: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию!» Провозгласив этот принцип, пошел ли сам Блок мужественно и последовательно по взятому им

пути? В том-то и дело, что этого не случилось. Когда квартира оказалась нетопленной и «без прислуги», когда пришлось иметь в качестве гонорара селедку и гнилую картошку, когда обнаружилось, что от него требуют писать не символические поэмы, а протоколы заседаний, когда он узнал, что мужички, «музыкально» разрешая аграрный вопрос, разгромили его любимое имение Шахматово, гордая голова поэта-артиста повисла. «Музыку», идущую от «советского оркестра», он сразу перестал слышать и слушать. И стал сходить с ума. Исчезает возглас: «О, Русь, Жена моя». «Сейчас, пишет он в 1921 году Чуковскому, у меня нет ни души, ни тела, я болен как не был никогда еще; жар не прекращается. Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Этой своей предсмертной фразой Блок превращается, если выражаться его же языком из «Двенадцати», в жалкое состояние «поджавшего хвост паршивого пса». «Артисты» угробили «артиста». Блока, конечно, не жалею. Проповедь катастрофы требовала расплаты. Он хотел, жаждал катастрофы – он ее получил.

Он умер в состоянии тихого умопомешательства. Но был ли Блок, отягченный тяжкой наследственностью, вообще нормален? В его «Дневнике» есть, например, следующая запись под 22 декабря 1911 года:

«Больно, когда падает родная береза в дедовском саду. Но *приятно, сладко,* когда Галилея и Бруно сжигают на костре, когда Сервантес изранен в боях, когда Данте умирает на паперти».

Обращает на себя внимание и запись 5 апреля 1912 года:

«Гибель Titanic'а [парохода – *Н. В.*], вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело».

На какие мысли наводят эти записи, полные садизма?

Блок всю жизнь прославлял «Вечную Женственность». Поэзия его всегда вертелась около какой-нибудь юбки, он воспевал Прекрасную Даму, Белую Деву, Мэри, Фаину, Незнакомку, Снежную Деву, Деву Звездной Пучины, Кармен. В итальянских стихах, смелея, он доходил до мысли, что, в сущности, можно всех обольстить, в том числе и Мадонну, Богоматерь, Святую Марию. Он и обольщает ее, и она «дрожит пред страстной вестью»:

Он идет и шепчет – ближе, ближе,
Уж над ней – шумящих крыл шатер.
И она без сил склоняет ниже
Потемневший, помутневший взор.

В 1910 году «теургическое» обоснование символизма пребывало в зените и – какая насмешка! – именно в этом же году символизм рассыпался в прах, лопнул, разлетелся как пух отцветшего одуванчика. «Умер, умер Великий Пан». Об этом смело было сказано на страницах появившегося нового журнала «Аполлон» С. К. Маковского. Устами Кузмина он крикнул: нужна ясность, долой болтовню, долой мистицизм, долой мифотворчество, разговорчики о теургическом преобразовании мира. И от символизма стали убегать, и среди убегающих в первую очередь тот же Блок, поместивший в «Речи» статейку с призывом возвратиться к старым принципам, к служению обществу и народу и уйти от обслуживания лиловых миров. Изумительный поворот от сих миров (Мочульский этого знать не хотел) был сделан, можно сказать, в один день: с субботы на воскресенье. Но Блок всегда двуличен, всегда лжив, поэтому, прыгая на новую позицию, он уверяет А. Белого (письмо 22 октября 1910 г.):

«... я остаюсь самим собою, тем, что был всегда, т. е. статья *не есть покаяние,* отречение от своей *породы* [...] Это – я сам, неизменный и никогда не противоречивший себе».

А дальше в письме – уже обычная драматическая поза:

«... учел ли Ты то, что я *люблю гибель,* любил ее искони и остался при этой любви? [...] вся история моего внутреннего развития “напророчена” в “Стихах о Прекрасной Даме”. Я *тороплюсь только еще раз* подчеркнуть для Тебя их *вторую* часть, также последующие книги, “Балаганчик”, “Незнакомку” и т. д. Указать, что они *мои:* я могу отрекаться от них как угодно, но не могу не признать их своими».

Гораздо интереснее этого сибиллистического письма другое, к тому же А. Белому в 1911 году:

«*Талантливое* движение, называемое “новым искусством”, кончилось; т. е. маленькие речки, пополнив древнее и вечное русло чем могли, влились в него. Теперь уже есть только хорошее и плохое, искусство и не-искусство».

Сколь решительно покончил Блок не с актерством, а с утверждением мистического символизма, видно из последующих его заявлений, в частности, из такой записи 22 марта 1913 года в «Дневнике»:

«По всему литературному фронту идет очищение атмосферы [...] Люди перестают притворяться, будто “понимают символизм” и будто любят его».

Наконец, в автобиографии, написанной в 1915 году, Блок уже называет символизм, новое искусство «мистическим шарлатанством», а адептов его «толпой любителей легкой мистической наживы». Мельком замечает, что он сам «отдал дань новому кощунственному веянию».

VII
«Я» и «мы». «Форточка»

В конце 1907 г. среди меньшевиков особенно ясно обнаружилось стремление выйти из подполья и перестроить партию, пользуясь всеми возможностями для легальной деятельности. Это была та линия поведения, или настроение, которое позднее, называя «ликвидаторством», свирепо критиковал Ленин, видевший в сохранении подполья необходимое условие самого существования и продолжения заговорщического характера партии. Продолжая быть нелегальным, живя под чужим паспортом, я тем не менее в это время очень ратовал за необходимость возможно скорее выбраться из подполья, идти во все легально организуемые профессиональные союзы, участвовать и развивать все виды кооперации, работать в разных просветительных учреждениях, в отделах городских управлений и земств, появляться, укрепляться всюду, быть полезным, говоря «свое слово». Мои товарищи по партии, не отрицая желательности выхода из подполья, считали однако, что я «палку перегибаю» и, придавая минимальное значение партийной работе, стремлюсь заменить ее только полезной работой на легальном и открытом поприще.

«Вы проповедуете, – возражал мне, например, Ф. А. Череванин, – что в сущности нам нужно превратиться в людей вроде Штольца у Гончарова или Соломина у Тургенева. В таком случае от социал-демократии, как партии, ничего не остается. Она расплывается, вместо нее появляется просто "полезный" в буржуазном смысле человек или делец».

Но почему, спрашивал я, нужно думать, что находясь в подполье, человек сохраняет свой антибуржуазный и социалистический дух, а как только высовывается из подполья, должен его потерять? Важнее всего при всех обстоятельствах

сохранять социалистический дух, а при наличности его и в капиталистической обстановке могут быть социалистические Штольцы и Соломины. В качестве примера я ссылался на Ф. Энгельса, бывшего крупным пайщиком одного большого текстильного предприятия Англии.

Спор с Череваниным, за его отъездом из Москвы, прекратился, но проблема была поставлена и в течение многих месяцев толкала меня на размышление о человеке-социалисте, не об экономических и политических предпосылках социализма, а о квинтэссенции, *самой морально-психологической сути человека-социалиста,* его особой организации души. Для характеристики его, конечно, было бы недостаточно сказать: он должен быть борцом за правду, справедливость, за интересы угнетенных. Сложнейшие проблемы, обнаруженные последними десятилетиями, мне, как и всем в то время, были не только неведомы, но их существование даже и не подозревалось. Поэтому, в согласии с укоренившимися воззрениями и мысля предпосылкой осуществления социалистического строя «социализацию средств и орудий производства», я заключал, что из этого факта логически и естественно вытекает прекращение классовой борьбы, уничтожение разделения общества на классы, социальное равенство. «А с уравнением условий жизни людей, – писал я в 1908 г., – изменится самое отношение их друг к другу. Из конкурирующих и враждующих особей они превратятся в товарищески-дружную солидарную среду; чувство связи людей увеличится, так же как их способность понимать друг друга. Все это вместе с ростом утонченности их психической жизни».

Подобные общие указания, довольно избитые, наличествующие во всех социалистических букварях, меня мало удовлетворяли. Хотелось угадать, более точно определить, более конкретно себе представить душевный облик будущего

человека при социализме, а его предтечей в какой-то степени должен был быть социалист уже в наши дни. И вот тут-то и начиналось то, что Белый назвал в своих мемуарах моими *«безгранными расширениями марксизма на базе эмпириокритицизма»*. Было бы абсурдной тратой бумаги подробно излагать, в чем заключались эти «безгранные расширения». Я дам только кратчайшее представление о них и только потому, что без этого не будет фона для вспышки, которой по поводу «безгранных расширений» так поразил меня А. Белый.

Авенариус – один из основателей эмпириокритицизма – рассматривал человеческий организм как систему жизнесохраняющуюся с подвижным, изменчивым равновесием на почве усвоения и траты энергии. В организме играет наиважнейшую роль центральная нервно-мозговая система (System C у Авенариуса), собирающая изменения, идущие от периферии и к C направляющиеся. Все, что влечет уклонения от равновесия системы C, Авенариус называл «жизнеразностью». Постоянно возникающие жизнеразности образуют жизненные ряды, и человеческая жизнь состоит из таких рядов – из постановки жизнеразностей, разных способов их выведения и возвращения к равновесию, к точке «покоя», всегда нарушаемого. В «Kritik der reinen Erfahrung» Авенариуса, во втором ее томе, мое внимание особенно привлекла глава «System C höherer Ordnung», рассматривающая протекание и устранение жизнеразностей индивидуальных систем в обществе высшего порядка, называемом им «конгрегальной системой» («Kongregalsystem»), совпадавшей в моем представлении с обществом социалистическим. В этой системе каждый член общества поддерживается при наибольшем мыслимом увеличении жизнесохранности наибольшего числа других членов, а сама конгрегальная система – при наибольшем мыслимом увеличении сохранности каждого отдельного ее члена. Это может иметь место не только в результате

уравнения условий жизни, но и при наличии другой существеннейшей причины: уменьшения эгоистических чувств, большего «соощущения» каждым своего ближнего, ослабления, растопления, выветривания весьма чувствительной оболочки, которая, называясь нашим «я», обычно резко противопоставляется другим «я», от них отгораживается забором, а иногда целой стеной. Возможность такого устранения своего «я» не фантазия и не гипотеза. Каждый день, может быть каждую минуту, в разных местах нашей планеты имеют место акты высочайшего альтруистического проявления, спасения чужой жизни (при пожарах, наводнении, гибели в океанах, на горах и во множестве других случаев) с полным в этот момент у спасителей забвением своего эгоистического «я». Лишь ограниченное число подобных актов отмечается в хронике газет, тогда как их следовало бы собирать в Золотую Книгу человечества. Для внушения ему высокой морали актов благородства и красоты, они были бы более полезны, чем разные «катехизисы»[5].

Но эти забвения «я» характерны лишь для какого-то момента, какой-то минуты. Можно ли на этом начале, именно как *постоянном,* построить всю социальную жизнь?

Отсутствие «я» может быть разного рода. Оно характерно для общества, стоящего на низкой и очень низкой ступени развития. Превосходную картину такого общества дал в 70-х годах Глеб Успенский в своих «Мелочах путевых впечатлений», характеризуя деревенскую Русь. Он сравнивал ее со скопищами плывущей по морю воблы: «Ишь сколько ее валит. До Камчатки, до Адесты (Одессы), до Петербурга,

---

[5] Эти строки писались, когда во французских газетах (8 мая 1955 г.) появился отчет о чествовании героев, отличившихся при спасении погибавших в море и океане. Среди них первым в проявлении человеколюбивого геройства был некий Шарль Массон: 80 раз рискуя своею жизнью, он спас 133 жизни.

до Ленкарана все сплошное, одинаковое, точно чеканенное: и поля, и колосья, и земли, и небо и мужики, и бабы, все одно в одно, один в один, с одними сплошными красками, мыслями, костюмами, с одними песнями. Все сплошное: и сплошная природа, и сплошной обыватель, и сплошная нравственность, сплошная правда, сплошная поэзия, словом, однородное племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то коллективной мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной массы единицу – дело невозможное».

«Жутковато и страшновато – добавлял Успенский – жить в этом людском океане». Несомненно жутко. Здесь нет личностей, все одинаковое, сплошная человечина, слепое тесто, где, как мельчайшая крупинка, исчезает отдельный человек. Нет «я» – только «мы». На вопрос «Из какой ты губернии?» мужик прежде отвечал: мы – Рязанские, мы – Тамбовские, или мы – Пензенские. Общественно-экономическое развитие разминает это слепое тесто. Создает огромную дифференциацию, вылепливает личность. Общество становится суммой личностей, суммой «я» с обостренным ощущением своей единичности, ценности, индивидуальности, неповторяемости. Жизнь на этом не останавливается. Скопление грандиозных масс в городах, рост больших предприятий, концентрация труда, все бóльшая однородность образования, быта, множество всяких других фактов и наконец, происходящая социализация средств и орудий производства – *прижимают* людей друг к другу. В «конгрегальной системе» происходит психологическая трансформация личности, ломание, исчезновение перегородок между «я», выветривание «я». Это не возвращение к прежнему слепому тесту, это – новое лицо общества уже на очень высокой ступени социально-культурного развития. «Я» стирается, его постепенно замещают «мы», и в этом случае «мы» не слепая человечина, а нечто

иное, трудно определимое, так как для характеристики будущего психического состояния и организации личности трудно найти нужные выражения. Можно только указать, что высокоразвитое, своеобразное содержание личности, продолжая интенсифицироваться, облечется в форму, которая будет носить *«сверхличный» характер.* Современному индивидуалисту бесконечно трудно принять такой взгляд. Малейшая потеря «я» ощущается им как невыносимое, болезненное ущемление. И потеря «я» была бы действительно мучительна, если бы при тираническом отсутствии свободы явилась следствием насильственного выглаживания горячим утюгом всех индивидуалистических складок души. Но за взрывом и социализацией средств производства обязательно последует (напомню: речь идет о моих взглядах в 1908 г.) по словам Энгельса, «скачок из царства необходимости в царство свободы» и – свободы полной. А под ее небом уход из узкой индивидуалистической скорлупы – не акт навязываемый, а импульс воли, ищущей и создающей новые отношения людей.

Глубочайшая ошибка утверждать, что всякое устранение «я» *всегда* влечет за собою мучительное разложение, распадение высокоразвитой личности. Не предположение о будущем, а факты настоящей, сегодняшней жизни, такое суждение опровергают. Например, при настоящей, глубокой любви двух особей противоположение «я» и «ты» полностью исчезает. *Нет «он», нет «она», только «мы».* «Он» и «она» могут иметь весьма различный душевный склад; тем не менее признание равноценности этого различия, взаимное уважение, цементированное любовью, приводит к полному взаимному пониманию, созвучию душ, душевному *сплаву.* Радости и горести одного переживаются другим как свои собственные, и смерть одного члена такого союза часто приводит к смерти другого. Подобный идеальный брак-союз существует. В художественной литературе он много раз находил свое отражение,

и, кажется, никому в голову не пришло называть вытеснение здесь «я» и замену его «мы» не приобретением, а потерей.

Безличное «мы» появляется и при слиянии человека с природой. Это выход из узких границ личности, переполнение ее сверх края нахлынувшей красотой, гармонией, спокойствием, ритмом природы (поля, леса, река, небо, море, океан). Здесь тоже отсутствует противоположение: я и *она* (природа) есть «мы», полное единение, сопровождающееся огромным чувством наслаждения. Примеры подобного состояния можно во множестве найти в художественной литературе, хотя бы в «Пане» Гамсуна, в «Мужиках» Реймонта, в некоторых романах Лемонье или в стихах М. Гюйо: «В природе все равны, все тайно связаны и в цепь заключены, мы все – ее одной, Вселенной, достоянье».

Такое же погашение «я» имеет место у многих людей при встречах с большим произведением искусства – будь то музыка, по Шопенгауэру снимок мировой воли, или театральное произведение, поэзия, картина, архитектурное создание. Содержание больших произведений искусства как бы *рвет,* раздирает у индивидуума ограниченную оболочку его души, в нее врывается, ее изменяет, в этот момент делает его иным, не тем, что он обычно.

Смиряется и выветривается «я» и пред грандиозным, веками накапливаемым опытом человечества, называемым наукой. У настоящих больших ученых, конечно, неизмеримо более, чем у простых смертных, сознания малости своего «я» в сравнении с сознанием коллектива живых и мертвых людей, создававших науку. Особое чувство потери «я», заменяющегося сложным комплексом благоговения и смирения, мы испытываем в громадных библиотеках, откуда с полок из сотен тысяч книг на нас смотрят мысли множества мертвых и живых.

«Не "я", – настаивает Мах, – а содержание "я" имеет существенное значение. Ошибочно представление о себе, как о неделимой единице. Содержания сознания общего характера ломают перегородки индивидуума и ведут независимо от личности, в которой они развились, жизнь безличную или сверхличную. Содействовать развитию этой жизни – высшее счастье для художника, исследователя, изобретателя, социального реформатора».

В общественно-политической жизни это погашение «я» хорошо известно многим и многим ораторам, трибунам. Когда чувства и мысли, свойственные оратору, проповеднику, передаются слушателям, толпе, коллективу, их заражают и заряжают, образуется своеобразное поле встречных психических токов – от трибуна к толпе, от толпы к трибуну, появляется созвучие этих токов, единение «я» и «толпы», и у трибуна (не демагога) радостно ощущаемый выход из своего узкого «я» в широкий мир коллективной души.

С этими примерами и выкладками я и носился в 1908 г., считая, что глубокое преображение психики будущего человека в «конгрегальной» (социалистической) системе совершится не под сжимающим колпаком «я», а в совершенно новой форме внутренней организации личности, далекой от буржуазного индивидуализма с его отталкиванием от «мы» и категорическим утверждением приоритета независимого «я». Это я и пытался доказывать в моей книге «Философские построения марксизма», откуда многие выписки вставлены в вышеприведенные строки. Но если бы кому-нибудь попалась в руки эта книга, он увидел бы, что трактовка проблемы об устранении «я» в книге на стр. 251 бессмысленно, типографски неожиданно, обрывается, а за нею на следующей странице стоит заголовок «Об эмпириомонизме Богданова». Объясняется обрыв тем, что несколько страниц моего текста с примерами именно «выветривания» «я» были

типографией Саблина или утеряны, или набраны, но по оплошности в книгу при ее верстке не попали. Об этом я узнал, когда книга уже вышла из печати. Особой досады я от этого не испытал, отнесся к этому равнодушно, так как вследствие нажима издателя, как я уже сказал, весь характер книги моей был изменен, и она стала для меня в значительной степени чуждой. Но в 1910 г., будучи уже в Киеве, я снова взялся за тему о «выветривании» «я» и в «Киевской Мысли» поместил об этом большую статью, целый «подвал». Ее появление вызвало очень меня удививший визит в редакцию двух студентов местной Духовной Академии. Указав, что моя статья заинтересовала студентов Академии, они обратились ко мне с просьбой прочитать доклад именно о новой организации психической жизни личности без дирижирования и давления на нее узкого и эгоистического «я». Так как перед этим я самым глупейшим образом был на три дня арестован местной охранкой и знал, что за мною следят, я ответил студентам, что избегаю сейчас делать какие-либо подпольные доклады. «Но мы вас и не просим делать какой-то конспиративный доклад, он будет открытым и вполне дозволенным нашим начальством» («преосвященным» таким-то). Должен признаться, что аппробация доклада начальством Духовной Академии, а значит в какой-то степени и мыслей моей статьи, меня тогда смутила. Я видел здесь недоразумение: ведь из моей статьи ни в коем случае не следовало, что «блаженны нищие духом», что «ударившему тебя по щеке подставь другую» и «любите врагов ваших». Считая, что мой доклад лишь подчеркнет это недоразумение, я прочесть его отказался. Но в тот день больше, чем когда-либо, думал о Белом, об ужасе, с каким этот проповедник «вселенской любви» отнесся к тому, что заинтересовало студентов Духовной Академии. Что его ужаснуло?

В 1907 г. и в первой половине 1908 г. Белого весьма занимала проблема отношения между личностью и коллективом, между «я», «мы» и «они». Он писал, что «личность гниет», что индивидуальное «я» должно быть расширено, но «расширяемость» его возможна лишь «когда "я" в коллективе»[6]. В другой статье он писал, что, «хотя индивидуализм надо преодолеть», но у нас разочарование в «самоновейших формах» коллективистического его преодолевания. А в третьей статье уже категорически заявлял, что «индивидуализм – цитадель, которую не следует преодолевать». Было видно, что проблема его жжет: он то ухватывался за нее, то отпихивал ее, приближался к ней с одним решением, уходил с другим. И так как именно в это время я – по причинам и в обстановке уже выше очерченным – тоже уперся в проблему «я» и «мы», индивидуализма и коллективности, разговоры на эту тему с А. Белым у нас происходили неоднократно. Моментами казалось, что мы приходим в этом вопросе к согласию, однако дня через два обнаруживалось, что оно далеко не полное, а потом произошел «взрыв», и от моих доводов, примеров, выкладок Белый отшатнулся с такой силой, что эта сцена со всеми ее деталями осталась у меня в памяти прибитой гвоздями.

---

[6] Бывали моменты, когда в мистически настроенный мозг Белого врывалась физика, физиология, биология, все, чему он учился в университете. Он был естественником. В такие моменты он весьма прислушивался к моей «пропаганде» биомеханики Авенариуса, его теории жизнеразностей, жизненных рядов, конгрегальной системы и пр. Замечая это, я, говоря с ним, и *налегал* на «конгрегальную систему». Белый однажды даже взял у меня «Критику чистого опыта» Авенариуса, но его познания в немецком языке оказались недостаточными, чтобы одолеть тяжкий язык Авенариуса, и книгу его он не стал читать. Возвращая ее, он, однако, сделал какое-то абсолютно ему несвойственное «биомеханическое» определение культуры: «Это – деятельность, обеспечивающая сохранение и рост жизненных сил личности и расы»!

В этот день, уснащая мои мысли разными примерами, понимая, конечно, «конгрегальную систему» Авенариуса и все прочее, о чем говорилось выше, я старался убедить Белого, что, раз он принимает социализм, то должен перестать колебаться в вопросе об индивидуализме, согласиться с моей теорией о «я» *и* «мы» и, главное, не видеть в ней чего-то, калечащего личность...

Белый сидел, слушал и молчал, и вдруг поднял руку, остановил мое разглагольствование, подбежал к двери, открыл ее, заглянул направо и налево, как бы желая проверить, не слушает ли нас кто-нибудь, кинулся ко мне, нагнулся и в ухо прошептал: «*Форточку не забудьте!*»

«Какую форточку?»

«"Форточку" в конгрегальной системе, в социалистическом обществе. Ведь это же ужас! Табуном – устранение жизнеразностей! Все прижаты друг к другу. Никаких перегородок. От такой духовной тесноты дышать невозможно. Если нельзя иметь большую форточку, просверлите, оставьте хотя-бы *малюсенькую дырочку*, чтобы из нее свежий воздух приходил. Ужас! Ни одной личности, только "мы" мычат, какие-то страшные майн-ридовские всадники без головы. Без головы или без личности, без ядра "я" – это одно и то же. Табуны! Никогда и нигде табуны в истории ничего не творили».

Встав посредине комнаты, закрыв глаза руками, Белый продолжал:

«О, я вижу ясно это конгрегальное общество. Ночь, над всем отвратителный серо-желтоватый мутный свет. Вижу дортуары, тысячи, сотни тысяч, миллионы кроватей, ряд за рядом уходят куда-то в бесконечность. На кроватях спят "мы". У всех одного и того же серого цвета одеяло. Одинакового цвета ночные туфли, одного и того же вида столик у кровати, у всех одинаковые сновидения. Чудовищная машина наделала миллоны одинаковых кукол и вложила в них

подобие души. Мне страшно быть среди них, ведь это же не люди! Я задыхаюсь от дыхания этих миллионов кукол. Я не могу быть среди них. Я вскакиваю с моей кровати и вот так крадусь к стене, к форточке. Форточка с решеткой высоко в стене. Я прыгаю, падаю, опять прыгаю, падаю, хватаюсь за решетку, срываюсь, раню руки, и все-таки удается окровавленной рукой держаться за решетку, прислонить к форточке мое лицо. Оттуда идет свежий воздух. Какое счастье! Вижу ласковую луну, свет ее стелется по реке, серебрит верхушки деревьев. Там нет мертвых, страшных серо-желтых дортуаров, нет миллионов кукол, похожих на людей. Заявляю: среди "мы" я не буду. В дортуары на кровать, под соответствующим номером мне отведенную, не пойду. У форточки, держась за решетку, буду висеть, пока не свалюсь мертвым. Умру, если они захотят меня отсюда оторвать. В дортуары они понесут только мое бездыханное тело. *Мое "я" они в плен не возьмут».*

После такого залпа Белый бросается на стул. Руки его повисают, у него вид умирающего Пьеро.

Сцена эта произвела на меня тяжелое впечатление. Всю мою теорию он истерически отбрыкнул ногой. Ангел «Мадиэль» обнаружил столь невыносимый, терпкий индивидуализм, что меня передернуло. После некоторого молчания говорю:

«Вы потчивали меня "громадными" словами о вселенской любви и благовествующем христианстве; вы доказывали, что конечной, самой большой идеальной целью преобразованного общества может быть только это, в сущности евангельское – *любите ближнего как самого себя*; вы говорили и даже писали, что, идя в этом направлении, нужно всем встать под знамя социализма. По тому, как вы отнеслись к моей теории, неизмеримо более скромной, просто маленькой, в сравнении с проповедью вселенской любви, заключаю, что социализм

вам чужд, даже ненавистен. У Уитмана есть стихотворение: "Моя голова превыше всех библий, вер и церквей". В этом роде что-то сидит и в вас. Ницше вас отравил ненавистью к "мы" и самой крайней степенью индивидуализма».

Ответ Белого был бесподобен: «*То, что я сказал, это наш секрет. Это по секрету – вам одному.* Социализм и Маркса критиковать никогда не буду. А Ницше не трогайте: он острее всей культуры».

Наш разговор происходил, если не ошибаюсь, весной 1908 г. В конце года Белый «секрета» уже не держал: от социализма явно отпихивался и отпихнулся совсем. В первой редакции романа «Петербург» (1911 г.) устами одного теософа он заявил, что «в социализме чаяние светлого воскресенья человечества переходит в сладострастную жажду крови, чужой, своей собственной (все равно)». В эпоху тех наших встреч, когда, по словам Белого, я «будоражил» его вопросами, связанными с марксизмом, Белый «уважал Маркса и его теорию взрыва». Позднее все уважение исчезло. В марксизме он стал видеть подозрительную в своей основе «деляческую» теорию. В «Записках Мечтателя» в 1921 г., когда интеллигенты могли еще «брыкаться», Белый писал:

«Социальный вопрос занимал меня многое множество раз: деловито, отчетливо, сухо ... цифрами уличались банкиры, дельцы. Маркс есть автор теории экономических кризисов. Так поучительно, так деловито, что мне становилось порою и жутко: в ученых борцах с капитализмом и с прочим "делячеством" начинало сквозить столь гигантское погружение в душу дельца, что не верилось мне, чтобы можно было с "дельцами" бороться не их же оружием; психологией банкира, дельца искони отгоняли марксисты (я сам одно время чуть не попал "во марксисты"); они деловитее прочих, но банком мне веет от их борьбы с банками! Так я покончил знакомство мое с литературой по социальным вопросам».

Речь Белого о «форточке» не должна была бы быть для меня неожиданной, если бы в то время я его лучше знал. Человека, начиненного таким болезненно заостренным индивидуализмом, как он, я в жизни моей больше не встречал. Мысль о своем «я», о всех из него прыгающих состояниях, мельчайших их оттенках, никогда не оставляла Белого. Вечная дума о себе привела его даже к вопросу: «А каким я был, когда существовал в утробе матери»? И в «Котике Летаеве» он совершенно серьезно, веря в то, что говорит, описывает свое внутриутробное состояние:

> ... какое-то набухание в никуда и ничто, которое все равно не осилить... боль сидения в органах; ощущения были ужасны; и – беспредметны; ... не было разделения на «Я» и «не-Я», не было ни пространства, ни времени; ... в месте тела же ощущался громадный провал ...
>
> ... я одной головой еще в мире: ногами – в утробе; утроба связала мне ноги: и ощущаю себя – змееногим; и мысли мои – змееногие мифы.

При проникавшем его существо индивидуализме для Белого просто ужасна была даже отдаленная мысль, что его «я» может как-то раствориться в «мы» и слиться с ним. В «Петербурге» Дудкин (в данном случае за ним, конечно, стоит Белый) иронически замечает: «Говорят, что я *не есмь* я, *а какое-то мы»*. Белый с отвращением отбрасывает скрытую в этой фразе проблему, высказывая при этом совершенно те же чувства, что обнаружил в споре со мною, когда говорил о «форточке», о мычащих «мы» и табунах. В его «Петербурге» «мы» – те же отвратительные «табуны», «мы» – толпа, а она «бутербродное поле», «общее тело», «многоногое существо», «гуща, переползающая и шаркающая на протекающих ножках». «Ползучая многоножка ужасна: по Невскому она пробегает столетия ... периодам времени положен предел. Нет предела людской многоножке; все звенья меняются,

она – та же вся ... По Невскому шаркают членистоногие звенья. Совсем *сколопендра!*» К «мы», к толпе здесь проявляется ненависть, нет даже намека на миллиграмм какого-то демократического чувства. Безграничное мистическое самоутверждение, с сведением всего самого важного в мире только к своему «я», привело Белого, в бытность его за границей, к душевной болезни. Блок, что не помешало ему самому окончить жизнь сумасшествием, одним из первых трезво заметил, что с Белым что-то неладное. В дневнике 20 января 1913 г. Блок писал: «В Боре в высшей степени усилилось самое плохое (вроде: "я не знаю, кто я"... "я, я, я,... а там упала береза")». Признаки душевного растройства появились у Белого в 1912 г. в Бергене, где впервые он увидел антропософа Штейнера. В «Записках чудака» Белый указывает, что в Бергене он «был выхвачен из обычного тела». Это – начало резкого помутнения сознания, а в Лейпциге посещение могилы Ницше сопровождается у Белого такими потрясающими переживаниями, что заболевший мозг его не выдерживает и явно безумеет. У могилы сошедшего с ума Ницше Белый тоже делается сумасшедшим.

«Когда относил я цветы на могилу его и припал, лобзая холодные камни, почувствовал явственно: конус истории от меня отвалился; я стал Ecce Homo; но тут же почувствовал: невероятное Солнце в меня опускалось; я мог сказать в этот миг, что я свет всему миру; я знал, что не "Я" в себе свет, но Христос во мне свет всему миру. Впервые во мне во весь рост над историей встал человек в то мгновение. Переживания на могиле у Ницше во мне отразились приступами невероятной болезни».

В Дорнахе, около Базеля, куда Белый и А. А. Тургенева перебрались в 1914 г., он несколько недель лежал как труп, «сожженный ниспадавшим огнем». «Тьма поглотила меня. Я теперь стал слепым». В 1914–1916 гг. он находится

под подавляющим влиянием своего «великого» учителя Р. Штейнера, пророка, знающего «тайны последних судеб и последних культур». Под его руководством Белый, вместе с людьми других национальностей, строит храм – «Иоанново здание». В числе строителей – его новый друг, немец Христиан Моргенштерн, которому Белый посвящает следующие строки:

От Ничше – ты, от Соловьева – я,
Мы в Штейнере перекрестились оба.

«Путь меня вел от Соловьева к Иоаннову зданию», и Купол его «стал для меня символом: купола феоретических путешествий моих, оплотнения мыслелетов, слагающих здание новой культуры».

Что такое Иоанново здание, в чем суть покорившей Белого книги Штейнера «Пути просвещения», лекция которого «Христос и наш век» в Кельне привела Белого на послушание к Штейнеру в Дорнах, я знаю очень смутно, но углубляться в это не имею охоты. Мне важно, следя за «Записками чудака» Белого, установить, что после своего потрясения в 1914 г. он душевно не выздоровел. В течение 1915 и 1916 г. накаленный философией Ницше индивидуализм Белого доводит его «я» до mania grandiosa.

Мне чудились голоса голосящих громов из пространства души ... Мне казалось в первую осень войны: это я ее вызвал; во мне начиналась она. Непримиримый сознательный бой с двойниками моими кипел уже в июне. Ангел во мне, борясь с чортом, в борьбе чертенел... Так *взрывы, во мне стали взрывами мира:* война расползлась из меня – вокруг меня.

Голод, болезни, война, голоса революции – последствия странных поступков моих; все, что жило во мне, разорвавши меня, разлетелось по миру. Катастрофа Европы и взрыв моей личности – то же событие: можно сказать: «Я» – война; и обратно: меня породила война; я – прообраз: во мне – нечто странное: храм, чело Века...

Есть в оккультном развитии – потрясающий миг, когда «я» сознает себя господином мира, сходит по красным ступеням, даруя себя в нем кишащему миру. Соединение с космосом совершалось во мне: мысли мира сгустились до плеч; лишь до плеч «я» свой собственный; с плеч поднимается купол небесный. Я, собственный череп сняв с плеч, поднимаю как скипетр рукою моею.

Мания величия связывается с манией преследования. Он страшится оккультных врагов, его подстерегающих и желающих уничтожить.

Мне ясно – они знают все: *они знают все,* они знают, что я есмь не я, а носитель огромного «я», начиненного кризисом мира; я – бомба, летящая разорваться на части и, разрываясь, вокруг разорвать все, что есть... В могиле, на родине, в русской земле, мое тело как бомба взорвет все, что есть, и огромною атмосферою дыма поднимется над городами России.

Никакого сомнения: это говорит сумасшедший. «Записки чудака», откуда привожу цитаты, писаны Белым в 1921 г. в Москве, к ним позднее он прибавил послесловие и в нем открыто, без стеснения признал, что был «психически ненормален» с «явной» mania grandiosa. Но, добавляет он, «"Записки" – единственная [sic!] правдивая моя книга, она повествует о страшной болезни, которой был болен я с 1913 по 1916 г. Я прошел сквозь болезнь, упали в безумии Фридрих Ничше, великолепнейший Шуман и Гельдерлин. Я остался здоров, сбросив шкуру с себя, и возрождаюсь к здоровью. Сквозь отвращение к "книге", люблю я "Записки", как правду о болезни моей, от которой свободен я ныне».

«В "Записках чудака" – пишет Мочульский – столько сумбура, бреда, крика и безумия, столько раздражающей претенциозности и мучительных вывертов, что разобраться в них не легко. До сих пор критика обходила эту книгу неловким молчанием, как произведение явно патологическое». Конечно, «Записки» писались не в состоянии душевного здоровья,

но значение их в том, что они несомненно правдиво описали, чем был охвачен мозг Белого в 1913–1916 гг. – годы полного безумия. Мочульскому, как всем другим, лично не знавшим А. Белого, разобраться в «Записках» более чем трудно. Но я-то, прочитав их, немедленно увидел, что зерна, признаки того, что предстало в синтетической форме полным душевным расстройством, уже замечались у Белого в годы моих с ним встреч. Уже тогда была тяга к апокалиптическим видениям, желание пророчества и ощущение себя пророком, теургом, некая мания преследования, постоянные разговоры о «взрыве», болезненная чувствительность к малейшей критике его особы, ницшеански-анархический ужас, что между «я» и «мы» могут пасть перегородки. И всегда и во всем только «я», «я», «я». Белый утверждает, что он возродился к здоровью. Это далеко не так. Нельзя сказать, что в Берлине в 1922–1923 гг. он был в состоянии душевного здоровья, но патологическое состояние этого времени, как то явствует из описания встречавшегося с ним в Берлине Ходасевича, носит не дорнахский, не антропософический характер, а иной. Штейнера в это время Белый уже ненавидел.

VIII
Европеизм и русские поля

Я не часто бывал у Белого. Гораздо чаще он «залетал» ко мне. За два года встреч с ним – в 1907–1908 гг. – я был у него не более пяти раз, и два моих визита больше всего запомнились. Один, когда у него был Гершензон, с которым произошла моя ссора, и второй, о котором расскажу сейчас.

Белый не ждал меня и встретил с особенным радушием: «Очень рад, что вы пришли. Сижу одинокий, скучаю, у нас никого нет, прислуга тоже ушла. Хотите чаю? Я умею самовар поставить. Пойдемте в кухню».

И мы туда пошли. Белый налил в самовар воды и, присев на корточки, стал топориком разрубать щепки для разжигания угля. Раз «хозяин» на корточках, мне показалось неловким стоять, и я тоже присел около него.

«А вы не так сидите. Нужно опираться не на всю ступню, а только на цыпочки. Вот так».

«А зачем это нужно? Так менее удобно».

«Это эксперимент. Когда вы на цыпочках, тогда, удерживая равновесие, нужно на это направлять какую-то часть духовной энергии; вы ее заимствуете из вашего духовного корпуса, из имеющегося у вас духовного запаса. От этого связь входящих в него элементов изменяется, и интересно следить, как это в вашем сознании отражается. Изменения в сознании, иногда выражаемые менее чем одной миллионной частью какого-то измерителя, столь ничтожны, что люди говорят: ничто не изменилось, сижу ли я на корточках или не сижу, все одинако. Уверяю вас, это неверно. Это происходит от того, что люди не умеют разбираться в состояниях своей психики. Я писал некоторые вещи верхом на лошади и убежден, что никогда их не написал бы не в этом положении. Иногда я пишу, ложась среди моей комнаты на пол, животом

вниз или на левый бок, где сердце, а это совсем не то, как если бы сидел с пером в руке на стуле у стола. В этом положении приходят другие слова, какие-то оттенки слов, – значит, и оттенки мыслей. Или беру зеркало и наблюдаю в нем отражение луны. Рождающееся впечатление отлично от того, что получается, если прямо глядеть на луну. Мне как-то попалась в руки обшитая кружевами дамская черная маска. Я несколько дней надевал ее и смотрел на себя в зеркало; получалось два человека: я и еще кто-то, будто я и не я. Это раздвоение очень интересно».

«Для чего вам нужны эти эксперименты?»

«Как для чего? Чтобы выходить из границ обычных состояний нашего сознания, их расширять, лучше постигать наш внутренний мир, и мой, и других людей. Ведь в этом мире множество всяких шепотов, нюансов, шорохов, образов, неожиданностей и неизвестностей. Мы, символисты, их знаем или хотим знать, а вот всякие Потапенки, Тургеневы или сборники "Знания" ничего не знают и не хотят знать. Если о человеческой душе, со всеми ее мистическими и религиозными переживаниями, судить по тому, что дают бытовики-писатели из "Знания" – большого знания приобрести нельзя».

За этим последовала большая невнятица, редко отсутствовавшая у Белого в моменты, когда, отдаваясь какой-нибудь мысли, он начинал усложнять всякими дополнениями и прыжками в сторону свои импровизации. Самовар был, конечно, забыт, щепки для него перестали рубиться, мы сидели на корточках, и я тщетно старался вникнуть в то, с чем галопировал Белый.

И вдруг почувствовал: что-то колет в затылок. Так бывает не только со мною. Вы сидите, например, в театре, в партере и непонятным образом начинаете испытывать откуда-то идущие «приказы» повернуть голову, оглянуться назад; делаете это два-три раза и наконец замечаете – вон там вверху,

во втором ярусе, сидит ваш знакомый, смотрит на вас и непременно хочет, чтобы вы его увидели. При условиях нам неизвестных (и потому кажущихся «таинственными») эти, иногда совершающиеся, передачи мыслей на расстоянии, эти электрические токи мозга, подобные радиопередачам, являются неоспоримым фактом. Поэтому мы почти одновременно – я сначала, Белый вслед за мною – повернули голову. В полуоткрытой двери, смотря на нас, стояла его мать. Часть нашего разговора «на корточках» она несомненно слышала и зло, с кривой усмешкой, проронила:

«Я думала: здесь один сумасшедший, оказалось двое».

Хлопнула дверью и ушла.

Мне было только смешно, наименование сумасшедшим ко мне не прилипало, но Белый растерялся.

«Я не знал, что мама пришла, у нее очевидно плохое настроение духа. Пойдемте в мою комнату».

Чаю попить с Белым так и не пришлось, самовар был окончательно забыт, а скоро забыто и замечание матери. Белый снова вернулся к неоконченному разговору, стал говорить о расширении границ сознания, – между прочим, о том, что предметы могут «захлестывать» сознание и, наоборот, сознание может «захлестывать» предметы. В качестве примера последнего явления он ссылался на своего отца. Отдаваясь какому-нибудь сложному математическому вычислению, его отец, выходя на улицу, не обращал внимания на людей и на предметы. Для него они переставали существовать. Он превращался в солипсиста. Обратное явление – захлестывание сознания предметами – Белый видит у подавляющего большинства жителей городов, что делает большие города мучителями людей. На улицах впиваются восприятия от массы движения, шума, людей, трамваев, извозчиков, массы предметов – зданий всяческих, церквей. «Это придавливает

сознание людей, оно съеживается, теряется, в нем исчезает собранность, заменяясь мутью, расплывчатостью[7]».

Я указал Белому, что «подавления сознания предметами не происходит, если предметы знакомы, привычны, не порождают в нас чувства удивления, неожиданности, страха или какого-нибудь иного, особо напряженного чувства. Если этого нет, то, идя по самым оживленным улицам, встречаясь с интересными предметами, можно глядеть на них, целостно их воспринимать и вместе с тем в то же время думать не бессвязными клочками, а в формах некоторой связной апперцепирующей эти предметы, даже сложной, концепции. Именно это происходило со мной, когда я шел к вам».

«Если это не секрет, – спрашивает Белый, – то очень прошу подробно мне рассказать, на что вы больше всего глядели, идя ко мне, о чем думали? Думали-ли вы обо мне или думали совсем о другом?»

«Собираясь к вам, конечно, думал о вас. Если бы не думал, сюда бы не пришел. Думал о вас и тогда, когда приближался к вашему дому, но между этими двумя моментами думал совсем о другом. О чем? Именно потому,

---

[7] Кстати сказать, превосходную иллюстрацию мысли Белого о «захлестывании» сознания предметами и «захлестывании» предметов сознанием я нашел у Ходасевича в его «Некрополе». Он рассказывает, что ему часто приходилось ходить по Москве с Гершензоном. «Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, – но дурею; кажется, во всю жизнь ни одной *путной* мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улице – тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, – а я ничего не понимаю и отвечаю невпопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика – с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону противоположную той, куда мы направляемся».

что в этом нет никакого секрета (если бы он был, болтать не стал бы), я все расскажу[8].

«Я живу, как вам прекрасно известно, на углу Крапивенского переулка и Петровки. В Крапивенском есть церковь, какое-то греческое подворье, оно недалеко от меня, но я никогда туда не заглядывал. Другое дело – Высокопетровский монастырь против окон моей комнаты, с воротами-входом с Петровки. В церковь его я также никогда не заглядывал, но там во дворе не раз смотрел на пожелтелые, точно покрытые ржавчиной, каменные саркофаги. Это гроба семьи Нарышкиных, среди них гроб матери Петра Великого, ну, а Петр – если сказать одной фразой – это незабываемое пробитое окно в Европу. И вот, идя к вам, проходя мимо Высокопетровского монастыря с его саркофагами, немедленно перенесся мыслью от Петровки к Мясницкой улице. За нею Армянский переулок, где во дворе церкви Николая Чудотворца у самой улицы перед глазами встает (в первый раз когда увидел, он ударил своею неожиданностью!) странный мавзолей с дорическими колоннами над гробом "болярина Артамона Сергеевича Матвеева". Поставлен мавзолей, кажется, в 1823 г. Я туда часто заходил, и перелет мыслью к Матвееву от саркофагов Нарышкиных вполне понятен. Мать Петра Великого – его воспитанница, а сам он один из наших первых, еще до Петра, европейцев. Им я стал интересоваться еще в студенческие годы, когда под влиянием марксизма начал выискивать в русской истории движение ее людей в сторону Европы. Матвеев – поклонник всего "немецкого" – будучи другом царя Алексея Михайловича, старался привить ему знакомство с европейским бытом, организовал труппу

---

[8] Если у этой рукописи будут когда-нибудь читатели – убедительная просьба иметь в виду, что все, что я говорю, относится к 1908 г., к строю моих тогдашних убеждений.

актеров, развлекал царя “по немецкому образцу” театральными представлениями. В темной азиатской Москве они считались дьявольским соблазном, великим грехом. При царе Федоре Матвеев поддерживал Нарышкиных, настаивал, что царствовать потом надо Петру, а не Ивану, брату царя Федора. Оклеветанный в сношении с “злым духом”, объявленный еретиком, Матвеев был сослан на север в Пустозерский монастырь. После смерти Федора его вызвали в Москву, но прожил он в ней только три дня. Тогдашняя черная сотня – взбунтовавшиеся стрельцы – на глазах царской семьи 15 мая 1682 г. зверски убила нашего первого европейца.

«Покидая Петровку, выхожу на Страстной бульвар. Передо мною Екатерининская больница, бывший дворец князей Гагариных, с чудесной колоннадой. Обожаю колонны. Какой-то Тургеневский герой ходил ночью в сад обнимать липу, а я могу и днем, не стыдясь никого, обнимать стройную колонну. Юным варваром, попав из темного захолустья в Петербург держать вступительные экзамены в Технологический Институт, я, увидев здание Адмиралтейства с его симфонией колонн, от восторга оцепенел и с тех пор в них влюблен. Но в колонне тоже европеизм, ее родословная и от боярина Матвеева, и от Петра. Она к нам залетела из греко-римского мира. Задвинутые татарщиной и огрубленной византийщиной, мы его не знали. Занесенная к нам с XVIII века, колонна архитектурно аккомпанирует, пусть не глубокой, поверхностной, но все-таки идущей европеизации жизни. Красоту архитектуры предыдущего периода, этих церквей XVII века с их петушиными гребешками, кокошниками и прочими русскими эмблемами – не чувствую (напоминаю: речь идет о 1907 г.), они переносят в Московию XVI–XVII вв., а от нее у меня содрогание.

«От Екатерининской больницы попадаю в проезд Страстного бульвара. В доме на углу этого проезда и Малой Дмитровки мы с женой жили до отъезда ее с оперой в Тифлис, снимали большую комнату у портнихи Тарусовой. От нашего дома до стен монастыря не более десяти шагов, и всю ночь не давали нам спать звонкое цокание копыт, грохот экипажей, тяжелый гул ломовиков в этом узком проезде. Хотелось поскорее уехать из этого места, тем более, что весь Страстной монастырь, стоящий как некий символ в самом центре Москвы, был мне глубоко чужд. Из окон нашего дома были видны только его стены, и они загораживали весь горизонт. За четыре года жизни в Москве никогда в нем не был, никогда не испытывал желания в него войти. Мне кажется, что, за исключением очень немногих, монастыри у нас не были строителями культуры, как в Европе. Те монастыри, которые я хорошо знаю в Тамбовской губернии, производят отталкивающее впечатление рассадников паразитизма, обмана, грубейших суеверий. Из взятого турками Константинополя люди, бежавшие в Европу, приносили духовный материал для разжигания огня эпохи Возрождения, а к нам оттуда прибегали с приносом волоса из бороды Иоанна Златоуста или частицей ребра Иоанна Предтечи. На Западе рождались в это время Леонардо да Винчи, Шекспир, Сервантес, а у нас во множестве фабриковались лишь фетиши и разжигалась вера в самую дикую магию. Мне недавно попался в руки путеводитель по Москве Захарова, изданный в 1870 г. Он с величайшей гордостью сообщает, что в Москве насчитывается 83 чудотворных иконы, и в ее церквях и монастырях хранится свыше 500 частиц чудотворных мощей. Москва – город мощей, и да будет вам известно, если этого не знаете, что в Москве есть частица мощей Иоанна Предтечи, святого Марка, Марии Магдалины, Василия Великого, Григория Богослова.

Почитаются не только они, но и мощи Василия Блаженного и Иоанна Блаженного. Сии блаженные были юродивыми, почти идиотами, а на святой Руси превращались в святых, в чудотворцев, в примеры подражания. Эта помесь магии с византийщиной возбуждает у меня ужас. В реальном училище, где я учился, закон Божий преподавал священник Иоанн Иловайский. Малым мальчуганом я наивно, без какого-либо умысла спросил его: "Батюшка, вот есть чин архиепископа и чин епископа, есть архимандрит, но почему никогда не говорят о мандритах?" Поп в ярость пришел, выгнал меня из класса, стал меня преследовать, в особенности в старших классах, и настойчиво твердить: ты в Бога не веришь, ты насмешничаешь, у тебя в голове дьявол. Сначала в Бога я крепко верил, моя мама была крайне набожная, в церковь меня водила, но такой священнослужитель как Иловайский, с его придирками, требованиями самой бессмысленной зубрежки катехизиса и постоянным упреком, что я "заражен дьяволом", эту веру помог потерять.

«Продолжая мою прогулку, ухожу от Страстного и всех прочих монастырей. Прямо против монастыря памятник Пушкину и, стоит только подойти к нему, как темное настроение исчезает. Пушкин мил с раннего детства, с того времени как заучивалось:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.

«Всей душой чту Пушкина, вижу в нем самого большого среди русских писателей европейца (второй – вами презираемый Тургенев!). В "Трех разговорах" Вл. Соловьева у изображенного там Политика есть мысль, вполне мною разделяемая. Мир должен быть и будет охвачен единой

культурой, а таковой может быть только культура западная, европейская, с тем характером, который ей в будущем придаст побеждающий во всем мире социализм. Сохраняя и развивая некоторые свои национальные черты и качества, каждый народ должен вложиться в лоно европейской культуры и тем самым создать мировой букет европеизированных наций, европейцев-французов, европейцев-англичан, европейцев-немцев, итальянцев и прочих и прочих, в том числе, *русских европейцев.* Пушкин – великолепный образец русского европейца. Достоевский, хотя он-то совсем уж не европеец, в своей знаменитой речи правильно указал на поразительную способность Пушкина глубоко вживаться в душу всех народов, их понимать, лучшее от них заимствовать. По-моему, это есть и должно быть характернейшей чертой русского европейца. Не только в этом достоинство Пушкина; он обольщает своим громадным свободомыслящим умом и изумительным, присущим ему чувством меры, гармонии. В нем воплощение начала Аполлона. Когда, пройдя Тверской бульвар, видишь церковь Вознесения, где Пушкин венчался с Гончаровой, и вспоминаешь, что из-за этой ничтожной бабы он погиб от руки такой дряни как Дантес, хочется ругаться самыми сквернейшими русскими словами. Сколько бы нам дал Пушкин, проживи он хотя бы еще 20 лет!

«Но я вступаю на Никитский бульвар и иду мимо дома с мемориальной доской: здесь жил и скончался Гоголь. Вот уж поистине черная противоположность светлому Пушкину. Как бы мы ни ценили его "Мертвые души", нельзя забыть отвратительную книгу "Выбранные места из переписки с друзьями", в ней до конца выговариваются идеи, инспирировавшие "Мертвые души" и все помыслы его последних лет. Эта книга пышет черносотенным, "стрелецким" антиевропеизмом, тупым ультранационализмом и реакцией. Гоголь желал превратить всю Россию в деспотически организованный

и управляемый монастырь. Для него церковь и духовенство – орудия управления крестьянством, которому нужно разными способами вбивать мысль беспрекословно подчиняться помещикам, как власти, данной Богом. Отвратительны его советы не учить мужика грамоте, так как, одолев ее, он начнет читать "пустые книжки европейских человеколюбцев". Отвратительно вообще его презрение к Европе, его убеждение, что там нам, русским, нечему учиться, так как, мол, не пройдет и десятка лет и Европа приедет к нам "не за покупкой пеньки и сала, а за покупкой мудрости, которую не продают больше на европейских рынках". Многие страницы из "Переписки с друзьями" без краски стыда читать невозможно. Стыд тем больше, что это пишет "наш великий писатель". От "великого" тут уже ничего не остается; то, что он говорит, мог свободно изрекать поп Иловайский, выгнавший меня за "мандрита" из класса. Поскорее ухожу от Гоголя, но иду к вам не по Арбату, а через Пречистенский бульвар, где, досыта налюбовавшись красавицей-колоннадой дома Удельного Ведомства, выхожу в Сивцев Вражек. Для меня он интереснее, чем Арбат; здесь, не доходя до вас, с левой стороны – Б. Власьевский переулок, с домом Яковлева, отца Герцена. А Герцена люблю, нет у нас ему равного публициста; впрочем, тут же добавлю, что люблю его больше всего как "московского" Герцена, самого яркого представителя тогдашних западников, а не Герцена за границей, изменением своих убеждений склонившегося в сторону *антизападничества,* в сторону славянофильства, – значит, в какой-то степени и к Гоголю последних лет.

«Я сказал все главное, о чем думал, идя к вам. Вы видите – предметы не захлестывали моего сознания, думы свободно шли параллельно видимым в пути предметам, и в думах была одна явная центральная идея – *европеизм.* Почему именно сейчас эта идея доминирует у меня над другими? Революция,

начатая в 1905 г., кончилась. Что будет дальше – не знаю, вы говорите: приближается новый взрыв, вы его чувствуете, я не чувствую. Но я убежден, что для России не должно быть другого пути кроме европеизации, продолжения линии, незаметными штрихами намеченной еще в XVII веке. Стремление к европеизации, толкавшееся сначала бояриным Матвеевым, царем Петром, потом декабристами, дворянами, разночинцами, лучшими представителями буржуазии – теперь должно стать аспирацией сознательной части рабочего класса России. Теперь встает задача окончательно вывести страну из монастыря Гоголя, укрепить понятие о правах человека, личности, новые понятия о труде, снабдить нас европейскими учреждениями, европеизировать весь наш косный быт...»

А. Белый, слушавший меня очень внимательно, сначала спокойно, стал меняться: вскакивал со стула, отирал платком вспотевший лоб, садился, снова вскакивал, ходил по комнате. Было видно: мой рассказ ему сильно не по душе. И как только я кончил говорить, полился в ответ поток слов, показывавший, что, если бы он шел тем же путем, что и я, и видел те же предметы, его мысли о них были бы совершенно иные. Что я услышал от Белого?

* * *

Белый заявил, что «болярином Матвеевым» никогда не интересовался. Теперь после моего указания, любопытства ради, посмотрит на воздвигнутый ему мавзолей в Армянском переулке, но Матвеев вряд ли когда-нибудь войдет в круг интересующих его лиц. По той же самой причине не войдет в этот круг и «московский» Герцен, хотя с сочинениями его он мало знаком. Может только сообщить, но к разбираемым вопросам это не относится, что у брата Герцена, – Егора Ивановича – была дочь учительница и она давала уроки его (Белого) матери. Мое восхищение колоннами он совсем

не разделяет. В этом архитектурном мотиве, по его мнению, чувствуются рассудочность, рационалистическая сухота, делающие его, в сравнении с архитектурными мотивами, например, готики, средством бедным. Колоннада, утвердившаяся в греко-римском мире, потеряла свой величественный, таинственный и волнующий характер, присущий ей в Египте фараонов. Мое награждение Пушкина началом Аполлона отнюдь не возвышает поэта; при этом я забываю «Пророка» Пушкина. Большое искусство одним началом Аполлона никогда не может и не должно быть проникнуто, иначе оно будет столь же бедным, как и колонки. Без начала Диониса искусство – не религиозно, а не проникнутое религией, оно не охватывает скрытую душу мира и не может преобразовать глубоко формы жизни.

О мощах и чудотворных иконах Москвы он, Белый, говорить не будет. Тут нет двух разных мнений: все, что делается с чудотворными иконами и около них, настоящую религию только разлагает. Но когда по поводу икон и мощей я, Валентинов, говорю, что это фетиши, магия, ужас, и против этих вещей вообще восстаю, тогда он, Белый, восстает против иссушающей мир рассудочности, берет фетиши, магию под свою защиту и заявляет: Джоконда Леонардо да Винчи и картины Дюрера тоже фетиши, а музыка Баха, Бетховена тоже магия. Выбросьте эти фетиши, эту магию, и от мировой культуры и искусства ничего не останется. По поводу моего европеизма Белый замечает, что в речи Политика в «Трех разговорах» Влад. Соловьева, при перечислении народов, вводящихся в единую мировую культуру, указываются не только европейские нации, но и турки, персы, индусы, японцы и китайцы. Эти сотни миллионов восточных народов, приобщаясь к единой культуре, непременно внесут в нее нечто свое, очень большое и *не западное,* а *восточное.* Почему же культура мира, после этих огромных взносов в нее, должна все-таки мыслиться европейской и называться западной?

Это большая ошибка. В повести об Антихристе Соловьев, несколько сжав свой горизонт и ничего не говоря о восточных религиях, дал три символические фигуры: Петра – представителя католической церкви, Иоанна – представителя православия и профессора-теолога Паулуса – выразителя протестантства. Мировая история, поскольку она ведет к объединению наций, ставит вопрос и о воссоединении церквей, их душевной и мистической основы. Однако, воссоединение отнюдь не есть подчинение одной какой-либо части другой, а говоря об европейской культуре как мировой и, в частности, о вхождении в эту культуру России, я (Валентинов), сознательно или бессознательно, имею в виду подчинение русской культуры европейской, подпадение первой под вторую.

Мое отношение к Гоголю его (Белого) коробит. В этом отношении я следую за Белинским и за всякими Пыпиными, а если бы русская литература пошла за такого вида критиками и за порождением их, хулиганом Писаревым, она превратилась бы в дешевые прокламации на общественные темы и закрыла бы двери от проникновения к нам Верлэна, Ибсена, Стриндберга, Эдгара По и многих других. В книге Гоголя, упрекает меня Белый, я вижу только реакцию и прохожу мимо его замечательных попыток проникнуть в самую душу России, ответить на вопрос: «Русь, куда же ты несешься?»

До сего момента то, что говорил А. Белый, я с некоторой точностью мог передать – конечно, не полностью, а в виде формулировки его мыслей. Но как только он заговаривает о куда-то несущейся Руси, темп речи Белого ускоряется, он уже в трансе, в речи появляется пророческий тон, и трудно понять, комментирует ли он Гоголя или сам хочет ответить на вопрос: «Русь, куда ты несешься?»

Мою линию европеизации, идущую от «мавзолея Матвеева» к нашим дням, он считает «*насильнической*» и в моих, рисующих ее словах почувствовал нечто «*нерусское*», во всяком случае плохо считающееся с тем, что есть русское.

Гоголь, изнуряя себя вплоть до смерти, стремился постичь тайну и путь России, и оказался не в состоянии выразить свои постижения словами, а вот я (Валентинов) – слишком уж смело! – захотел этот путь указать словами европейца, а они звучат ложно, рассудочно, идут мимо русской души.

Пользуясь разными поэтическими образами, Белый стал доказывать, что *«рационалистический невод европеизации не способен зачерпнуть настоящее русское». «Каналы европеизации засосут русские поля.* Россия носит в себе великую тайну. Тютчев, конечно, прав: Россию нельзя измерить европейским аршином, у нее особенная стать».

«Поздравляю!» – воскликнул я. «Отпихиваясь от европеизации, ваша пламенная речь привела к избитым славянофильским позициям, которые совсем недавно вы сами страстно отвергали».

Белый хватается за голову и с страдальческим видом говорит, что больно слышать такое его непонимание.

«Тютчев говорил об аршине и стати, говорю и я об аршине и стати. Следует ли из этого, что по этому поводу мы думаем одно и то же? Идиот произносит слово "да", я его тоже произношу. Значит ли это, что я думаю то же, что идиот? Россия, конечно, носит в себе огромную тайну, но покров с нее не сняли и никогда не снимут люди с славянофильским направлением. У них для этого нет умственной и настоящей религиозной силы. Они короткорукие. Покров с тайны России снимет только будущая революция, а кто же, хотя-бы на минуту, может серьезно думать, что ее сделают новые Хомяковы и Достоевские? Ведь, в конечном счете, это же только реакционеры. Ключей открыть тайну России у них нет и быть не может. Ключи в руках других людей. *Наступит момент, те появятся, душою я с ними».*

От этого разговора с Белым остался неясный осадок; чудилось мне, что что-то важное недоговорено, не сказано. Однако, его отталкивание от Запада и в этом смысле

какая-то скрытая дань славянофильству были очевидны. Стало понятным заявление, что ни Артамон Матвеев, ни «московский» Герцен в круг интересующих его лиц не входят. Если бы моя ставка на европеизацию его не шокировала, он не увидел бы в моих словах «что-то нерусское», не слушал бы меня с видом человека, проглотившего муху... Отвертывание от Запада у Белого не датируется этим разговором. Уже в его первом печатном произведении, в «Симфонии» (1902 г.) объявлялось, что «Запад смердит разложением» и европейская культура – «пляшущий скелет». После этого им было написано и сказано много слов. Все они противоречивы. Сегодня так, завтра иначе. В «Серебряном голубе», появившемся год спустя после нашего разговора, я нашел на некоторых страницах подход Белого к той теме, которую мы с ним обсуждали. И, представляя ее, Белый снова, как и тогда, прибегает к поэтическим выражениям. «Россия таит несказанную тайну», утверждает в «Серебряном голубе» Дарьяльский, противопоставляя русское – западному, невысказанное и *несказанное русское – высказанному Западом.*

«Многое множество слов, звуков, знаков выбросил Запад на удивление миру; но те слова, те звуки, те знаки – будто оборотни, выдыхаясь, влекут за собою людей – куда? На Западе люди выплескивают наружу слова в книги, во всякую премудрость и науку; оттого-то вот там и сказуемые слова и сказанный склад жизни: вот что такое Запад. Россия не Запад, русские поля знают тайны и русские леса знают тайны. И русская душа не душа западная: грустит она о несказуемом, о несказанном томится». В России «самый закат не выжимается в книгу: и здесь закат тайна; много есть на Западе книг; много на Руси несказанных слов. Россия есть то, обо что разбивается книга, распыляется знание, да и самая сжигается жизнь; в тот день, когда к России привьется Запад, всемирный его охватит пожар: сгорит все, что может сгореть».

Последняя фраза (написанная в 1909 г.) не тогда, когда ее читал, а теперь меня тревожит и волнует. О каком привитом России *Западе* в ней говорится? Такая прививка – по Белому – не изменяет сути русской души. К ней прививаются лишь формы внешние «сказуемого склада жизни Запада», можно сказать – лишь аттрибуты материально-технические (хочется добавить – создаваемые и созданные «пятилетними планами»), но такая техническая прививка России, научившейся производить водородную бомбу, производит такую мировую пертурбацию, что ... «всемирный пожар охватывает Запад»!

Настойчиво, даже прибегая к большому шаржу, Белый дает понять, что русская душа от прививки Запада *абсолютно не изменяется, и* русские люди, временно убегая на Запад, непременно возвращаются в «русские поля».

«Вспомнил Дарьяльский свое былое: и Москву, и чопорные собрания модничающих дам и дамских угодников – поэтов; вспомнил их галстухи, запонки, шарфы, булавки, вывозные, французские и весь модный лоск последних идей; одна такая девица пожимала плечиками, когда речь шла о Руси; после же пешком удрала на богомолье в Саров; похохатывал социал-демократ над суеверием народа, а чем кончил? Взял да и бежал из партии, появился среди северо-восточных хлыстов. Один декадент черной бумагой свою оклеивал комнату, все чудил, да чудил; после же взял да и сгинул на много лет, объявился потом полевым странником. Скольких, скольких в тайне сжигает полевая мечта; о, русское поле, русское поле... Убегают твои сыны от тебя, Россия, широкий твой забывать простор в краю иноземном; и когда они возвращаются после, кто их узнает? Чужие у них слова, чужие у них глаза; крутят ус по-иному, по-западному; поблескивание глаз у них не как у всех прочих россиян; но в душе они твои, о поле: ты их сжигаешь мечты, ты прозябаешь в их мыслях райскими цветами, о, луговая, родная стезя! Не пройдет году,

как пойдут бродить по полям, по лесам, по звериным тропам, чтобы умереть в травой поросшей канаве. Будут, будут числом возрастать убегающие в поля».

Хотя во время нашего разговора Белый и говорил, что русские поля засосут канал европеизации, все же не делал тогда такого резкого противопоставления русского западному. В словах его не чувствовался, как в только что приведенных цитатах, такой звон славянофильских идей. Он считал их тогда реакционными. Несколько месяцев спустя общение с Гершензоном изменит его взгляд на славянофильство, и в «Серебряном голубе» это отразится. Любопытно, что отталкивание от Запада, от Европы, мелькающее в этом романе, через год, в бытность Белого и А. А. Тургеневой в Тунисе, примет формы любовного отношения к самому отсталому Востоку. Нравы и жизнь в Тунисе его восхитят. В этом отношении Белый полностью сойдется с такими антиевропейцами как Леонтьев и почти повторит его слова:

«Средний пошляк европеец, стоящий на уровне всех современных заданий XX века, конечно, есть только жалкий паяц в сравнении с сельским арабом. Европа? Ее забываю: ее не хочу. Знаю, в Англии, знаю, в Германии я тосковал бы по родине. Здесь не тоскую; здесь точно родился».

Любовный взгляд на Восток, сказывающийся в его «Путевых заметках о Сицилии и Тунисе», исчезает в начатом через год «Петербурге». В нем мы услышим *нет* и Западу, и Востоку, и миру хаоса, и миру «нумерованной циркуляции». Мучаясь, страдая, А. Белый всю жизнь несся вскачь от одной идеи к другой. Постоянная смена идей, вечные противоречия, нет покоя.

Плачь, сердце, плачь,
Покоя нет. Степная кобылица
Несется вскачь...

IX
Эмблематика смысла и лиловые миры

Ф. А. Степун, знавший А. Белого, писал: «Более изменчивое и неустойчивое сознание мне в жизни не встречалось. Чего только Белый за свою слишком рано угасшую жизнь не утверждал как истину, чему только не изменял».

Такую характеристику я могу только усилить. За годы встреч с Белым мне пришлось видеть у него ошеломляющие повороты. Принцип, прокламированный в понедельник, в субботу уже отрицался. Яростный «левый» заскок сменялся таким же заскоком вправо. Оценка некоторых писателей изменялась в течение самого короткого времени. Сегодня увлечение, например, Л. Андреевым, завтра презрительный приговор: некультурный тал антик. Положительная рецензия на какую-нибудь книгу, помещенная Белым в «Весах», дней через десять заменялась в разговоре отрицательной. Впросак попадают те, кто, судя по напечатанному Белым, думают, что это в данный момент выражало его мысли и убеждения. Подобную ошибку делают все, лично его не знавшие – это относится и к Мочульскому. Часто бывало, что рядом с тезой, напечатанной Белым, находилась антитеза словесная, и именно она, а не теза, представляла в тот момент его убеждение. Антитез могло быть несколько: в разговоре с Н. Е. Эфросом Белый на протяжении трех недель высказал три совершенно различных суждения о символическом театре и, по словам Эфроса, им всем нельзя было отказать в интересности и оригинальности. В голове его всегда бурлили мысли. Белый один из плодовитейших писателей, и творчество ему давалось тем легче, что пред ним никогда не ставился вопрос о согласовании того, что он пишет, с уже им написанным. Он просто отбрасывал ранее сказанное и, не оглядываясь на думы вчерашнего дня, шел дальше. Иногда он

признавался: да, у меня есть двойственность, я ведь «натаскан» на нее с детства, когда принуждался говорить «одно папочке, а другое мамочке». «Я часто перевираю себя», «кажусь изменчивым, хамелеоном, неверным». Временами к своему «хамелеонству» он относился, как к явлению должному. Улыбаясь, говорил: «Но ведь я же живой человек. Не окаменелость. Мысли мои не застывшая лава, а живая струя. Не могу, даже если бы захотел, запереть мое мыслетворчество в ящик или тюремную камеру». Но чаще он приходил в гнев, слыша указания на противоречия: «Я никогда себе не противоречу, есть лишь разный подход к разным граням вопроса. Эти грани нужно видеть, нужно шире смотреть. Нельзя на мир, на людей смотреть в дырочку, быть, по словам В. Соловьева – "вертидырником", "дыромоляем"».

В его пляшущем мышлении, в изменчивой душе, было ли что-нибудь твердое, устойчивое, что он нес и пронес сквозь всю жизнь? В 1907 г. Белый мне заявил, что «три огня» зажгли в нем свет: «Они всегда со мною – это Евангелие, Заратустра, сочинения Владимира Соловьева». Позднее, в 1912 г. в «Трудах и Днях» вносится изменение: «Три книги сопровождают меня – *Евангелие, Заратустра, Гоголь*». А спустя два года рядом с Евангелием и Заратустрой в качестве третьей книги он ставит антропософские «Пути просвещения» Рудольфа Штейнера, которого со злобою откинет в 1922 г. Из этого сопоставления как будто вытекает, что при зигзагах и текучести Белого в нем все-таки было какое-то твердое духовное ядро, причем не нужно думать, что Гоголь и Штейнер могли вытеснить из его души Соловьева. Разобраться в «неизменяемом» ядре Белого трудно. На мой вопрос, что он имеет в виду, говоря «Евангелие», Белый мне ответил: «Ну, конечно, Евангелие от Матфея». А недели через две таким же категорическим тоном: «Конечно, Евангелие от Иоанна, оно глубже и написано более близким к нам "интеллигентским языком",

в нем неоплатонизм». Временами все Евангелия у него отходили в сторону, и на первый план вступало «Откровение» Иоанна Богослова – Апокалипсис, самое замечательное в мире, по его словам, теургическое произведение. Совместимо ли одновременное приятие им Евангелия и Ницше? В первом дух демократический, у Ницше аристократический. Первое проповедует: «Люби ближнего как самого себя», у Ницше же ненависть к ближнему и любовь к дальнему. Бросалось в глаза, что в разговор об этом противоречии Белый почему-то вступать не хотел. Раза два он мне сказал: «Лучше Ницше не трогать, можно о нем сказать *неосторожные слова*». Но много позднее, поясняя соединимость с этой точки зрения Евангелия и Заратустры, Белый заявил, что «весь Ницше есть разговор вопиющего Бога с кретином».

Б. К. Зайцев в очерке о Белом («Русские Записки») говорит, что однажды встречал с ним пасхальную заутреню в маленькой церковке Константина и Елены в Кремле. Зайцев не указывает, когда это было. В 1907 и 1908 годы Белый в церковь не ходил и крайне отрицательно относился к тому, что называл «правительственной церковью», «синодальным православием». «Я не Мережковский, вообразивший, что, войдя в контакт с тройкой разваливающихся от всяких немощей епископов, он может наставить на истинную дорогу правительственную церковь. С синодальщиной я полностью расхожусь. Цари и обер-прокуроры Синода ее отравили. Если свою веру они смеют называть христианством, тогда я мою веру буду называть христовством. Мой Христос не их Христос. В отличие от них буду говорить о *Христе*».

Особенную озлобленность к «синодальщине» проявил Белый летом 1908 г., побывав сначала в Тульской, а потом в Тверской губернии. Встретившись со мною, он стал рассказывать, что в крестьянстве будто бы готовится «взрыв», оно не может и больше не хочет мириться со своей тяжелой

жизнью. Поэтому правительство, вкупе с Синодом, чувствуя революционное настроение крестьянства, для удержания его в покорности намеревается сделать из священников организованное орудие контрреволюции. Правительственное намерение может удаться, так как, по мнению Белого, деревенский причт морально разложен, лишен настоящей, глубокой веры, способен только «жить и жрать» и относится равнодушно к тому, что по стране ходит Смерть. Под влиянием таких мыслей Белый и написал тогда стихотворение «Веселье на Руси»:

Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок.

Эх –
Людям грех!
Эх – курам смех!
…………………………………………
Что там думать, что там ждать:
Дунуть, плюнуть – наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.
…………………………………………
Дьякон пляшет –
– Дьякон, дьякон –
Рясой машет –
Дьякон, дьякон –

Что такое, дьякон, смерть?
– «Что такое? То и это:
Носом в лужу, пяткой в твердь...»
…………………………………………….
Над страной моей родною
Встала Смерть.

Ни в какой «взрыв» ни в городе, ни в деревне в 1908 г. я не верил. Оценку Белым политического положения считал

легкомысленной, не придавал ей ни малейшего значения и мало интересовался знать, какого рода факты толкали Белого заключить, что правительство и Синод затевают организацию духовенства как орудие контрреволюции. Оказалось, что Белый каким-то чутьем, на основании каких-то наблюдений предощутил политическую акцию духовенства, обнаружившуюся четыре года спустя во время выборов в IV Государственную Думу. Правительство, желая получить вполне угодный ему состав Думы, решило тогда применить разнообразный ассортимент мер, давлений, фокусов, – в частности, особых искусственно создаваемых разрядов выборщиков. В числе этих мер на первом месте стояло вовлечение духовенства в русло правительственной политики. Так как каждый священник в селе получал по штату клочок земли, правительство решило использовать это обстоятельство и из священников, как мелких землепользователей, сделать с помощью высшего церковного начальства большую силу на выборах, производя соответствующее распределение выборщиков по разрядам. Это и было сделано. Под угрозой всяческих кар священникам было приказано голосовать за тех правых депутатов, на которых им указывало церковное и светское начальство.

Этой и другими мерами октябристы – партия крупной буржуазии, недостаточно послушная и потому не отвечавшая всем видам правительства, имевшая в III Государственной Думе 133 депутата – была сведена к 98 депутатским местам. Наоборот, число правых депутатов с 145 поднялось до 185 в Четвертой *Думе.* Нажим правительства на священников разлагал церковь. «Совершилось событие, – писал Изгоев в “Речи” – глубоко потрясшее душу как самих священников, так и наиболее верующих прихожан. Трудно учесть все влияние этого неслыханного унижения церкви и духовенства, столь откровенно низведенных на степень простого политического орудия».

Во время выборов в IV Думу я работал в «Русском Слове» и с двумя помощниками вмешивался, поскольку это было возможно, в выборную кампанию. Помню: когда из всех углов страны посыпались в газету телеграммы о выходе священников на политическую сцену, и обнаружилась их темная роль, я всему этому собранному материалу дал на семь колонок заголовок: «Черная рать В. К. Саблина» (обер-прокурора Синода). И. Д. Сытин – издатель «Русского Слова» – от заголовка пришел в ужас. Официальный редактор газеты Ф. И. Благов стал тоже бояться и колебаться: не слишком ли уж резко? Я настоял на заголовке, и он повторялся в нескольких номерах. В редакции ждали штрафа в пять тысяч рублей; его не было (кажется, он был позднее). В это время я не раз вспомнил слова Белого в 1908 г. Он оказался провидцем.

Указывая на отрицательное отношение Белого к «синодальной церкви», будет уместно указать и на его ненависть к Достоевскому. В 1907–1908 г. (в конце года уже произошла перемена) Белый его не выносил. Он называл его «попом синодальной выделки», «вполне способным занять место обер-прокурора Синода». Дружба Достоевского с Победоносцевым, говорил он, не случайна. В его произведениях он видел «семена тлена и смерти». Славянофильствующее православие Достоевского считал глубокой реакцией. О «Бесах» отзывался с величайшим раздражением. «Хорошо ли вы знаете – однажды спросил он меня – "Записки из подполья"? Если нет, рекомендую их перечитать. Вся нечистота, вся душевная грязь писателя проступает в этом произведении. Достоевский говорил, что красота спасет мир. Человек, написавший "Записки из подполья", о красоте не смеет говорить. С такой душевной нечистотой человек большим писателем не может быть, а тем более быть проповедником новой жизни, христианства, Христа». Лучшая характеристика этого темного

человека, по мнению Белого, сделана Гиппиус, сказавшей, что романы Достоевского вызывают у нее «образ распятия, загаженного клопами, это часто бывает в мещанских квартирах».

* * *

«Меня и Валентинова – писал Белый – соединяли теоретические вопросы». Число вопросов, которые мы, как любили в то время выражаться партийные люди, «вентилировали», – уйма, их не перечесть. Я вспоминаю сейчас об этом с усмешкой. Мне было лет под тридцать, Белый был на два года моложе, но иногда мы походили на юношей, студентов-первокурсников, прыгавших по множеству вопросов с целью ускоренными ответами на них сложить так называемое «цельное» мировоззрение. Тяга к нему искони у русской интеллигенции и для нее типична. Ею болели все «русские мальчики», не только Иван и Алеша Карамазовы. Сильно болел и А. Белый. Ни минуты не останавливаясь, постоянно меняя вехи, несся он вскачь от одного вопроса к другому. «Провоцируемые» им вопросы более чем часто возбуждали во мне отпор, поэтому наши свидания обычно превращались в спор. Мы копировали Ленского и Онегина:

Меж нами все рождало споры
И к размышлению влекло;
....
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые.

О чем спорили? В какой обстановке? Вот пример. Однажды вечером я шел в кинематограф в проезд Страстного Бульвара. Навстречу, направлясь к Б. Дмитровке, к Брюсову в «Весы», летит Белый. И немедленно, без всякого предисловия,

без всякой связи с нашим прежним разговором, подбежав ко мне (и, конечно, поцеловавшись), спрашивает:

«С каким знаком должно быть мирочувствование?»

«То есть?»

«С знаком оптимизма или пессимизма?»

Отвечаю: оно должно быть оптимистическим, за это говорит биология, инстинкт самосохранения. Не видя пред собою ничего кроме мрака, смерти, безнадежности, никаких радостных перспектив, человечество не могло бы и не стало бы жить. На этой почве и вырастает религия – как утешение. Нет человека, который не жил бы надеждой, не думал бы, что хотя бы на час придет счастье.

«Ваши посылки неверны! – кричит в ответ Белый. – Народные массы живут и всегда жили только растительной жизнью. Вопроса о мировоззрении у них не существует. Он возникает лишь в верхах общества, и невозможно допустить, чтобы думающие люди какой бы то ни было эпохи и когда-либо ограничивались скудной оптимистической концепцией, проходящей слепо, тупо мимо Рока, страданий, всех ужасов жизни. Глубокое мировоззрение всегда трагично».

Мы стоим на тротуаре и спорим. Переходим на Страстной бульвар, ходим взад и вперед и спорим. Белый доказывает, что никогда в мире не существовало оптимистического мировоззрения. Я возражаю, в качестве примера жизнерадостного мировоззрения ссылаюсь на религию, на мифологию античных греков. Опираюсь при этом на «Историю искусства древних» Винкельмана, помню – появившуюся в русском переводе в необычайном для таких изданий месте – то ли в Риге, то ли в Ревеле. Белый бурно меня атакует, указывая, что исследование Винкельмана, хотя его хвалил Гете, негодно,

устарело, искажает истинную суть античного мировоззрения, и противопоставляет ему труд Вяч. Иванова – «Религия страдающего Бога». Спор продолжается целый час. Я не попадаю в кинематограф, ему уже поздно идти к Брюсову. Мы расходимся, а дней через пять, может быть при такой же случайной встрече, Белый вытаскивает другой вопрос или, вернее, другие вопросы.

Среди этих других вопросов внимание, конечно, привлекала философия. Это понятно: Белый с гимназических лет ею занимался, а я в то время писал «Философские построения марксизма», «Мах и марксизм» и в студенческом кружке читал доклады об Авенариусе, Спинозе и эмпириомонизме Богданова. Мы сходились на том, что нельзя построить прочное мировоззрение без овладения теорией познания, гносеологией, и тут же расходились – какова должна быть эта гносеология. Он строил ее на Канте и неокантианцах – Когене, Наторпе, Виндельбанде, Риккерте, я на эмпириокритицизме. Мое отношение к Риккерту, за которого особенно хватался Белый, было – теперь я это знаю – во многих пунктах ошибочным, грубым, но это еще не значит, что Белый был прав. Его толкование Канта и неокантианцев было в корне порочно. Канта и неокантианцев нельзя назвать мистиками, а между тем Белый в споре со мною так их истолковывал, так выхолащивал из них критицизм, что вставал вопрос: где же тут Кант, что осталось от неокантианцев – ведь они превращены на самом деле в крайних мистиков! У Белого онтологически-метафизическая схема с влитым в нее мистическим духом, идущим от Соловьева, определилась и предшествовала его теории познания. Гносеология, хотя-бы трансцендентального идеализма, не могла обосновать онтологию Белого, поэтому он переделывал кантианство – в частности, идеи и схемы Риккерта – так, что внешне казалось, будто бы они санкционируют его мистическую доктрину.

Это было дешевым самообольщением. Теория познания из верховного судьи превращалась в служанку, совершающую акт фальсификации. Заявляя, что нельзя построить прочное мировоззрение без научной теории познания, Белый был крайне непоследователен. Его религиозному мировоззрению, опирающемуся на веру в мистику, не было надобности в научной теории познания. В утверждении мистики ему были полезны не Кант, не Коген, не Риккерт, а гораздо больше «Doctrine secrète» Блаватской, оккультисты, теософы, к которым в конце 1908 г., оставляя «Марбургских философов», он и стал льнуть.

А. Белый писал, что я «будоражил» его вопросами, связанными с марксизмом; в свою очередь, он «будоражил» меня речами о новом символическом искусстве. Я не художник, не беллетрист, не литературовед, не литературный критик. В течение ряда лет был активным «партийным работником», писавшим на всякие политические и экономические темы, особенно много об аграрном вопросе и аграрных программах. Мои знакомые поэтому удивлялись: почему меня – «аграрника» – вдруг обуял интерес к искусству, при том к такой гиблой «декадентской» форме, как символизм. Краткое объяснение я дал тогда же, то есть в 1908 г., в книге «Философские построения марксизма». Я считал, что марксизм под давлением изменившейся жизни, новых фактов, потерял свою прежнюю стройность и находится в состоянии ревизии, пересмотра, дополнений, усложнений своих основных положений. Прошло время повторять старые ценности, наступило время создания новых. Брюсов в предисловии к переводу стихов Э. Верхарна («О современности» 1906 г.) – а им я очень увлекался – указывал, что в Бельгии социалист Вандервельд вместе с Верхарном организовали в брюссельском Maison du Peuple художественную секцию, где исполняли Вагнера, читали лекции об Ибсене, и для всех этих и других проявлений

искусства всегда находились чуткие слушатели – рабочие. Это было знамением новых запросов народной массы. С ними социалистическим партиям, до сих пор отдававшим все свое внимание только «политике» и «экономике», было необходимо считаться. Я полагал, что после революции 1905–1906 гг. этот вопрос встал и у нас в России; я чувствовал, что в рабочей среде тяга к искусству. В московском Введенском Народном Доме, с его низкими ценами билетов, оперы в субботу и воскресенье проходили при полном театре со слушателями на три четверти из рабочих. Оперная труппа любителей, в которую входила моя жена, В. Н. Вольская, объезжала фабричные места вокруг Москвы, и всюду эти приезды «артистов», хотя спектакли ставились в примитивнейшей обстановке, производили огромное впечатление, обычно кончаясь коллективной просьбой – «приехать еще и еще раз». Интерес в низах к литературе я мог определить и по такому небольшому факту. В рабочем кружке, посещавшемся мною в 1908 г., я прочитал доклад о двух драматических произведениях Леонида Андреева – «Жизнь человека» и «Царь Голод» (в измененном виде он был напечатан брошюрой под заглавием «Мы еще придем»). Среди моих слушателей он вызвал такой интерес, что дебаты и разговоры о затронутых Л. Андреевым вопросах продолжались более месяца, и, *в отличие от моих политических докладов,* происходили в необычайно оживленной обстановке. Все мне подсказывало, – в частности один интересный разговор с Айхенвальдом, объезжавшим провинцию с лекциями о русской литературе – что нужно с искусством идти в народные массы, для развлечения и для поднятия их культурного уровня.

Но с каким искусством туда идти, какого рода? Ответ на это, как я думал, могла дать лишь ясная «эстетическая теория». В социал-демократической партии, в русском марксизме, несмотря на его уверенность, что он «цельное»,

охватывающее все стороны жизни мировоззрение, такой «эстетической теории» не существовало, а писавшееся марксистами об искусстве было иногда слишком куцо и грубо (пример – очерки В. Фриче). Как раз в это время (в 1907 г.) появился перевод книги голландской социалистки Генриэтты Роланд-Гольст «Этюды о социалистической эстетике», настойчиво указывавшей на необходимость создания именно новой эстетики, в противовес «буржуазной эстетике», так как последняя «не может не следовать по нисходящей линии духовного развития буржуазии нашего времени». Где же искать начал, принципов этой новой не-буржуазной эстетики? Очевидно, у художников, писателей, поэтов, литературных критиков, отталкивающихся от «буржуазности». Отсюда мой интерес к московским символистам, устами А. Белого заявлявших, что они «являются конечным звеном непрерывного ряда переживаний, той центральной станцией, откуда начинаются новые пути», что благодаря «прорези у них новых органов восприятия» символисты имеют возможность видеть зарю и «отчаливают от берегов старого мира».

Этого отчаливания в журнале «Весы» – взятом в целом – я, конечно, не видел. В нем часто проходили дурно пахнувшие статьи без всякой «зари». Не верил я в серьезность позиции В. Брюсова, хотя тот постоянно говорил о низменности «мещанского довольства и взглядов», о «неизбежном крахе» буржуазной культуры. Наоборот, у трех символистов – у А. Белого, призывавшего «ходить поступью Маркса», у Эллиса, с помощью Бодлера опрокидывавшего «все буржуазные взгляды», у С. Соловьева, звавшего на борьбу с капитализмом – я видел желание «отчалить» от берегов буржуазного мира.

«Социалистические доктрины – писал Сергей Соловьев – ведут борьбу с капитализмом, но капитализм есть явление общего мирового зла. Поэт борется в мире сущего

с тем же началом, с каким общественный деятель борется в мире явлений. Поэтому, поэт, поскольку он не изменяет своему назначению и не искажает смысла своей деятельности, ведет борьбу с капитализмом. Капитализм не менее ненавистен для поэта, чем для социалиста, цели поэта и социалиста до известной степени совпадают. Капитализм – химера нашего века, это адское чудовище попирает все святое и прекрасное. В его щупальцах хрустят кости наших братьев» (предисловие к «Crucifragium»)[9].

Антибуржуазным, антикапиталистическим высказываниям символистов социалистические партии не придавали никакого значения. «Чего вы возитесь с символистами? – говорили мне партийные товарищи. – Вся их философия и якобы антибуржуазная теория – вздор, не тратьте зря времени, в куче их символистического навоза все равно не найдете жемчужного зерна».

О всех теориях, казавшихся ему не-марксистскими, Ленин говорил: налепим на них бубновый туз и разбираться в них не будем. Следовать такому правилу в отношении к моим знакомым-символистам, людям необычайного типа и несомненно талантливым, я решительно не хотел. Прежде чем лепить на символизм «бубновый туз», в нем нужно разобраться: кто знает, может быть там есть и «жемчужное зерно»? А кто мог ввести в философию и теорию символизма? В Петербурге теоретиком новых веяний был совсем меня не привлекавший Вячеслав Иванов, в Москве, конечно, Андрей Белый, и только он один. Свою концепцию символизма он в 1907 г. развивал на страницах «Весов», «Перевала», «Золотого Руна», но это была, по его словам, только «платформа» символизма, лишь первые его характеризующие

[9] Сергей Соловьев, пройдя через символизм и «теократию», стал позднее православным священником.

наброски. В 1908 г. он начал углублять эту платформу, ее развивать, «вынашивать» более обоснованное мировоззрение символизма. С этой вынашиваемой им теорией он меня и знакомил. При изложении ее буду прибегать к цитатам и передаче того, что я слышал.

Я узнал от него, что «теории знания, этика, теология, метафизика, теософия, теургия составляют промежуточные звенья, приводящие нас к теории символизма», а основная задача и цель символического искусства заключается в *«преобразовании всей жизни»*. Как понимать это преобразование? На мои просьбы пояснить это преобразование примерами из области социальной, политической, нравственной, художественной, Белый отвечал длинными речами, но ясного ответа все-таки не давал. Я слышал от него, что «с искусством, с жизнью дело обстоит гораздо серьезнее, чем мы думаем; бездна, над которой повисли мы, глубже, мрачнее. Мы должны все пересоздать; для этого мы должны создать самих себя. Единственная круча, по которой мы можем карабкаться – это мы сами. На вершине нас ждет наше Я. Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой. Только эта форма творчества еще сулит нам спасение. Тут лежит путь будущего искусства».

При таких заданиях преобразование жизни сводилось к преобразованию символистами *самих себя.* Этим символисты, действительно, и занимались. Я мог это видеть, и это создавало специфический «воздух символизма» с свойственным ему специфическим жаргоном. Ища «собственной художественной формы», все они играли как на сцене театра. Каждый из символистов стремился быть оригинальным, ни на кого из простых смертных не походить, смотреть на жизнь как на «мистерию», жить вне «бытовых канонов», в этом смысле выходить из рамок «буржуазного общества».

«Это был ряд попыток – пишет Ходасевич – порой истинно-героических, – найти сплав жизни и творчества ... Пытались превратить искусство в действительность, а действительность в искусство... Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке... От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение...» В этом «воздухе» особенно хорошо чувствовал себя Блок, мастерски сумевший создать «собственную художественную форму», вызывавшую в среде, его окружавшей, восторженное преклонение. «Когда своей печальной походкой он выходил на эстраду и почти без интонации, без жестов, повторял перед нами свои стихи, которые мы знали наизусть – *на всех, особенно на женских лицах, появлялось выражение такой безвольной и томной влюбленности, о какой не мечтали другие поэты*» (Чуковский о Блоке).

На мои иронические замечания, что превращение символизма в искусство дрессировки отдельных лиц, с целью пересоздания их в «художественные формы» делает его смешным, Белый, противореча себе, пылко отвечал, что я его не понял, символизм не маленькая теория, несущая спасение тем или иным индивидам, а огромное искусство, «преобразующее» весь мир, благодаря заложенной в нем творческой силе, вдохновляемой религией, ибо в искусстве «скрыта религиозная сущность». Белый здесь опирался на теорию Вл. Соловьева, видевшего в искусстве «*общение с высшим миром путем внутренней творческой деятельности*». «Искусство должно быть силою, перерождающей весь человеческий мир». Возможность перерождения и миропреобразования (опять таки без объяснения, что означает конкретно это преобразование) Белый ставил в зависимость от двух условий – величия, мощности, пламенности истинного религиозного чувства, отражающего веления высшего мира, и деятельности

передающих эти веления *теургов.* Теургическое творчество определяет истинную сущность символизма, как мировоззрения и искусства. Теурги творят слова, а словотворчество есть творчество нового мира. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». От Белого я этого не слыхал, но знаю, что в качестве примера теургического слова он ссылался на слова Христа, которые обладали такой силой, что были способны производить чудеса и воскрешать мертвых. То, что я слышал от него о теургическом творчестве, может быть сформулировано приблизительно так: «Эстетическое творчество господствует над примитивным творчеством символов, мифотворчеством и идолотворчеством; религиозное творчество господствует над всеми этими творчествами, кроме того над творчеством техники, быта, права, над бытием. Теургическое творчество имеет силу преображать не только все эти деятельности вместе с религией, но оно еще изменяет психологию, технику, бытовую мораль, теологию, этику».

Я допытывался: кого Белый имеет в виду, называя «теургами»? Есть ли это выдающиеся исторические личности, религиозные проповедники, пророки, политические деятели, великаны науки и философии, Гете и Толстые, или еще кто-либо? В ответ Белый говорил, что моими позитивистскими вопросами я обескровливаю, вульгаризирую проблему, спускаю ее «с неба на улицу»; и моя враждебность к мистике делает для меня невозможным понимание теурга и теургической деятельности. Он много и длинно говорил, что язык теурга – «окно в Вечность», что последние цели искусства, вдохновляемого теургами, совпадают с последними целями человечества, а к этим целям можно приобщаться лишь с помощью религии. После всяческих попыток добиться от Белого ясного ответа я в упор поставил ему вопрос:

«Будьте со мною откровенны, честно скажите, не считаете ли вы себя и других символистов иерофантами, теургами

нового религиозного искусства, и благодаря этому сознанию полагаете, что обладаете силою преобразовывать жизнь?»

Ответ Белого был запутанный, верткий, тем не менее в скрытой форме в нем проглядывало убеждение, что он, Белый, не лишенный чувства общения с высшим миром, с Софией, с Церковью Небесной, может быть отнесен к теургам, имеющим силу накладывать свою печать на преобразование всей жизни. В течение всего разговора он твердил, что задачи искусства – практические (преобразование жизни). «*Из искусства выйдет новая жизнь и спасение человечества*». Отвергая «искусство как искусство», он говорил, что символизм не есть только создание новых художественных форм. «Изменение этих форм есть знак изменения внутреннего восприятия мира для создания новых форм жизни». «Искусство не имеет никакого собственного смысла, кроме религиозного; в пределах эстетики мы имеем дело лишь с формой; отказываясь от религиозного смысла искусства, мы лишаем его великого смысла»[10].

Но что такое символы (а ведь от введения в оборот этого термина новое искусство и получило свое название)? Понимание символа у Белого глубоко отличалось от понимания, например, Брюсова, видевшего в символизме лишь изобразительное средство, игру с образами, аллегориями и намеками.

---

[10] Сколь это ни странно, между взглядами в это время на искусство Белого и нынешними взглядами людей Кремля очень много сходства. Они, как он, отрицают чистое искусство. Искусство для них только средство «преобразовать жизнь» в согласии с той абсолютно-верной философией или, если хотите, материалистической религией, которой, по их уверению, обладают они, теурги Кремля. Художники – это «инженеры душ». Сталин был иерофантом над теургами и каждое слово его требовало воплощения в произведениях искусства и в жизни. Теперь теургами – Хрущев, Булганин и Микоян; это они руководят «смелыми творческими дерзаниями» советского искусства (см. обращение 15 декабря 1954 г. ЦК партии к съезду советских писателей).

Символ – по Белому – есть символ чего-то взятого из областей, не имеющих никакого отношения к знанию и познанию. «Символ есть соединение чего-то с чем-то за пределами познания». А что стоит за пределами познания? Мир высших ценностей, мистический мир? Что же и как из него может быть взято с помощью символов? Белый стремился меня на этот счет как-нибудь просветить, от напряжения потел, вытирал поминутно лоб, по несколько раз повторял одни и те же объяснения, но его теория ясности от этого не приобретала. В 1907 г. в своей «платформе» Белый заявлял, что «символ, выражая идею, не исчерпывается ею; выражая чувство, несводим к эмоции; возбуждая волю, неразложим на нормы императива. Отсюда трехчленная формула: символ как образ видимости, символ как аллегория, символ как призыв к творчеству жизни». В 1908 г. все это в его теории превратилось в сплошную, путанную, полную противоречивости невнятицу. Я слышал от него, что символ не понятие и он не познаваем; он не образ, а воплощение какого-то лика, и с символизмом связывается какая-то «эмблематика». Слово «лик» со всякими привязанными к нему другими словами Белый повторял много раз. То, что он говорил, никак передать не могу – я ровно ничего в этом не понимал. В своих мемуарах Белый пишет, что он ценил «отзывчивость и внимание», с которыми я выслушивал тезисы им вынашиваемой теории символизма. Действительно, я слушал его с большим и терпеливым вниманием. В течение двух вечеров подряд я напрягал все мои силы, чтобы понять его теорию, найти в ней хотя бы четвертушку жемчужного зернышка и, если все-таки мне это не удалось, то не потому, что я идиот, а по другой причине. В защиту этой другой причины я и представлю сейчас доказательства.

В 1910 г. вышла объемистая, в 600 с лишним страниц, книга Белого под заглавием «Символизм». В ней находилось

страниц 180 – комментариев разных философских ссылок и примечаний, перепечатка статей, написанных в 1904–1907 гг., ряд новых статей литературоведческого характера и огромная статья почти в 100 страниц, под заглавием «Эмблематика смысла». В этой статье и находится *вся суть* той теории символизма, которую Белый «вынашивал» в 1908 г. и мне излагал. Он даже хотел мне ее посвятить в благодарность за внимание, с которым я относился к его «мыслительным попыткам монтирования философского и религиозного каркаса символизма». Я считаю необходимым привести из этой статьи несколько цитат, наиболее характеризующих теорию символизма А. Белого:

Перевал, переживаемый человечеством, заключается в том, что бьют ныне часы жизни – познанием, творчеством, бытием – великий свой полдень, когда глубина небосвода освещена солнцем. Солнце взошло: оно давно уже нас ослепляет; познание, творчество, бытие образуют в глазах наших темные свои пятна; ныне познание перед глазами нашими разрывает темные свои пятна; оно говорит нам на своем языке: «Меня и нет вовсе». Творчество ныне перед глазами нашими разрывает темные свои пятна; оно говорит: «Меня и нет вовсе». Обыденная наша жизнь перед глазами нашими разрывает темные свои пятна; она говорит: «Меня и нет вовсе».

От нас зависит решить, есть ли что-либо из того, что есть.

В нашей воле сказать: «Нет ничего». Но мы – не слепые: мы слышим музыку солнца, стоящего ныне посреди нашей души, видим отражение его в зеркале небосвода; и мы говорим: *«Ты – еси».*

На высотах познания (A_3), как и на высотах творчества (C_3), мы принуждены постулировать некоторым единством (B), символами которого являются и метафизические единства (A_3), и единства образов творчества (C_3); единство метафизическое не может определяться ни нормой познания, ни познавательной формой, ни формами научных методологий; оно само их определяет; единство творческих форм, в свою очередь, неопределимо образом Музы, формами символизаций, формами образов и их содержаний; но оно выражается «B»; «B» – это символ, определяемый со стороны

познания и творчества; наоборот, определяясь посредством «В», познание и творчество – символы этого символа; символ «В» поэтому называем мы воплощением; в более широком смысле символ графически изобразим, как треугольник, образованный вершинами познания, творчества и их постулатом (A_3 BC_3); в центре этого триединства – ценность и смысл жизни...

Символическое единство есть единство ряда познаний в ряде творчеств; но уже при метафизическом определении этого ряда мы раскалываем единство.

Все то же единство венчает лестницу творчеств, являясь нам в образе и подобии человека; вот почему лестница человеческого творчества оканчивается уподоблением человека этому единству; говоря языком религий, творчество ведет нас к богоявлению; мировой Логос принимает Лик человеческий; вершина творчества указывается словами Апокалипсиса: *«Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом на престоле Его».* И потому-то, определяя теургию со стороны метафизики, мы скажем, что задача ее – метафизическое единство явить в образе человеческом (в Лике), слово (принцип) претворить в плоть (в содержание нашей деятельности); на образном языке это значит Слово претворить в Плоть. Вот как об этом говорит апостол: «*В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог'*. И еще: *"О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни"».*

Лестница творчеств, Символ являя во Плоти, самые метафизические определения подчиняет теургической практике.

Как только мы пытаемся эмблематически представить единство в ряде познаний и в ряде творчеств, оно уже является нам двойственным; самое выражение «*Слово, ставшее Плотью*» обрекает нас на двойственность; всякое вообще суждение о единстве невозможно; всякое суждение состоит из субъекта и предиката. В суждении «*Слово есть Плоть*» глагол *«есть»* оказывается связью: двойственность предполагает единство; и потому-то единство, распадаясь на двойственность, являет первую триаду единства; триадность есть первое определение единства; она символ этого единства; потому-то мы символическое единство и называем Символом, что изображаем его, как триаду...

Теория символизма, определив место единства (как Символа), должна дедуцировать из этого единства ряд эмблематических дисциплин; в пределах каждой из дисциплин даются условные выводы относительно смысла и ценности бытия.

Точно так же нисходим мы и по лестнице творчеств и видим, что символическое единство в теургическом творчестве являет Лик самого божества; Символ дает свою эмблему в Лике и Имени Бога Живого; в теургии этот Лик есть эмблема ценности. Сообразно с триадностью всякой схемы, Лик является единством, предопределяющим и норму поведения, и женственную стихию религиозного творчества; эта стихия символизируется в образе Вечной Женственности, Софии или Церкви Небесной; все виды теургического творчества должны быть ориентированы познанием в теургической схеме и рассмотрены в отношении их к символам Софии и Логоса[11]. Так видим мы, что со стороны познания имеется возможность говорить о нормах теургического творчества; мы не должны, однако, забывать, что здесь говорим мы на языке эмблем.

Нисходя далее в область религии, мы видим, что символическое единство, дав эмблему этого единства теургии, выводит новую эмблему – и на этот раз эмблему религиозную; этой эмблемой является образ Софии-Премудрости, как начала, соединяющего человека с единством; эмблемой ценности в религии становится церковь, как связь верующих (Церковь есть как бы образ Софии Премудрой); но и это единство является нам как двоица, распадаясь на содержание наших моральных переживаний и форму религиозных символизаций; все религии могут быть ориентированы в их отношении к религиозному единству; схемой такого ориентирования может служить отношение переживаний и символизации друг к другу и к обусловливающему единству; триадность схемы сама собой рождает представление о тройственном начале божества, где Отцом является единство, Сыном – форма обнаружения единства, а Духом – содержание религиозных форм.

---

[11] Отношение Софии, Премудрости Божьей, к Логосу разработано в наши дни в оригинальной мистической концепции В. Соловьева.

Нисходя далее в область эстетики, мы видим, что символическое единство, дав эмблему свою в теургии и религии, строит новую эмблему для эстетического творчества; определяя это творчество со стороны высшего творчества, мы видим, что религиозный Символ Сына отображается в эстетическом творчестве в образе то Аполлона (форма образа), то Диониса (содержание образа); образ же Софии-Премудрости отражается в виде Музы; отношение Музы к Аполлону в эстетике есть отношение женственной стихии теургического творчества (Софии) к мужскому (Лику Логоса); определяя эмблему эстетического творчества со стороны познания, мы неизбежно дедуцируем эту эмблему, как единство форм символизаций. Форма символизаций есть эмблема ценности в эстетическом творчестве; но она же является, как двоица, распадаясь в художественном образе, как его форма и как его содержание; единство формы и содержание образа есть схема построений всяких эстетик; эти эстетики мы должны ориентировать вокруг схемы, как вокруг нормы эстетического построения...

Творчество есть эмблема ценности; ценность соединяет в себе две крайние эмблемы; как соединение эмблем, она есть *Символ.*

Мы не называем Символ именем безусловного; понятие о безусловном легко подменяется понятием об условии всяческого бытия и всяческого познания; условием бытия легко подменяется творчество; условие же творчества есть скорее эмблема: далее, называя Символ безусловным, мы легко отожествляем безусловное с божеством; в понятии о *Символе* мы самое божество обуславливаем символами.

1) *Символ есть единство.* 2) *Символ есть единство эмблем.* 3) *Символ есть единство эмблем творчества и познания.* 4) *Символ есть единство творчества содержаний переживаний.* 5) *Символ есть единство творчества содержаний познания.* 6) *Символ есть единство познания содержаний переживаний.* 7) *Символ есть единство познания в творчестве содержаний этого познания.* 8) *Символ есть единство познания в формах переживания.* 9) *Символ есть единство познания в формах познания.* 10) *Символ есть единство творчества в формах переживаний.* 11) *Символ есть единство в творчестве познавательных*

форм. 12) *Символ есть единство формы и содержания.* 13) *Символ раскрывается в эмблематических рядах познаний и творчеств.* 14) *Эти ряды суть эмблемы (символы в переносном смысле).* 15) *Символ познается в эмблемах и образных символах.* 16) *Действительность приближается к Символу в процессе познавательной или творческой символизации.* 17) *Символ становится действительностью в этом процессе.* 18) *Смысл познания и творчества в Символе.* 19) *Приближаясь к познанию всяческого смысла, мы наделяем всяческую форму и всяческое содержание символическим бытием.* 20) *Смысл нашего бытия раскрывается в иерархии символических дисциплин познания и творчества.* 21) *Система символизма есть эмблематика чистого смысла.* 22) *Такая система есть классификация познаний и творчеств, как соподчиненной иерархии символизаций.* 23) *Символ раскрывается в символизациях: там он и творится, и познается.*

Таковы предпосылки всякой теории творчества; Символ есть критерий ценности всякой метафизической, теософской и теургической символики.

Мы должны отличать понятие о Символе, как пределе всяческих познаний и творчества:

1) От самого Символа (Символ непознаваем, несотворим, всякое определение его условно)
2) От символического единства
3) От нормативного понятия о ценности
4) От методологического понятия о ценности
5) От образа Символа (Лик)
6) От центральных Символов религий
7) От символических образов наших переживаний
8) От художественных символов

Сам Символ конечно не символ; понятие о Символе, как и образ его, суть символы этого Символа; по отношению к ним он есть воплощение...

Итак:

Символ дается в символизме.

Символизм дается в символизациях.

Символизация дается в ряде символических образов.

Символ не понятие, как и символизм не понятие. Символ не метод, как и символизм не метод.

Если кто-нибудь скажет, что понимает этот коктэйль слов, я низко склонюсь перед ним. Такой человек будет уникум. Когда появилась статья «Эмблематика смысла», ее *никто не понял.* Литературоведческие статьи А. Белого в том же сборнике – «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Сравнительная морфология ритма русских лириков», «Лирика и эксперимент» цитировались многими, их находили научными, очень ценными и интересными. Об «Эмблематике смысла» с ее иероглифами никто не проронил ни слова. Эту невнятицу, подобно мне, никто не понимал. Читая Белого, Брюсов заносил на полях: «Что ни слово – то неясность. Что такое творческое преобразование действительности?» *Эмблематика смысла оказалась Эмблематикой Бессмыслия.* Белый утонул в своей теургической невнятице и двадцать три года спустя (в «Между двух революций») он старался найти всякие оправдания появлению в печати этой «Эмблематики». Он писал, что, если бы ему не были нужны деньги (сравните с тем, что он говорил мне!), он книгу бы не выпустил. Центральная статья «Эмблематика смысла» написалась в неделю и даже не выправлена – типография требовала (Sic! та же история, что и у меня!). Сборник «Символизм» – признает он – ворох кричащих противоречием статей, и тут-же прибавляет: «Это отражение бурно-мучительной личной жизни моей, разрушавшей тогдашнее творчество».

Без такой ссылки Белый обойтись, разумеется, не может. Сознавая негодность сборника, Белый все-таки пишет: «он выглядит неподнятым со дна континентом, которого отдельные пики торчат невысоко над водой».

Нет, ни один пик не торчит над водою. Весь символистический континент погребен. Гордая затея самого талантливого из символистов дать теорию теургического творчества и обосновать возможность для символистов словотворчеством

«преобразить жизнь» окончилась оглушительным крахом. После двухдневных речей А. Белого об «Эмблематике» я пришел к убеждению, что никакого жемчужного зерна в его теории нет. Впрочем, чтобы не обижать Белого, о том ему не сказал. К своей теории Белый в сущности никогда уже не возвращался, а когда позднее, например, в двадцатых годах, на его язык подвертывался термин «символ», он давал ему объяснение, от которого у слушателей трещала барабанная перепонка: «Символ есть измерение догмата; третья его глубина; ибо в символе догмат не круг, а спирально настроенный конус вращения».

Знаменательно, что в том же 1910 г., и почти одновременно с появлением в свет «Эмблематики смысла», выступил с эстетически-мистическим обоснованием символизма другой корифей теургического творчества А. Блок, в докладе о «Современном состоянии символизма», напечатанном в «Аполлоне» (апрель 1910 г.). Эта вещь – он считал ее своей лучшей статьей – в высокой степени для него характерна. Она нафарширована словечками вроде «лиловые миры», «золотой меч, пронизывающий пурпур», «Лучезарный Лик», «сине-лиловый мировой сумрак», «золотая нить зацветающих чудес» – словом, жаргоном, приводившим в томление и восхищение его поклонников мужеского и женского пола, видевших в этой вымученной дешевой словесности свидетельство о приобщении Блока к мирам иным и обладании им «тайного знания». Доклад Блока переполнен всякими мистическими штучками, а между тем, в это время Блок был дальше, чем когда либо, от всякой мистики. Он несомненно был двуличен, актерствовал. К этому корифею символизма именно в этот момент особенно применимы его же слова:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец.

Высмеивая доклад Блока, Мережковский своей статье (напечатанной в «Русском Слове» в сентябре 1910 г.) дал заголовок «Балаган и трагедия». Критика Мережковского не есть моя критика, но заголовок его я беру и говорю: мистически-эстетическое выступление Блока есть только «Балаган». Его вещания тождественны с бессмысленными речами мистиков, которых несколько лет перед этим он осмеял в своем «Балаганчике». И если для характеристики «теории символизма» важна «Эмблематика смысла» Белого, то не менее важна и статья Блока. Из нее обязательно нужно дать объемистые извлечения.

Теза: «ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире». Твори, что хочешь, ибо *этот мир принадлежит тебе.* «Пойми, пойми, все тайны в нас, в нас сумрак и рассвет» (Брюсов). «Я – бог таинственного мира, весь мир – в одних моих мечтах» (Сологуб). Ты – одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... Отсюда – мы: немногие знающие, символисты.

С того момента, когда в душах нескольких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается символизм, возникает школа...

... символист уже изначала – *теург,* то есть обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие; но на эту тайну, которая лишь впоследствии оказывается всемирной, он смотрит как на свою; он видит в ней клад, над которым расцветает цветок папоротника в июньскую полночь; и хочет сорвать в голубую полночь – «голубой цветок».

В лазури Чьего-то лучезарного взора пребывает теург; этот взор, как меч, пронзает все миры ...

Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров, разгорается ослепительно и пронзает сердце теурга. Уже начинает сквозить лицо среди небесных роз; различается голос; возникает *диалог,* подобный тому, который описан в «Трех свиданиях» Вл. Соловьева...

Таков конец «тезы». Начинается чудо одинокого преображения...

... как бы ощущая прикосновение чьих-то бесчисленных рук к своим плечам в лилово-пурпурном сумраке, который начинает просачиваться в золото, предвидя приближение каких-то огромных похорон, теург отвечает на призывы ...

Буря уже коснулась Лучезарного Лика, он *почти* воплощен, то есть – *Имя почти угадано.* Предусмотрено все, кроме одного: *мертвой точки торжества.* Это – самый сложный момент перехода от тезы к антитезе ...

Как-бы ревнуя одинокого теурга к Заревой ясности, некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес; лезвие лучезарного меча меркнет и перестает чувствоваться в сердце. Миры, которые были пронизаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак ...

Для этого момента характерна необыкновенная острота, яркость и разнообразие переживаний. В лиловом сумраке нахлынувших миров уже все полно соответствий, хотя их законы совершенно иные, чем прежде, потому что нет уже золотого меча. Теперь на фоне оглушительного вопля всего оркестра громче всего раздается восторженное рыдание: «Мир прекрасен, мир волшебен, ты свободен» ...

Золотой меч погас, лиловые миры хлынули мне в сердце. Океан – мое сердце, все в нем равно волшебно: я не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных миров ... я уже сделал собственную жизнь искусством, (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское *декадентство).* Жизнь стала искусством, я произвел заклинания и передо мною возникло наконец то, что я (лично) называю «*Незнакомкой*»: красавица кукла, синий призрак, земное чудо.

Это – венец антитезы... Скрипки хвалят его на своем языке.

Незнакомка ... Это – дьяволский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового ...

Это – создание искусства... Я стою перед созданием своего искусства и не знаю что делать ... что мне делать с этими мирами, что мне делать и с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со мной рядом *живет* мое создание – не живое, не мертвое, синий призрак ...

При таком положении дела и возникают вопросы о проклятии искусства, о «возвращении к жизни», об «общественном служении», о церкви, о «народе и интеллигенции». Это – совершенно естественное явление, конечно, лежащее в пределах символизма, ибо это – искание утраченного золотого меча, который вновь пронзит хаос, организует и усмирит бушующие лиловые миры.

Ценность этих исканий состоит в том, что они-то и обнаруживают с очевидностью *объективность и реальность* «тех миров»; здесь утверждается положительно, что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть «наши представления» ... В период этих исканий оценивается по существу *русская революция*, то есть она перестает восприниматься как *полуреальность*... в противовес суждению вульгарной критики о том, будто «нас захватила революция», мы противопоставляем обратное суждение: *революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачнения золота и торжества лилового сумерка, то есть тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах*[12]. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами...

В данный момент положение событий таково: мятеж лиловых миров стихает ... Лиловый сумрак рассеивается; открывается пустая равнина – душа, опустошенная пиром. Пустая, далекая равнина, а над нею – последнее предостережение – хвостатая звезда...

Реальность, описанная мною – единственная, которая для меня дает смысл жизни, миру и искусству. Либо существуют те миры, либо нет. Для тех, кто скажет «нет», мы остаемся просто «так себе декадентами», сочинителями невиданных ощущений ...

За себя лично я могу сказать, что у меня, если и была когда-нибудь, то окончательно пропала охота убеждать кого-либо в существовании того, что находится дальше и выше меня самого; осмелюсь прибавить кстати, что я покорнейше просил бы не тратить времени на непонимание моих стихов почтенную критику

[12] Подчеркнуто мною. – *Н. В.*

и публику, ибо стихи мои суть только подробное и последовательное описание того, о чем я говорю в этой статье ...

Если «да», то есть, если эти миры существуют, а все описанное могло произойти и произошло... то было бы странно видеть нас в ином состоянии, чем мы теперь находимся; нам предлагают: пей, веселись и призывай к жизни – а у нас лица обожжены и обезображены *лиловым* сумраком. Тем, кто величает нас «апостолами сна и смерти», позволительно задать вопрос, где они были в эпоху «тезы» и «антитезы»?... Имели они *эти* видения или нет, то есть символисты они или нет?

Символистом можно только родиться; отсюда все то внешнее и вульгарное мракобесие, которому предаются так называемые «реалисты», из всех сил старающиеся стать символистами. Старания эти настолько же понятны, насколько жалки. Солнце наивного реализма закатилось; *осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя*[13]. Оттого писатели даже с большими талантами не могут ничего поделать с искусством, если они не крещены «огнем и духом» символизма... быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа ...

Искусство есть *Ад* ... По бессчетным кругам Ада может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть спутник, учитель и руководительная мечта о Той, Которая поведет туда, куда не смеет войти и учитель.

Что же произошло с нами в период «антитезы»? *Отчего померк золотой меч, хлынули и смешались с этим миром лилово-синие миры, произведя* хаос, *соделав из жизни искусство, выслав синий призрак из недр своих и опустошив им душу* ...[14]

Поправимо или непоправимо то, что произошло с нами? К этому вопросу, в сущности, и сводится вопрос: «Быть или не быть русскому символизму?»...

---

[13] Подчеркнуто мною. – *Н. В.*

[14] Подчеркнуто мною. – *Н. В.*

Именно из того положения, в котором мы сейчас находимся, есть немало ужасных исходов. Так или иначе, лиловые миры захлестнули и Лермонтова, который бросился под пистолет своею волей, и Гоголя, который сжег себя самого, барахтаясь в лапах паука; еще выразительнее то, что произошло на наших глазах: безумие Врубеля, гибель Комиссаржевской; недаром так бывает с художниками сплошь и рядом, – ибо искусство есть чудовищный и блистательный Ад...

Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры. И когда гаснет золотой меч, протянутый прямо в сердце ему чьей-то Незримой Рукой – сквозь все многоцветные небеса и глухие воздухи миров иных, – тогда происходит смешение миров, и в глухую полночь искусства художник сходит с ума и гибнет...

Мы пережили безумие иных миров, преждевременно потребовав чуда; то же произошло ведь и с народной душой: она прежде срока потребовала чуда, и ее испепелили лиловые миры революции ...

Все мы как бы возведены были на высокую гору, откуда предстали нам царства мира в небывалом сиянии лилового заката; мы отдавались закату ... и бежали от подвига. Оттого так легко было броситься вслед за нами непосвященным; оттого заподозрен символизм ...

Или гибель в покорности, или подвиг мужественности. Золотой меч был дан для того, чтобы разить.

Подвиг мужественности должен начаться с *послушания*...

Мой вывод таков: путь к подвигу, которого требует наше служение, есть – прежде всего – ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диэта ...

Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью и оставаясь в жизни простым человеком.

Сергей Соловьев первый пустил в оборот словечко «невнятица», назвав именно Блока «чревовещателем невнятиц». В приведенных извлечениях чревовещание Блока выступает

во всей его непревзойденной красе. Гете говорил, что «коль скоро недочет в понятиях случится, их можно словом заменить». Фабрикуя теургическую теорию символизма, Блок так и поступает: у него слова при полном отсутствии какихлибо более или менее ясных понятий. Он заменяет их «лиловыми мирами», «помрачнением золота», «синими призраками» и т. д.[15]

Позднее (в 1921 г.), подцепив от Верлэна «de la musique avant toute chose», он будет столь же бессмысленно вертеть уже не лиловые миры, а на все лады слово «музыка». «[Римскую империю] сотрясали музыкальные бури», «музыка противоположна привычным для нас мелодиям об "истине, добре и красоте"», «цивилизация усердно гнала и преследовала дух музыки». «Музыка – это дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного уха», «хранителем духа музыки ... оказываются ... варварские массы», «мы отдаемся музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра» и т. д. (см. его «Крушение гуманизма»). Заметим, что Блок был абсолютно лишен музыкального слуха. Он не мог, как говорил о нем Белый, без фальши спеть даже «Чижик, чижик, где ты был». «Я до отчаяния – писал однажды Блок Белому – ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке,

[15] Г-жа А. В. Тыркова-Вильямс заметила, что «прозой Блок писал сбивчиво, местами путанно. Судя по его письмам и заметкам, *Блок сам себя не понимал*» (см. «Возрождение», 1955, книга 41). Сказано правильно, но слишком мягко. У меня вырываются немягкие слова, когда я читаю, например, следующее чревовещание Блока: «Всего существеннее, что фигура египтянина представляет треугольник, обращенный вершиной вниз, тогда как люди нашей эпохи похожи на треугольник, обращенный вершиной вверх. Значит (?), все телесные навыки, все самочувствие человека было другим. Как будто три с половиной тысячи лет назад человек рос из земли, расширяясь как цветок, мы суживаемся и испаряемся, заостряясь к небу. К этому присоединяется различие в климате, одежде и т. д.»

как об искусстве ни с какой стороны». В каком же смысле употреблял он слово «музыка»? Когда он произносит «музыка», у него это только очередная неразжеванная пустота. Но так как Блок был окружен лицами, преклонявшимися перед его невнятицами, видевшими в них «тайное знание» чего-то, Чуковский после его смерти писал: «Блок не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружающую его музыку мира».

Составленная не из ясных понятий, а из механического набора пустотой надутых слов, статья Блока о символизме нашла себе восторженного хвалителя в лице его биографа, мистически настроенного Мочульского (см. его «Александр Блок», Париж 1948). Неожиданного и удивительного в этом нет. Мочульский принимал Блока без малейшей критики, безоговорочно, совершенно так же, как, например, французские коммунисты inconditionnelement принимают все, идущее из Кремля. Статья Блока о символизме, по его словам, «быть может самое глубокое и исчерпывающее свидетельство о *новой духовности* символической эпохи». В выводах своих Блок сходится с А. Белым и Вячеславом Ивановым. Три поэта-мистика строят новое учение о мире, жизни и искусстве. Неустранимая предпосылка мировоззрения Блока – реальное знание «миров иных».

X
Брюсов и Эллис

По словам А. Белого – я (Валентинов) «живо относился к нему и Брюсову» и, благодаря мне, моим-то усилиям, и наладилась связь между «Весами» и «Столичным Утром», так что литературный материал газете поставляли сотрудники «Весов».

В редакции «Весов» я бывал неоднократно и, возможно, некоторые статьи сотрудников журнала, по их просьбе, однажды или дважды передал в «Столичное Утро». Это совсем не то, что пишет Белый. Он мне приписывает роль, которой я не играл. Мне приходилось встречаться с Сергеем Соловьевым, Балтрушайтисом, Ликиардопуло и другими сотрудниками «Весов», но, за исключением встреч с Сергеем Соловьевым, остальные были настолько мимолетны, что от них почти ничего в памяти не осталось. Из всего состава «Весов», кроме Белого, я, в сущности, хорошо знал только Брюсова и Эллиса (Л. Л. Кобылинского). Но, в отличие от Белого и Эллиса, о которых есть что̀ сказать, о Брюсове почти все уже сказано другими. Поэтому, за исключением некоторых штрихов и, кажется, теперь уже никому неизвестной истории его поэмы «Последний день», особо важного о нем сказать не могу. Но для меня знакомство с Брюсовым, между прочим, тем было интересно, что навзничь опрокинуло представление о нем, когда-то возникшее под впечатлением критики его первых стихов Влад. Соловьевым. На этом, может быть, и останавливаться не следовало-бы, но я все же хочу это сделать. Ведь в «вольных» записках меня никто не останавливает...

Одна из моих сестер несомненно обладала стихотворческим даром (ныне на старости, и «офранцузившись», его потеряла). Учителями ее в этом деле, кому она подражала, были, насколько помнится, Апухтин и, уже наверное, Надсон. В шестом классе реального училища учитель словесности

Штандель однажды предложил нам попробовать стихами изложить некоторые места из «Слова о полку Игореве». Я взял плач Ярославны и за в большом поте сотворенную композицию Штандель меня похвалил, а когда я мое «творение» показал сестре, та пожала плечами: это совсем убого, все рифмы глагольные. Неглагольные и самые сложные рифмы ей давались с поразительной легкостью и чуть ли не после каждой прогулки в березовой аллее Подъема (имение наших родителей в Тамбовской губернии) у нее появлялось новое стихотворение. Стихи ее нигде не печатались; в отличие от множества стихоплетов, она о том никогда не думала, писала только для себя, редко кому показывая написанное. Сосед по имению – студент военно-медицинской академии в Петербурге Федя Тавилдаров (сын профессора Технологического Института), узнав о поэтических упражнениях сестры, ей в поучение привез только что появившуюся в печати в «Вестнике Европы» (в 1895 году) критику Вл. Соловьевым символистической поэзии. Предметом критики был сборник первых стихов Брюсова, вышедший в 1894 г., под заголовком «Chefs d'oeuvre», заключавший в себе знаменитое стихотворение, состоящее из одной строки: «О закрой свои бледные ноги». Соловьев беспощадно высмеивал «шедевры» Брюсова. О его «влюбленных наядах», загражденных «ревнивыми досками», Соловьев писал: «Увлекаемый "полетом фантазии", автор засматривался в досчатые купальни, где купались лица женского пола, которых он называет "феями" и "наядами"».

Цитируя Брюсова –

Непонятные вазы
Огнем озаря,
Застыла заря
Над полетом фантазий,

Соловьев упрекает молодого человека за бесстыдное подглядывание купальщиц и объясняет, что то, что именуется

на символистском языке «непонятными вазами», в просторечьи называется шайками и употребляется в купальнях «для омовения ног». Разобрав и ряд других стихотворений, Соловьев вынес следующий приговор: «Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет (Брюсову тогда был 21 год. *Н. В.*), то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны».

В заключение Соловьев приложил к своей критике несколько пародий на символистскую поэзию, среди них следующую:

На небесах горят паникадила,
А снизу – тьма.
Ходила ты к нему, иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила,
В могиле – тьма.

Ядовитая критика Соловьева и его пародии (десять лет спустя им будет подражать Измайлов) произвели на сестер и на меня оглушительное впечатление: символизм был уничтожен. Мы смеялись до слез, когда Федя Тавилдаров, усевшись у рояля, грассируя, стал декламировать об ослах

терпенья и слонах раздумья под аккомпанимент им сочиненной какофонии. Пародию Соловьева потом подхватил один из посещавших наш дом офицеров епифанского полка Кургуев, подобрав к ней еще более дикий символистский аккомпанимент. Все это осело в памяти, и в течение долгого времени, когда я слышал имя Брюсова, всегда выплывал образ какого-то «декадентика», изможденного, с синяками под глазами, тонким, задыхающимся голоском декламирующего: «Ходила ты к нему, иль не ходила, скажи сама». Федя Тавилдаров уверял, что с внешней стороны Брюсов именно таков. Десять лет спустя, т. е. в 1905 г., будучи уже в Москве, но еще не видя Брюсова, я спросил одного его поклонника (графа М. М. Л.), правда ли, что «вождь символистов» (его так называли) с внешней стороны таков, каким его нарисовал когда-то Федя Тавилдаров. В ответ смех:

«Да ничего подобного! Брюсов не изможденный декадентик, а великолепный мужчина, пользующийся огромным успехом у женщин. У него десяток любовниц, это настоящий певец Астарты. Почитайте, что он говорит о себе в стихотворении, посвященном “Женщинам”:

О, эти руки, и груди, и губы,
Выгибы алчущих тел!
Вас обретал я и вами владел!
Все ваши тайны – то нежный, то грубый,
Властный, покорный – узнать я умел».

С Брюсовым я познакомился при посредстве Белого в 1907 г. Вместо «великолепного мужчины» увидел бородатого, скуластого человека, не имевшего ничего distingué, напоминавшего мне Ленина или Горького – тип волжского человека, где на антропологию славянина наложили неизгладимую печать татары, чуваши, черемисы, калмыки, башкиры и т. д. Если что и было в нем от «великолепного»,

то, пожалуй, глаза – умные, красивые. Но внутреннее содержание этого человека меня поразило, столь далеко оно было от того, чем (как мне представлялось) должен был быть изможденный декадентик, воспевающий «наяд». В день знакомства с ним я держал в руках только что вышедший перевод книги Эйкена «История и система средневекового миросозерцания». Брюсов начал говорить о ней, и сразу можно было понять, что о средневековьи, его людях, жизни, мыслях, обычаях говорит не диллетант, а человек, основательно знающий предмет. «Декадент» оказался ученым. Этот ученый виден и в его романе «Огненный ангел», проходившем из номера в номер в «Весах» в течение 1907 и 1908 гг. Представляя в нем картину религиозной мысли XVI века, отпадений от веры, оккультизма, мистики, схоластики, веры в дьяволов и ведьм, половых психозов на почве религиозности, разгула инквизиции, Брюсов произвел огромную предварительную работу изучения вопроса. Его роман сопровождает около 300 примечаний, с ссылками на латинские, немецкие и итальянские источники. Я, как многие, только от Брюсова впервые узнал, что «доктор Фауст» – не просто создание фантазии Гете, а имеет своим предшественником реальное существо – некоего Иоганна Фауста, жившего в первой половине XVI века и выдававшего себя за мага и чудотворца. В обрисовке этого шарлатана Брюсов опирался на ряд писателей и на первое жизнеописание Фауста, сделанное Шписсом еще в 1587 г.

Взгляд на Брюсова, как на писателя с навыками учености, с тягой к ученым методам и изучению, не исчез, а при дальнейшем знакомстве с ним еще более укрепился и навсегда у меня остался. Этим он выделялся из среды не только московских символистов, но и других писателей-модернистов того времени – в этом отношении с ним был схож только Вячеслав Иванов. Знания у него были обширные,

и, говорил ли он о французских символистах, Верхарне и Бельгии, старой Москве, астрономии, даже математике, каждый раз мне чувствовалось, что под этим не что-то нахватанное, а твердый фундамент. М. Цветаева, очень его не любившая, без всякого основания писала, что Брюсов был невероятно невежествен в области социальных и экономических вопросов. Эта область, когда я встречался с ним, его совсем не интересовала, но я узнал, что, переводя «Les villes tentaculaires» Верхарна, Брюсов для лучшего понимания Верхарна самым основательным образом изучил социальную и экономическую ситуацию Бельгии. В беседе со мною он даже указывал цифры роста городов, приблизительное соотношение между численностью бельгийских рабочих и крестьян, роста капитала крупной буржуазии. Не могу объяснить, почему стихи Брюсова меня совсем не притягивали (даже знакомиться с ними не испытывал большого желания), зато его переводы Верхарна меня восхищали. Когда я ему об этом сказал, он пожал плечами и холодно бросил характерную для него фразу: «На переводы некоторых стихов Верхарна я затратил целых девять лет. Не десяток раз, а десятки раз их переделывал, ища лучшей формы и лучшей передачи содержания».

Брюсов знал, что его поэзию кое-кто считает не созданной талантом, творческим даром, а добытой «потом». И в ответ вызывающе подчеркивал, что без затраты этого «пота», труда, изучения – нет культуры, нет отделки, нет совершенства. Не для самоснижения себя как поэта, а, наоборот, для возвеличения себя как поэта *культурного,* он называл себя тружеником – «волом», погоняющим мечту тяжелым кнутом:

Вперед, мечта, мой верный вол.
Неволей, если не охотой.
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай.

Он называл иногда А. Белого, Эллиса, Сергея Соловьева – своими «младшими товарищами» и один раз мне сказал:

«Младшие товарищи думают, что между прыжком на Воробьеву гору и оттуда к Петербургскому вокзалу, потом прыжок от Ходынки в Замоскворечье, можно присесть на минуточку где-нибудь в переулке Арбата и в десять минут сотворить совершенной формы и содержания поэму».

То был явный намек на А. Белого, в это время «духом» носившегося по Москве и, кстати сказать, жившего в Никольском переулке на Арбате.

«С младшими моими товарищами мне часто приходится спорить и расходиться. Мы все очень много говорим о культуре, но кое-кто среди нас забывает, что культура требует систематического умственного труда и ее нельзя свести к вспышкам вдохновения».

С младшими товарищами он временами расходился столь глубоко, что было странно видеть их всех под одной и той же крышей журнала. Он и они называли себя символистами, а что у них было общего, кроме любви к поэзии, к искусству?

В Белом, Эллисе, Соловьеве (особенно в двух первых) была большая загадочность. В Брюсове никакой. Он – позитивист, ученый, я прекрасно мог себе представить его профессором астрономии или истории. Младшие товарищи были экспансивны, взрывчаты, до крайности неожиданны в своих реакциях и заявлениях, Брюсов – властен, черств, сух, выдержан. Белый хорошо его изобразил:

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Горд, серьезен, строен, сух.

Если правда, как говорил Белый, что Брюсов очень большой поэт и «прирожденный знаток формы» (на этот счет не могу иметь суждения), то, мне кажется, он – ледяной,

холодный поэт. Младшие товарищи бесновались, все время играли, создавая из своей личности «художественную форму». Играл и «профессор» Брюсов, но только по особому – холодно, с расчетом, а с женщинами играл цинично, скверно. Его цель была – все «испытать», потому что это интересно и потому что «искусство должно все знать». Других символистов тянуло к мистике, – Брюсов для знания, забавы или из любопытства мог заниматься «оккультными науками», Кабаллой, черной мессой – но от мистики был бесконечно далек. Ни в Бога, ни в Дьявола, ни в какие «неколебимые истины» он не верил и был способен прославлять все, что угодно. Лучше, чем следующими его собственными словами нельзя, по-моему, охарактеризовать сущность его философского и художественного мировоззрения:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря и пристани
Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа и Дьявола
Хочу прославить я.

У Белого, у Сергея Соловьева, у Балтрушайтиса была тяга к общественности. У Брюсова – ни малейшей. Когда я ему сказал, что в рабочую среду нужно теперь идти с искусством, что его друг Верхарн дал великолепный пример того, что в этом направлении нужно делать, Брюсов пожал плечами:

«Если этим примером вы намекаете на необходимость или желательность моего участия в этом деле, немедленно скажу: нет. У меня другое дело. Я более склонен преподавать высшую поэтическую математику, чем политическую арифметику. А затем откровенно скажу: мы не Бельгия. В русскую

рабочую среду, вероятно, нужно идти с чем-то, что культурой, как я ее понимаю, не пахнет. Все остальное пока, и надолго, ей не по нутру, не по духу, не по уровню ее состояния. *Ей нужны речи и дары, других людей».*

Я сказал Брюсову: пусть, не обижаясь на меня, он позволит мне тоже откровенно ему сказать, что в устах культурного человека, как он, столь некультурные речи кажутся чудовищными. Спорить по этому поводу Брюсов не захотел; по его словам, у него и у меня были разные «термометры», «барометры», измерители, оценки социального и психологического состояния России. Тогда я спросил его – что толкало его за несколько лет перед тем писать фабричные и солдатские частушки, т. е. в сущности опускаться в среду, с которой он никакого дела иметь не хочет?

«Не понимаю, – ответил Брюсов, – вашего вопроса. Свободное художественное творчество имеет дело со всем, что слышно и видно, что чувствуется и может чувствоваться, что может появиться, а может не появиться, что приносит домысел, полет интуиции, прозрение, фантазия. На свете нет ничего более широкого, более всеобъемлющего, чем художественное творчество. В сравнении с ним другие проявления духовной жизни (религия, наука) узки. Почему, слыша, например, солдатские и фабричные частушки, я не могу подражать этому фольклору? Но отсюда не следует, что, подражая частушкам, я должен вложить в них некий наставительный смысл и с этой полезностью политического или нравственного характера идти в фабричную среду. Захочу – пойду, а захочу – и не пойду. Заветы школы Белинского превратить искусство в обязательную политическую педагогику от меня далеки. Искусство должно быть освобождено от всяких пут, только тогда оно может быть большим».

В понимании задач искусства Брюсов резко расходился с некоторыми младшими товарищами и, особенно, с А. Белым,

которого он явно не *любил*, так же, как тот, и еще более явно, не *любил* его, хотя *оба* эти чувства скрывали.

Для Брюсова символизм был *лишь* изобразительным методом – приемом, введением в художественное творчество особых образов, красок, аллегорий, намеков, а не как у Белого – религиозным мировоззрением, «преображающим жизнь», создающим «новые формы жизни». Будучи редактором «Весов», Брюсов допускал всякие проявления мистики, но ему в то же время было *«до тошноты отвратительно всасывание художественным творчеством мистического духа».*

Я со стенографической точностью передаю эти слышанные мною слова Брюсова. Вполне естественно, что, когда в 1910 г. беловско-блоковское трагически-мистическое обоснование символизма оказалось банкротом и «Аполлон» крикнул: «Долой мистицизм, да здравствует прекрасная ясность (Clarté)», Брюсов оказался на стороне «кларнетов».

«В нашем кругу декадентов – писал он Перцову – великий раскол: борьба "кларистов" с "мистиками". "Кларисты" это "Аполлон": Кузмин, Маковский и др. Мистики – это московский "Мусагет": Белый, В. Иванов, Соловьев и др. В сущности, возобновлен дряхлый, предряхлый спор о свободном искусстве и тенденции. "Кларисты" защищают ясность мысли, слога, образов, но это только форма, а в сущности, они защищают "поэзию, коей цель поэзия", как сказал старик Иван Сергеевич [Тургенев]. Мистики проповедуют "обновленный символизм", "мифотворчество" и тому подобное, а в сущности хотят, чтобы поэзия служила их христианству – была бы ancilla theologiae. Недавно у нас в "Свободной Эстетике" была великая баталия по этому поводу. Я, как вы догадываетесь, всей душой с "кларистами"».

Ссылаясь на это письмо, Мочульский в книге о Блоке замечает: «Последняя фраза удивительно характерна для Брюсова. Он был всеми признанным мэтром декадентства,

когда декаденты были в моде, потом стал “великим магом”, вождем символистов в эпоху господства этой школы, теперь он “всей душой с кларистами”. Он всегда “всей душой” с новым, сильным, побеждающим ...»

Замечание Мочульского принять нельзя. Кларистом и антимистиком Брюсов был, вероятно, всегда и уже, конечно, до появления всякого «кларизма» и «Аполлона». В этом случае никакого приспособления к «побеждающему сильному», как в эпоху Октябрьской революции, у него не было. Он остро ненавидел Вл. Соловьева и всё, что относится к нему. Вероятно, никогда не забывал экзекуцию, которой подвергся от Соловьева за свои Chefs d’oeuvre, за первые поэтические опыты. Через несколько дней после появления в «Весах» резкой статьи Белого о пустоте Блока, Брюсов с язвительной усмешкой сказал мне: «В течение многих лет Блок и Белый носились с соловьевской “Женой, облеченной в Солнце”. Они всех уверяли, что ее и видят, и слышат, а если я позволял себе в этом усомниться и говорил, что предпочитаю иметь дело просто с женщинами, а не с “Женами, облеченными в Солнце”, младшие товарищи выходили из себя, видели во мне непростительного циника. “Жену, облеченную в Солнце” Блок называл “Прекрасной Дамой”, и Белый утверждал, что блоковские произведения, насквозь проникнутые духом Соловьева, гениальны по силе его ощущения высшего, “Софийного” мира. Я с огромным удовольствием поместил в “Весах” статью Белого. Из нее обнаруживается, что святостью блоковская “Жена, облеченная в Солнце” ни в коем случае не обладала, и Белый теперь нам открыл, что она превратилась в проститутку. Трудно представить себе более скандальный конец истории “Прекрасной Дамы”. Увидите Белого – обязательно скажите ему, что в разговоре с вами я восхищался его любовью к правде и смелостью, с какой он разоблачил нам что такое “дама Блока”».

Отбрасывая сарказм Брюсова, я кое-что из его беседы со мною передал Белому. Он пришел в неистовое бешенство, топал ногами, кричал и плевался, комкал в руках носовой платок и в конце концов от злобы его разорвал.

«Вы не можете понять, куда бил своим рассказом Брюсов, я-то понимаю. Он не Блока, а меня изранить хотел. Он бил по моей вере. Меня от него отделяет стена. Я ненавижу его и боюсь. Он страшный человек. Я хочу света, он хочет тьмы. Из соловьевской философии встает лик Мадонны, Софии, Жены Облеченной в Солнце, а из брюсовского миросозерцания подымается богохульная, поганая, страшная Жена, восседающая на Звере багряном, с семью головами и десятью рогами. Знаете ли вы, что Брюсов однажды написал стихотворение об изнасиловании мертвой женщины, для проверки тайны Смерти? Знаете ли вы, что, злостно ненавидя Соловьева и бросая вызов нам, соловьевцам, Брюсов написал неслыханную по гнусности карикатуру на соловьевскую идею о конце истории, пришествии Христа и наступлении эпохи вселенской любви? Знаете ли вы, что, доводя до последней степени свое богохульство, он заявил, что Христово царство любви ознаменуется массовым коллективным совокуплением? Вот куда может дойти Брюсов. Я ненавижу его».

В доказательство своих слов Белый при одном свидании показал мне стихотворение Брюсова «Последний день». Без объяснений Белого я никогда бы не знал (думаю, что теперь никто уже об этом не знает), что это произведение Брюсова задумано было им как карикатура на идеи Соловьева и поэтому действительно до крайности цинично. Нет надобности приводить все 85 строк этого стихотворения. Нескольких цитат из него будет достаточно. Начинается оно словами, что мир, прославленный «поэтом» (Соловьев,

конечно, не называется), несомненно придет. И дальше в благовествующем тоне рисуется наступление царства Христа:

И вдруг все станет так понятно:
И жизнь земли, и голос рек,
И звезд магические пятна,
И золотой наставший век.

Восстанут новые пророки,
С святым сияньем вкруг волос,
Твердя, что совершились сроки
И чаянье всемирных грез!

И люди все, как сестры-братья,
Семья единого отца,
Протянут руки и объятья,
И будет радость без конца.

После умилительной картины всеобщего объединения в лоне единого отца и исполнения всемирных грез следует брюсовская расшифровка соловьевского видения: «Всходит омытое солнце любви».

Начнутся неистовства сонмов кипящих,
Пиры и веселья народов безумных.
Покорные тем же властительным чарам,
Веселые звери вмешаются в игры,
И девушки в пляске прильнут к ягуарам,
И будут с детьми как ровесники тигры.
Безмерные хоры и песен и криков
Как дымы, подымутся в небо глухое,
До Божьих подножий, до ангельских ликов, –
Мирам словословя блаженство земное.

Дыханьем, наконец, бессильно опьянев,
Где в зимнем блеске звезд, где в ярком летнем свете,
Возжаждут все любви – и взрослые, и дети –
И будут женщины искать мужчин, те – дев.

И все найдут себе кто друга, кто подругу,
И сил не будет им насытить страсть свою,
И с Севера на Юг и вновь на Север с Юга
Помчит великий вихрь единый стон: «люблю!»

Так за осмеяние его в 1895 г. Соловьевым отплатил Брюсов. Цензура, конечно, не разобравшись, о чем идет речь, стихотворение пропустила. Сам Брюсов, сообразив, что несколько «перехватил», о нем позднее старался не говорить, а соловьевцы дали себе слово не привлекать чье-либо внимание к напечатанному «богохульству».

С конца 1908 г. я перестал видеть Брюсова. Снова увидел его в 1912 г. Я работал тогда в «Русском Слове». Так как главный материал газеты – информация по телефону из Петербурга, телеграммы из-за границы и из провинции – поступал поздно вечером и ночью, весь состав редакции, все ее отделы, работали до двух с половиной часов ночи и даже позднее. И нередко, вместо того, чтобы ложиться спать, мы из редакции гурьбой шли в Литературно-Художественный Кружок съесть сандвич с икрой («бутерброд», как тогда говорили) и выпить пива или вина. Кружок ночью был открыт, там шла азартная игра в карты, приносившая большие доходы. Обычно нас с почетом встречал один из директоров Кружка, И. И. Попов, милейший человек с большим дефектом в произношении: букву «в» он произносил как «ф», а «д» как «т». Отсюда редактируемый им журнал «Женское Дело» – превращался в «Женское Тело», а сам он, сибиряк по рождению, становился плохо знающим русский язык немцем – «Ифан Ифанович Попоф»[16].

---

[16] Желая обратить внимание на удачно им сделанный номер «Женского Дела», И. И. Попов однажды спросил Иоллоса, одного из редакторов «Русских Ведомостей»: «Видели ли вы уже “Женское Тело”?» Тот с серьезным видом ответил: «Помилуйте, конечно, видел, ведь я давным давно женат».

Другим и, кажется, главным директором Кружка был В. Я. Брюсов. Он тоже (с «Русским Словом» все очень считались) подходил к пришедшим «русскословцам» с любезными словами. После отсутствия каких-либо встреч со мною в течение нескольких лет (я жил в то время в Киеве), Брюсов, в первый раз увидев меня среди пришедших, сказал, что рад возобновить со мною знакомство «в условиях отличных от 1907–1908 гг.». И пояснил: «Я ведь знал, не то от А. Белого, не то от Эллиса, что вы были тогда нелегальным человеком. По правде сказать, иногда побаивался ваших визитов в “Весы”. Весьма возможно, что за вами следила полиция, и я опасался, что могут прицепить нас к какому-нибудь делу, к которому ни я, ни “Весы” ни с какой стороны не имели и не могли иметь отношения». Что мог я ответить на это? «Напрасно вы мне о ваших страхах своевременно не сказали – в “Весы” я не стал бы заглядывать».

В последний раз мне с Брюсовым пришлось увидеться лет через пять-шесть после Октябрьской революции. В 1920 г. он вступил в коммунистическую партию, писал стихотворения в честь «Серпа и Молота», стал профессором Московского Университета, директором Высшего Литературно-Художественного Института имени Брюсова. Многих поразило вступление Брюсова в партию: это казалось невероятным, глубочайшим противоречием со всем его прошлым. Но я превосходно помню, хотя не мог бы дать тому объяснения, что меня это не поразило. Не лежала ли у меня где-то в подсознании мысль, что Брюсов действительно может прославить «и Господа и Дьявола»? Никак не могу вспомнить, когда состоялась моя последняя встреча с Брюсовым. Мне кажется, в 1923 г., до постановления ВЦИК'а, отметившего по случаю 50-летия Брюсова внесение им «ценного вклада в культуру своей родины». В учреждение, где служил Брюсов, я пришел вот по какому поводу. Один из моих знакомых,

живший в Моршанске, прислал мне объемистую тетрадь своих стихов, умоляя передать их лично в руки Брюсова. Такая передача, как он наивно думал, подкрепленная моей просьбой, позволит ему надеяться, что Брюсов, ставший в его представлении всемогущим, захочет их напечатать. По многим мотивам, мне хотелось что-нибудь сделать для автора стихов, ставшего несчастным калекой с парализованными ногами, потому-то я и пошел к Брюсову. Он принял меня с удивившей меня приветливостью, я бы сказал, с несвойственной ему мягкостью. В «Весах» он бывал подчеркнуто вежлив, но всегда крайне сух. Он обещал мне внимательно прочитать произведения «вашего протеже» и сделал не только это, а, как потом стало известно, отослал без моего посредства стихи их автору, сопроводив письмом с рядом критических замечаний. Изменившийся вид Брюсова мне сразу бросился в глаза. Осунувшееся, больное, желтоватое, похудевшее лицо с грустными, потухающими глазами. От прежнего «мага», и прежде прибегавшего к морфию, осталась тень. У Брюсова были не по голове узкие плечи, теперь они казались еще уже, и поношенный костюм был явно широк для его исхудавшего тела. Он извинился, что не может принять меня в своем кабинете, так как там происходит заседание. Поэтому мы сидели с ним на каком-то длинном столе – другой мебели не было в проходной комнате, и шмыгающие по ней люди мешали нам говорить. В то время, когда я рассказывал Брюсову об авторе стихов, к нему подошла какая-то партийная баба (другого выражения не нахожу) с наглым, командующим лицом, грязными, сальными волосами, во френче, уродски толстозадая, в брюках галифе. Грубо хлопнув Брюсова по колену, она рявкнула: «Ты, Брюсов, мое дело все-таки не двинул. Обещаешь, а кроме брехни ничего не получается».

Брюсов с страдальческим видом зажмурил глаза: «Делаю, что могу. Решение не от меня зависит».

Недовольная его ответом, партийная баба продолжала за что-то его шпынять. Дважды повторив, что делает все ему доступное, он замолчал. Сидел, не глядя на бабу, опустив глаза. Мне стало его жалко. Уходя, я сказал: «Вот, Валерий Яковлевич, мое преимущество перед вами, я, беспартийный, этой бабе не позволю говорить мне “ты”. Вы же, став партийным, такое обращение принуждены выносить. А между тем вас всего от ее хамства коробит».

Брюсов не промолвил ни слова. Больше я его не видел. Приблизительно через год он умер ...

* * *

С Эллисом (*Л. Л.* Кобылинским) я познакомился в 1906 г. Марина Цветаева, у родителей которой Эллис бывал и, как она говорит, царил «над двумя детскими», ее и сестры, восторженно называет его «гениальным человеком». У Андрея Белого, его ближайшего друга в течение многих лет, оценка Эллиса меняется в зависимости от настроения. То он пишет о нем: «несомненно талантлив и интересен Эллис», то заявляет: «все талантливое в себе он отдавал кончику языка, бездарное – кончику пера». Он был «возмутительным переводчиком, бездарным поэтом, публицистом только бойким, но почти *гениальным* в иных своих проявлениях».

Эллис незабываем и, как и А. Белый, неповторим. Этот странный человек с остро-зелеными глазами, белым мраморным лицом, неестественно черной, как будто лакированной, бородкой, ярко красными, «вампирными» губами, превращавший ночь в день, а день в ночь, живший в комнате всегда темной с опущенными шторами и свечами перед портретом Бодлэра, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал необычайные мифы,

вымыслы, был творцом всяких пародий и изумительным мимом. Он окончил Московский Университет, специализируясь, сколь это ни странно для будущего символиста, на изучении экономических доктрин. Проф. И. Х. Озеров, очень ценя экономические познания Эллиса, в частности его работу о Канкрине, хотел оставить Эллиса при университете, но в один прекрасный день тот ему заявил, что всю экономическую премудрость, полученную им в университете, он считает «хламом» и ценит ее меньше, чем самое маленькое стихотворение Бодлэра. Озеров называл Эллиса человеком, «ошеломляющим неожиданностью своих поступков и реакций». Эллис, говорил мне Озеров, мог бы быть превосходнейшим университетским преподавателем. У него был огромный дар увлекать аудиторию, привлекать ее внимание к тому или иному вопросу, но отнюдь не было исключено, что в середине лекции Эллис вдруг не заявит: «Ну вас всех к чорту, мне надоело говорить», и уйдет.

Белый утверждал, что Эллис «охватывался медиумизмом». «Помню – писал Белый – собрались у меня Балтрушайтис, Феофилактов, ряд других лиц; кто-кто сел за рояль, и Эллис тотчас пустился в быстрейшее заразительное верчение; не прошло и трех минут, все завертелись в пляске ... Однажды был съезд естествоиспытателей, группу ученых с научного заседания привезли в частный дом показать им пародии Эллиса; были седые профессора, только что заседавшие где-то, но не прошло и получаса, как все завертелись в дикой пляске».

При способности Белого все преувеличивать, нужно к его рассказу, вдобавок уродски изложенному, подойти с большими поправками, но вот уже подлинный факт мне хорошо известный (в несколько ином виде он упоминается и в мемуарах Белого). В одном московском загородном увеселительном заведении, в «Мавритании», на сцене подвизалась

пара танцоров. Эллис, ими недовольный, вскочил на сцену и, поучая танцоров, пустился в какой-то невиданный дикий пляс, настолько загипнотизировавший находившуюся в кабарэ публику, что та, сгрудившись у подмостков, неистовыми аплодисментами награждала Эллиса. Но он вдруг остановился, обвел всю публику долгим презрительным взглядом и крикнул: «Жалкие буржуа, мало же вам надо, чтобы придти в неистовство».

Слез с подмостков и, оставив кампанию, с которой приехал, сердитый ушел из кабарэ. Не знаю, называть ли это «медиумизмом», но неопровержимо одно: Эллис обладал способностью заражать, магнетизировать людей. Его пародии на то, как танцуют вальс большевик, меньшевик, эсэр, кадет, юнкер, паж, еврей, армянин, были столь выразительны, так комичны, что зрители надрывались со смеху. *Самого его смеющимся я никогда не видел.* Что Эллис был воистину сверхординарным мимом, в этом я убедился, и об этом стоит рассказать.

Однажды мы шли с ним ночью по Тверскому бульвару и встретили Алексеева, в прошлом врача, ставшего журналистом, подвизавшегося не в большой прессе, а во второстепенных журналах и изданиях, обычно погибавших от недостатка средств. В редактируемой им вечерней «левой» газете, называвшейся, насколько помню, «Столичной Молвой», в течение нескольких месяцев в 1906 г. участвовал и я. Писал для нее передовички. Привлекало меня к ней то обстоятельство, что она требовала минимальнейших затрат времени и напряжения. Без десяти минут в полдень приходил мальчик из редакции, я начинал писать, а в двенадцать все уже было кончено.

Алексеев любил говорить: «Валентинов – мой ученик, это гениальный человек. Мне нужно сорок строк передовицы, и эти сорок строк я получаю. Никогда ни больше, ни меньше.

Это гениальный человек. Зато я ему и плачу высочайший гонорар». «Сколько же вы ему платите?» – «Три копеечки строка». – «Вот так плата!» – «Очень высокая. Каждая передовичка ему дает 1 руб. 20 к. В месяц это дает 36 рублей, при затрате на все передовицы только пяти часов. Значит, час его работы я оплачиваю 7 р. 20 к., а за эту плату можно получить 14 хороших обедов в столовой Троицкой. Я знаю, на первое он возьмет ленивые щи, а на второе – осетрину с соусом из томатов».

Уснащенная подобными каламбурами, речь Алексеева отличалась еще и тем, что в нее постоянно в огромном количестве всовывались латинские словечки и изречения: fervet opus, ad hoc et ab hoc, exempli gratia, amicus humani generis, in médias res, и прочее и прочее, так и сыпались с его языка, вероятно, часто бессмысленно. Увидев меня с Эллисом, Алексеев, пустив что-то вроде quid novi arcades ambo спросил, что это мы делаем на бульваре. Познакомив его с Эллисом, я сказал, что, хотя очень поздно, спать нам все-таки не хочется, где-то хотелось бы еще посидеть, но денег у нас нет. Алексеев сознался, что денег у него тоже нет, но homo humani nihil alienum puto, и потому он приглашает к себе, живет он недалеко от бульвара и дома у него есть три бутылки пива и вишневая наливка. Ни Эллис, ни я любителями вина не были, к Алексееву пошли не за этим, а поболтать, убить время. Минут через десять после нашего прихода, Эллис, с какой-то особой внимательностью следивший за каждым движением Алексеева, мне шепнул: сейчас вам покажу маленькую трансформацию. То, что он показал, было удивительно, ничего подобного ни до этого, ни потом я никогда в жизни уже больше не видел. У Эллиса не было ни малейшего сходства с Алексеевым, и вдруг он стал на него поразительно похож. Щеки отвисли, глаза стали близорукими, губы шлепающими, плечи подняты, живот выпятился, руки стали короче,

и тем-же голосом, с теми же интонациями, как Алексеев, не подавая виду, что его копирует, Эллис начал закатывать длиннейшие латинские поговорки. Я стал смеяться, но скоро перестал. Мне стало не по себе. В этом превращении Эллиса в другого человека было какое-то дьяволово искусство. Один на другого совсем не был похож, и, несмотря на это, против Алексеева сидел другой Алексеев, какой-то астральный призрак его, какая-то сущность его, перебросившаяся в Эллиса. Алексеев довольно долго не обращал внимания на трансформацию Эллиса, потом начал вглядываться, сел против него, подпер подбородок рукою, задумчиво уставился в Эллиса и наконец промолвил: «Сукин сын, а ведь это я, тогда давай выпьем на ты». «Согласен, ответил Эллис, до ухода отсюда будем на ты». Мне рассказывали, что столь же изумительно Эллис копировал, например, проф. Хвостова, но он избегал частой демонстрации своего дьявольского искусства. Когда я как-то спросил, мог ли бы он сымитировать А. Белого, Эллис ответил, что это сделать легче легкого, но он не хочет этого по ряду важных причин (каких, не сказал) и в частности потому, что после таких сеансов миметизма у него в течение нескольких дней сильно болит голова, он чувствует что в него «*вошел другой человек*», и его «*изнутри* распирает».

Я указал, на какой почве началось мое сближение с А. Белым. Чем и как объяснить мои встречи с Эллисом? А в 1907 г. и первой половине 1908 г. мы виделись часто, и не я к нему шел (в меблированных комнатах «Дон», где он жил, я никогда не был), а он приходил ко мне, обычно в самый поздний час, что меня не смущало в то время – раньше двухтрех часов я спать не ложился. С чего же, по какому поводу началась «атака» меня Эллисом (а это действительно была атака)?

В присутствии Эллиса, в кафе Филиппова, я както сказал, что прочитал в оригинале «Цветы зла» Бодлэра

и меня поразила необыкновенная сила, красота, образность его стихов и их зловещее, порочное содержание. Я не знал тогда, что Эллис неистовый бодлэрианец. Отдельные вещи Бодлэра многие переводили: и Брюсов, и Бальмонт, и Мережковский, но, вероятно, никто из них так хорошо, как Эллис, не знал Бодлэра и, что уже можно сказать уверенно, никто из них, и вообще символистов, не был таким его поклонником. В 1907 г. вышел перевод дневника Бодлэра «Мое обнаженное сердце», в 1908 г. его перевод «Цветов зла», а в 1910 г. перевод бодлэровских стихотворений в прозе. Как только Эллис услышал, что я прочитал «Цветы зла», он весь превратился в обостренное внимание. «Что вас толкнуло на чтение Бодлэра, партийные социал-демократические заповеди ведь против этого: кроме того, поэзией вы не занимаетесь?» Я ответил, что поэзия действительно совсем не моя специальность, изучением ее не занимаюсь, но, следуя русской интеллигентской традиции, хотел бы знать все больше и разнообразнее, а потому нет ничего удивительного, что, слыша имена Ибсена, Роденбаха, Гамсуна или Бодлэра, берусь в свободные минуты за их сочинения; если они мне нравятся, углубляюсь в них, а если нет, просто откидываю.

«Худо, что за Бодлэра хотите взяться *только в свободные минуты.* Знать Бодлэра обязательно, необходимо именно людям революционного лагеря, хотя марксисты этого не понимают. Известно ли вам, что Бодлэр – самый большой революционер XIX века и перед ним Марксы, Энгельсы, Бакунины и прочая сотворенная ими братия просто ничто?»

Замечание Эллиса вызвало у меня смех, явно задевший Эллиса, так как именно после этого, с целью просветить меня «бодлэризмом» и доказать революционность Бодлэра, и начались его визиты ко мне. Чтобы лучше показать, чем, с присущей ему неистовой агитаторской страстью, угощал меня Эллис, будет уместно следующее маленькое предисловие.

В марте 1955 г. в Парижской Сорбонне г-н Руфф защищал тезу «Дух Зла и бодлэровская эстетика». Я не был на этой защите, но мог судить о ней по большому и обстоятельному отчету г-жи Пиатье в газете «Le Monde». Она отмечает, что амфитеатр был переполнен публикой, для нее Бодлэр, магнетически к себе притягивавший, был, очевидно, кем-то ее волнующим. Ей обещали представить Бодлэра в отчаянной борьбе с «Духом Зла», и г-н Руфф это обещание выполнил с огромным знанием вопроса и с особой интерпретацией Бодлэра. Идея Зла, по его словам, стоит «в центре революции», в конце XIX века сделавшей из поэзии не искусство писать стихи, а манеру жизни, средство спасения, ответ на мучительную проблему о человеческой судьбе. От Бодлэра пошла литература, полная бунтовства, мятежа, сарказма, богохульства. Идея Зла всегда мучила человека, но только позднее она делается принципом эстетическим и через романтизм появляется у Бодлэра и его последователей. Гложущая Бодлэра идея Зла, болезненными цветами выступающая в его произведениях, имеет метафизический и религиозный характер. В «Цветах зла» видели только безнравственность, тогда как, по мнению Руффа, нет другого произведения с большим моральным значением и столь глубокой религиозностью, опирающейся на окрашенный янсенизмом католицизм. Взгляд на Бодлэра, как на поэта католического, давно существует, но г-жа Пиатье находит, что до Руффа никто это не доказывал с такой силою и настойчивостью. В его тезе она видит нечто новое.

Должен сказать, что, прочитав отчет в «Le Monde» о диссертации Руффа, а потом его только что появившуюся книгу «Baudelaire: l'homme et l'oeuvre», я, к большому моему удивлению, не нашел в них *абсолютно ничего нового* в сравнении с тем, что слышал от Эллиса почти пятьдесят лет назад. Я нахожу, что ко всей проблеме, поставленной Бодлэром,

Эллис подходил интереснее и с гораздо большим размахом. Проблема социального зла (угнетения, эксплоатации) ему представлялась более узкой, чем проблема зла вообще, той в разных формах порочности, греховности, которая присуща всем людям, к каким бы классам и группам они ни принадлежали. В этом смысле борьба с Духом Зла представлялась ему неизмеримо труднее, и потому революционнее, борьбы со злом только в области социальной. Когда я заметил Эллису, что подобной борьбой с Духом Зла занимается по обязанности службы любой деревенский попик, читающий воскресные проповеди на тему «не прелюбы сотвори», «не убий» и пр., Эллис стал пылко доказывать, что никогда никто до Бодлэра не представлял Зло в виде «Цветов», в таких увлекательных эстетических формах, потому-то преодоление именно этого притягивающего зла, уход от него, и ставит проблему о громадной силе воли. Для социалистов, говорил Эллис, не понимающих Бодлэра, так же как для многих буржуа, «Цветы зла» лишь сборник картин порока и всяческих извращений человеческой природы. Они не видят, что в эту «жестокую книгу», манифестацию зла и страданий Бодлэр вложил, по его словам, «все свое сердце, всю нежность, всю свою спрятанную религию и всю свою ненависть». Ненавистью к Духу Зла – Сатане – и стремлением к «бесконечности», к высшей красоте проникнуты произведения Бодлэра.

Мне пришлось уже указывать, что, когда А. Белый в годы моих с ним встреч еще симпатизировал Марксу, он все же находил, что в сравнении, например, с Вл. Соловьевым Маркс «косноязычен». Утверждая, как идеал, бесклассовое общество равных свободных людей, Маркс не договорил последнего слова такого общества: Высшим Добром, логическим завершением, полным заключительным духовным проявлением бесклассового общества может быть и должна

быть вселенская любовь, иными словами, заповедь Христа – любить ближнего как самого себя. Сверх этого уже ничего большего сказать нельзя. Эллис тоже находил, что Маркс не знал Высшего Добра, но у него был и другой основной дефект. Маркс игнорировал, не понимал и значение Высшего Зла, глубокой испорченности человеческой натуры, ее порочности, которая не исчерпывается социального характера пороками и совсем не уничтожается социализацией средств производства и уничтожением социального неравенства. Высшее Добро инспирируется Богом, другой полюс – Высшее Зло, Дух Зла идет от Сатаны. Маркс ни Бога, ни Сатаны не знал, а человека, не знающего этих глубочайших крайностей, заключал Эллис, большим революционером он считать никак не может.

Комментируя Бодлэра, Эллис иллюстрировал его мысли чтением соответствующих стихов. Не знаю, приходилось ли Эллису читать стихи Бодлэра в большом обществе. Не думаю. Ведь если чтение Белого с подпрыгиваниями и завываниями разными голосами вызывало смех, декламация Эллиса, будь она такой, какой я ее слушал, с той же жестикуляцией, вероятно, привела бы к взрыву хохота, недоумению или какому-нибудь скандалу. Помню Эллиса, когда он читал мне, например, строфы из «La Destruction» о Демоне:

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
Il nage autour de moi comme un air impalpable.
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir étemel et coupable.

Зеленые глаза Эллиса загорались зловещим выражением. Он действительно превращался в какого-то демона. Всем телом, жестами показывал, как этот демон влезает в него, сжигает легкие и, сотрясая всего его, вызывает в нем преступные

желания. Не могу забыть декламацию Эллисом и другого, уже эротического, стихотворения Бодлэра – «Chanson d'après midi»:

Tes hanches sont amoureuses
De ton dos et de tes seins,
Et tu ravis les coussins
Par tes poses langoureuses.

Quelquefois pour apaiser
Ta rage mystérieuse,
Tu prodigues, sérieuse,
La morsure et le baiser;

Tu me déchires, ma brune,
Avec un rire moqueur,
Et puis tu mets sur mon coeur
Ton oeil doux comme la lune.

Позы, которые Эллис принимал при этой декламации, неописуемы, его вампирные губы изображали сладострастие, тогда как корпус то извивался, то превращался в какую-то фигуру египетских барельефов со странно повернутой головой и горящими глазами. Все подобные трюки (это все тот-же «воздух символистов») меня *очень занимали*, и, заметив это, Эллис пошел дальше. Куда? А. Белый в «Начале века» рассказывает, что однажды Эллис, вообразив себя оккультистом, с такой потрясающей яркостью изобразил жизнь мифической Атлантиды, что его взяла оторопь. Да, могу подтвердить, что в творчестве подобного рода Эллис был величайшим мастером. Соединяя пропаганду бодлэризма со стремлением к «бесконечности», его «aspiration à l'infini» с оккультизмом, он стал меня угощать великолепными вымыслами, в которых в фантастическом уборе, в беспорядке переплетались касания к мирам иным, демонические полеты в бездну, разные «paradis artificiels», Смерть и Любовь, Грех

и Красота. То не были словотворческие полеты А. Белого, то был другой артистический жанр, заинтересовавший меня уже тем, что хотелось узнать, до какого конца, до каких же пределов можно дойти, тренируя мысль в эллисовском направлении. Всегда хочется узнать то, что есть в другом и чего нет в тебе. Кроме того – многое, что проделывали символисты, для меня было всегда развлечением, «представлением», театром, своего рода commedia dell'arte.

В начале подобных представлений я не давал Эллису повода думать, что вижу в нем ловкого престидижитатора, оперирующего разными мифами. Но потом эти сеансы, слишком частые, происходившие обычно в ночное время и мешавшие мне работать для заработка, начали мне уже надоедать. К тому же я заметил, что Эллис стал на меня смотреть не как на «слушателя», «постороннего зрителя», а почти как на своего единомышленника, сообщника, компаньона в прогулках по мирам иным. Я решил тогда сие недоразумение рассеять и сделал это в одном из «сеансов», когда Эллис вздумал мне символистически изобразить путь в Вечность. Передать нарисованную им картину «нашего» (т. е. его и меня) шествия по коридору Вечности я абсолютно не способен. Рисовалась тьма, неведомо откуда появляющиеся таинственные серо-желтые, рыже-черные пятна, подобно каким-то птицам, бьющимся о зеркально отсвечивающие стены «коридора». Мы идем, идем, путь бесконечен. То затухающие, то вспыхивающие огни то сбоку от нас, то под нами, то над нашей головой. Серый мрак сгущается. Конца коридору не видно. Его нет и не может быть. И в этом «нет» в бесконечной дали есть что-то страшное, неизвестное, томящее. И не что-то, а может быть кто-то.

«Смотрите, смотрите вглубь коридора, вы видите – там что-то, кто-то мелькает?» с волнением спрашивает Эллис в медиумическом трансе.

«Да, вижу».

«Кто там?» вопит Эллис.

«Не кричите! За стеною спит жена, не нужно ее будить».

Эллис нагибается ко мне, шипит:

«Говорите: что там? кто там?»

Еле удерживаясь от смеха, серьезно отвечаю:

«Там Лев Львович Кобылинский-Эллис. А в конце коридора ни черта нет. И коридора нет. Это очередная выдумка милейшего Эллиса для детей семилетнего возраста».

Эллис отлетает от меня, молчит, режет злым блеском зеленых глаз и наконец изрекает: «Вы пошляк.»

Я не обижаюсь.

Долго ходит мрачный по комнате, потом смотрит на часы.

«Сейчас четверть четвертого (ночи, конечно – *Н. В.*). Я у вас уже более трех часов, до сих пор вы не догадались предложить мне кофе».

Варить кофе ночью в квартире, в которой мы с женою занимали лишь половину, было не совсем удобно, все же спускаюсь в кухню, стараясь не стучать, никого не будить, зажигаю керосинку (газа тогда не было), кипячу воду, Эллис над головой шагает и стучит, потом с грохотом по лестнице скатывается в кухню: У меня в руках банка с кофе Эйнем. Спрашиваю: сколько стаканов он будет пить? «Три». «Три ложки кофе на это достаточно?» Эллис кладет руку на банку. «Спрячьте ее. Если скупитесь, тогда мне кофе не нужно».

«Не говорите чепуху. Просто скажите, сколько ложек кофе нужно положить?»

– «Девять до-верху полных».

– «Да вы умрете после такого доппинга».

– «Не умру».

– «В таком случае извольте – кладу 10 ложек».

Получается какая-то кофейная гуща, но Эллис, обжигаясь, выпивает залпом два стакана этого кофейного вара, без единого куска сахару. В третий стакан кладет сахару столько, что получается сироп такой густой, что в нем ложка стоит. Поедает все сахарное и кофейное содержание стакана, потом надевает свой котелок, каким-то особым жестом подымает воротник пальто, подкидывает тросточку подмышку и около четырех часов ночи меня покидает[17].

В 1913 г., в кафе на берегу Золотого Рога в Константинополе, мы с женою пили кофе, приготовленный «по-турецки». От него сердце билось, как испуганная птица в клетке. И вспоминался Эллис. Просто непонятно, как он не лопнул после трех больших стаканов крепчайшего навара из кофе. В 1913 г. Эллиса уже не было в России. После временного увлечения антропософией, сделав все логические, психологические и религиозные выводы из бодлэризма, Эллис стал католическим священником в Германии, а позднее вступил в орден иезуитов, что тоже согласовалось с Бодлэром, – несколько раз писавшего о своей симпатии к иезуитам. Если верить Белому, идеалом Эллиса стал Игнатий Лойола. Жизненный путь Эллиса оказался далеким от стези других символистов (кроме Сергея Соловьева, ставшего православным священником) и много оригинальнее, последовательнее, чем путь, например, того же Белого. Когда я начал составлять запись о моих встречах с московскими символистами, я думал

[17] Идеалом Бодлэра был «дэндизм» («dandisme»). «Дэнди – высшее существо, жить и спать должен перед зеркалом». Внутреннему содержанию дэндизма должна соответствовать особая, подходящая к нему эстетическая внешность. Бодлэр ее имел: костюм, жилет, галстук, манжеты, шляпа, белье, тросточка – все у него было особенное. Эллис и в этом отношении хотел следовать за Бодлэром, но при ничтожных заработках (он часто голодал) поддерживать внешность дэнди ему было трудно. В начале 1909 г. – я видел его тогда в последний раз – у него был трагический вид облезлого дэнди.

(и так меня уверяли), что Эллис еще жив. Я искал его адрес, непременно хотел послать ему то, что напишу о нем, но из письма А. А. Тургеневой («Аси» Белого) узнал, что Эллис умер в 1953 г. Он пережил всех символистов – Брюсова, Белого, Соловьева, Блока, Мережковского, Гиппиус. Крайне интересно было бы знать о последних годах жизни этого, ни на кого не похожего человека.

После иронического отношения, проявленного мною к путешествию по «коридору Вечности», Эллис бросил вести со мною эзотерические сеансы. Встречаться со мною не перестал, но стал делать это реже, чем прежде, и разговоры его со мною приняли другой, я бы сказал более позитивный, характер. Некоторые из них я хочу непременно передать.

А. Белый в берлинской «Эпопее» (в 1922 г.), чувствуя себя еще свободным, писал, что в девятисотых годах он, Эллис и Петровский склонялись к меньшевикам, С. Соловьев к эсэрам, Сизов и Киселев к анархистам. Петровского не помню, даже не знаю, был ли с ним знаком, и мне неведомо, к чему он склонялся. Что касается Белого, то, несомненно, что под моим влиянием он в какой-то момент и в некоей степени «меньшевичил». Иначе обстоит дело с Эллисом. Уже при первых встречах с ним в 1906 г. я мог заметить, насколько он далек не только от меньшевизма, но и от социал-демократии и марксизма вообще. А. Белый, постоянно себя «перевиравший», в одном из своих мемуаров, – в тот момент это ему было нужно – презрительно называет мифом рассказ о том, что Эллис был марксистом и знал марксизм. В других мемуарах («На рубеже двух столетий»), наоборот, уверяет, что Эллис был «образованным экономистом, зубы проевшим на Марксе». Верно, что Эллис получил в Университете солидное экономическое образование и если и не «проел зубы» на марксизме, то его знал ... Здесь не может быть никакого сравнения с Белым, хотя тот, в советское время, подлизываясь

к власти, уверял, что издавна знаком с серьезной марксистской литературой. О знании Эллисом марксизма я мог убедиться потому, что однажды – не помню уже по какому поводу – он умело, с знанием дела провел параллель между экономической теорией Маркса и Родбертуса. Но, познакомившись с марксизмом, Эллис отряхнул его от себя и не просто, а с великой ненавистью, ибо марксизм, по его мнению, был проникнут идеей детерминизма, а ее Эллис ненавидел и вслед за Бодлэром называл *«язычеством идиотов»*.

«Тыкайте детерминизм в физику и химию, но не смейте его утверждать в качестве непреодолимого закона в жизни человеческой, в социальной области. В этой области детерминизм становится гнуснейшей преградой для свободы вообще, свободы выбора между добром и злом».

«Скажите, пожалуйста – тогда же спросил меня Эллис – называя себя социалистом, вы конечно, разумеете под этим нечто по Бебелю: уничтожение классов, социальное равенство, торжество свободы и справедливости, прекращение войн, братство народов и прочее в том же духе?»

«Оставим Бебеля в покое, в его знаменитой книге излишек всяких наивностей, но во все остальное, что вы перечислили, и в возможность когда-нибудь его осуществления – как бы это ни было трудно – я верю. Если бы не верил, социалистом бы себя не называл. Это идеал, а какой *иной и больший идеал* вы можете представить?»

Не отвечая на вопрос, Эллис продолжал меня «допрашивать»:

«Вы верите, что социализм, как вы его понимаете, наступит после крушения капитализма и именно так, как это крушение изображает марксизм?»

«Как это произойдет, о том никто ничего определенного не знает и не может знать, предел человеческого предвидения ограничен. Одно только можно сказать уверенно:

наступление социализма может быть не при капитализме, а когда-то *после капитализма,* после ухода от него, преодоления его.

«А вот я, известный вам Лев Львович Эллис, заявляю, что в это не верю. Ваша вера основана на оптимистическом детерминизме, а его я не принимаю и не могу принять. Возможность крушения капитализма, разумеется, не отрицаю. Эта дрянь никакой нравственной санкции не имеет. Я даже думаю, что крушение вонючего "рассейского" капитализма Рябушинских *раньше всего произойдет у нас в России,* но следующий за этим общественный строй нужно остерегаться называть социализмом в вашем смысле. Пока другого названия не изобретено, нужно говорить: *строй после капитализма. И только.* Больше ничего, и этот неизвестный строй, конечно, не следует изображать розовыми красками. Крушение капитализма – крушение только прежних форм собственности, отнюдь не уничтожение Духа Зла, глубочайше заложенного в человеческой природе, присущего всем социальным группам и классам. Строй после капитализма под воздействием этого Духа Зла может быть гнуснейшим, буро-желто-черным, отвратительным до последней степени, *гораздо худшим чем при капитализме.* Хотите, я вам его изображу, у вас кишки выпадут от страха»[18].

---

[18] Рассуждения Эллиса несомненно опирались на взгляды Бодлэра. «Теория настоящей цивилизации – писал Бодлэр в "Моем обнаженном сердце" – не в газе и в силе пара, а в уменьшении черт первородного греха. Прогресс мыслим *лишь* как акт моральный. Все остальные формы прогресса – модернистские ереси. Только свобода выбора между злом и добром определяет индивидуальный прогресс, и когда все индивидуумы начнут в этом смысле прогрессировать, тогда, и только тогда, человечество вступит на настоящий путь прогресса».

«Нет, спасибо! Я ведь знаю, что вы специалист по части пророчеств самого черного цвета. У вас перед глазами всегда только ужасы, “цветы зла”, падения в пропасть. Вы можете – это же легко! – нарисовать такие картинки будущего, перед которыми детским рисуночком покажется “Зеркало социализма” немецкого архиреакционера Евгения Рихтера. Меня от вас ров отделяет: я оптимист и буду таким, а для вас, совершенно так же как для Андрея Белого, оптимистический детерминизм есть гнусность. Манипулируя мистико-апокалиптической тезой, заимствованной у Соловьева, Белый мне авторитетно разъяснял, что после “взрыва капитализма” может наступить не царство Христа, а царство Антихриста. Это та же дудка, что и у вас. Я устал ее слушать. Вы какие-то смертерадостные упокойнички, если выразиться словами Сологуба».

«Qui vivra verra», ответил Эллис. И прибавил: «От того, что может произойти, только молитва спасет».

«Молитесь, Эллис, – сказал я иронически, – и да поможет вам в этом Бог!»

Устремив на меня свои загадочные зеленые глаза, Эллис промолвил:

«Да, буду молиться».

Очень хотел бы узнать, о чем молился Эллис, став католическим священником. Если он умер в 1953 г., значит, он должен был знать все, что произошло «после крушения капитализма» в России. Правда ли, как утверждает Белый, что, вступив в орден иезуитов, став поклонником Игнатия Лойолы, Эллис был «готов предать всю современность святому костру инквизиции». Мой разговор с ним происходил в 1908 г., теперь в 1956 г. я не мог бы повторить целиком мои ему возражения. Теперь-то ясно, что «после капитализма», после уничтожения прежних форм собственности и «социализации производства», действительно может произойти

совсем не то, в чем мы видели социализм. В словах Эллиса было какое-то вещее ядро. В отличие от А. Белого, А. Блока, Г. Чулкова и других предсказывателей и в то же время певцов грядущей катастрофы, у Эллиса не было этого приятия катастрофы, хотя возможность ее он остро угадывал.

Характеризуя Эллиса, как «адепта католического аскетизма, линии брегелевских кошмаров, кощунств с Notre Dame и цинического дэндизма Бодлэра», тот же Белый указывает, что в течение 1902–1907 гг. Эллис был «бодлэрианцем», а в 1908 г. стал «брюсовцем». Что это значит? Вплоть до моего отъезда из Москвы (в начале 1909 г.) я знал Эллиса только как бодлэрианца и никогда не слышал от него, что он изменил свои воззрения. В 1910 г. вышла его книга стихов «Stigmata» и книга с очерками литературных физиономий Бальмонта, Брюсова и А. Белого. В это время я уже настолько перестал интересоваться «воздухом символистов» и всей его литературой, что в книгу Эллиса даже не заглянул. Возможно, что там было объяснение, почему Белый счел возможным назвать Эллиса брюсовцем, но ответ на это, мне думается, нужно искать в следующем разговоре с Эллисом. Я сказал ему, что после накачивания меня Белым никуда негодной теорией символизма («Эмблематикой смысла») я все более прихожу к убеждению, что под символизмом нет никакой теоретической опоры; мировоззрением, претендующим на какую-то ведущую роль, он ни с какой стороны быть не может, он в значительной степени невнятица, пустоцвет, и в конце концов я не знаю, что это за заслуги, которыми так гордятся символисты, корчащие из себя сверхчеловеков и теургов. Соловьев, которому я первому об этом сказал, на меня просто озлобился. Эллис сначала заявил, что, так как из меня «выпирает позитивизм и материализм» и я слишком грубо отношусь к литературе, ему трудно объяснить мне, в чем великое значение русского символизма. Но потом агитаторская

страсть Эллиса взяла все-таки верх и специально для меня, позитивиста, он решил самыми «простыми» словами показать, в чем заслуги русского символизма, оказанные им за самое короткое время. Приблизительно вот что я от него услышал:

Мы – символисты – являемся якобинцами в русской литературе. Аристократический якобинизм – основной дух, например, журнала «Весы». Террористическими ударами по головам мы освободили русскую поэзию и литературу от опутывающих ее всяких оков и от полного погружения в тину бытового маразма. Вы постоянно твердите, что нужно повернуться всем лицом к Европе. И до сих пор вы не поняли, не заметили, что именно мы, символисты и открыли дорогу прихода к нам Европы – появлению у нас Ибсена, Бодлэра, Ницше, Верлена, Маллармэ, Э. По, Уитмана, д'Аннунцио, Гамсуна, Верхарна, Роденбаха, Стриндберга, Метерлинка и множества других. Без этого, без нас вы, господа, не знали бы, что есть другое искусство, отличное от отечественной похлебки, которой вас кормили. Без нас, московских и петербургских символистов, вы по сей день считали бы, что Альбовы, Мачтеты, Потапенки, Щепкины-Куперник, Боборыкины, романы «Нивы» и особенно сборники «Знания» есть великая литература. Мы открыли вам глаза на величие Врубеля и прочистили уши, чтобы вы поняли музыку Скрябина. Без этого вы попрежнему считали бы гениальными художниками К. Маковского и Ярошенко и шедевром умилительную картиночку «Не ждали», изображающую некоего товарища, возвращающегося из сибирской ссылки к «не ожидающим» его мамаше, жене и детишкам. Если бы мы террористически не били по головам, вы все, в дополнение к марксизму, эсэрству, всякому слащавому народничеству и радикализму, вместе с Горьким «гордо и смело» тянули бы песнь о соколе, и вам всем казалось бы, что вы обретаетесь на облаках высокого искусства. Смотрите, вот я становлюсь на колени, крещусь, хлопаю лбом об пол и возглашаю: Благодарю тебя, Господи, что, хотя и с большим опозданием, Ты послал нам Государственную Думу! Из этого паршивенького места можно теперь всей России

объяснять решение аграрного вопроса, агитировать об увеличении платы портнихам и железнодорожникам, разбирать роспись государственных доходов. А если бы такого места не было, российская общественность попрежнему продолжала бы требовать, чтоб Брюсов писал стихи о наделении крестьян землею, Мережковский занимался бюджетом нефтяных рабочих, а Скрябин обязательно слагал симфонию на тему «Что ты спишь, мужичек». Объявляя войну идеям Писарева и всякой писаревщине, мы, символисты, провозгласили право художественного творчества быть абсолютно свободным от всякого подчинения всем прокламациям. Смазной сапог обязательно должен быть на всех ногах, ныне носящих лапти, но не обязывайте поэзию поучать, как нужно ставить подметки у этого сапога, и в водружении его на всех ногах видеть всю цель искусства. Мы объявили художество свободным от всех оков, от идеи пользы, от всех морализирующих запрещений. Для искусства нет ничего запретного, оно абсолютно свободно, оно может заниматься решительно всем, что его интересует – и адом, и раем, и в довершение к этой свободе символисты принесли новые формы художественного творчества, поднимающие его на высокую ступень совершенства. Поняли ли вы теперь значение русского символизма?

Этот «залп» Эллиса (я передаю его в сокращенном виде) несомненно полон духом Брюсова. В 1908 г. Эллис, вероятно, более, чем когда-либо, видел в Брюсове великого поэта, но брюсовство его все же не в этом, а в том, что он примкнул к его основной идее «чистого искусства», «искусства для искусства». В этом отношении он разошелся не только с А. Белым, для которого смысл искусства в «преображении жизни», но и с самим Боддэром, требовавшим «моральной полезности искусства» и отвергавшим культ искусства ради искусства.

Нет надобности передавать мои возражения Эллису. Будет уместнее указать, что, когда я поставил вопрос: кого же в качестве очень больших художников выдвинул русский

символизм, Эллис, отвечая на это, между прочим указал на «орленка Белого, у которого все данные превратиться в орла». В связи с этой характеристикой и возник далеко не лишенный интереса разговор о Белом.

«Вы – давний друг Белого, – сказал я Эллису, – знаете его лучше, чем я. Мне многое в нем непонятно, попробуйте, если можете, мне это объяснить. У А. Белого, видимо, большие знания, но когда же он их приобретает, раз весь день его проходит на людях: то читает лекции, то бегает по знакомым, то принимает их у себя. И другое: откуда у него столько противоречий? Ведь часто бывает, что, написав о какой-нибудь книге рецензию или статью и расхвалив ее, Белый через неделю или две в разговоре дает совершенно иной отзыв, притом такой, что получается впечатление, что книги он не читал».

«Белый, – ответил Эллис, – как вы могли сами в том убедиться, личность исключительная. Спрятать или подавить свое “я” он не может. Оно кладет печать на все, к чему он прикасается. Вы спрашиваете, есть ли у него знания. И да, и нет. Он сам сознается, что при всех чтениях у него всегда остаются “недочитанные хвостики”. Если же такие хвостики собрать и сложить, получится хвостище верст в пятьдесят. А хвосты у него именно от характера его личности. Он начинает читать какого-нибудь автора, сначала очень внимательно следуя за ним, но на 50-ой или 75-ой странице выступает его личность, постепенно подменяет читаемого автора и незаметно переделывает и подминает под себя. Вместо автора получается переделка его Белым. Он считает, что автора в совершенстве понял, все, что нужно, уже “вытащил” у него, дочитывать такую книгу ему скучно и кажется излишним. Отсюда постоянное недочитывание и длинные “хвосты”. Вы начинаете с ним говорить о такой-то книге и имеете в виду то, что там говорится на сотой и следующих страницах.

А он их не дочитал, не мог дочитать и говорит только о том, что напечатано *до* сотой страницы. А то, что читал, уже переделал по своему. При таком чтении противоречия у Белого неизбежны и неустранимы. В университете, когда я изучал экономику и некоторую технику, я узнал, что выпускаемый из доменных печей жидкий чугун схватывается особыми формами и принимает вид брусков. Личность Белого так оригинально устроена, что все, им изучаемое и читаемое, превращает в оформляемые его духовностью беловские бруски».

Не помню, как к этому подошел разговор, но я рассказал Эллису, что чтение «Огненного ангела» Брюсова с выдвинутой там фигурой Ангела Мадиэля – графа Генриха Оттергейма – напомнило мне детский разговор с братом об ангелах, и мою тогдашнюю «формулу» («голова, крылья, а дальше ничего нет») я потом, познакомившись с Белым, применил к нему (см. выше главу «Дух, летающий по Москве»). Мой рассказ неожиданно для меня вызвал у Эллиса такое острое любопытство, я бы сказал такое волнение, что он подскочил ко мне, схватил за руки и начал трясти:

«Вы это не сочиняете? Вы говорите правду?»

«Решительно не понимаю вашего вопроса. Что необыкновенного, что фантастичного в моем рассказе?»

«Значит, вы ничего не знаете?»

«Но что я должен знать?»

«Значит, вы даже не догадываетесь, почему чтение “Огненного ангела” толкнуло вас к выводу, что у А. Белого “голова, крылья, а дальше ничего нет”? О, несчастные позитивисты! На их глазах явно действуют оккультные токи, а они ровно ничего не понимают».

И под большим секретом Эллис мне сообщил вещь, которую, мол, знают лишь очень немногие. В «Огненном ангеле» в графа Генриха Оттергейма, в ужасе сбежавшего

от соблазнявшей его плотским общением Ренаты, Брюсов вложил некоторые черты А. Белого. Под видом Ренаты изображена одна особа, имя которой Эллис мне не назвал (Нина Петровская), а под маской Рупрехта – сам «маг» и оккультных дел мастер, Брюсов.

«Поверьте мне, это оккультные токи из “Огненного ангела”, а совсем не воспоминание о каком-то детском разговоре с братом, вас привели к взгляду, что у Белого “голова, крылья, а дальше ничего нет”. Именно этот факт мне представляется теософически важным».

Я самым энергичным образом убеждал Эллиса, что, говоря, что у Белого «дальше ничего нет», ни одну секунду не думал о чем-то, относящемся к области сексуальной. На это Эллис возражал, что я просто не додумал до конца явного внушения оккультных токов из «Огненного ангела». В применении к данной обстановке, данному случаю и данному лицу, слова «дальше ничего нет» следует понимать только в совершенно определенном, именно сексуальном смысле. «Если так, – спросил я Эллиса, – должно ли из ваших намеков, в связи в Ренатой, заключить, что 28-летний А. Белый девственник и, подобно графу Генриху Оттергейму, мистически страшится оскверниться плотским общением?»

Предпочитаю не излагать подробно то, что в ответ услышал от Эллиса. Скажу лишь немногое. Он высоко ставил А. Белого за то, что и в области сексуальной он совсем *«не таков, как мы все»*. Не называя имен, осторожными, иногда туманными, теософскими словами он указал на крайне сложные отношения Белого к двум женщинам. Теперь я знаю, что речь шла о Нине Петровской и о жене Блока. Его отношение к ним Эллис сравнил с бодлэровским – тоже к двум женщинам. Ничего из этого я тогда не удержал, ничего о том не знал, теперь знаю, что Бодлэр отверг плотскую любовь к нему M-me Sabatier и M-me Marie Danbrun, написав

в сущности и той и другой, что не нужно давать «земного и постыдного имени бестелесному и мистическому культу, который соединяет мое сердце с вашим». В 1908 г. все, слышанное от Эллиса о связанной с мистицизмом сексуальной оригинальности Белого, я откинул от себя, как вещь, меня абсолютно не интересующую, но в 1955 г., когда захотел разобраться в отношениях между Блоком и Белым, между Белым и женою Блока, указания Эллиса оказались для меня крайне важным подспорьем[19].

Странички, посвященные Эллису, закончу тем, что слышал от него о Владимире Соловьеве. В печать это до сих пор никогда не попадало, а к Эллису дошло от Михаила Сергеевича Соловьева, брата философа. Сообщение Эллиса вносит дополнительный элемент к биографии Вл. Соловьева, для нас интересной, конечно, не только тем, что его софиологическая мистическая концепция увлекла двух корифеев русского символизма – А. Белого и А. Блока. Гораздо важнее, что его система, считаясь «самым полнозвучным аккордом в истории философии» (слова С. Н. Булгакова), а по мнению В. В. Зеньковского, «выводя русскую мысль на общечеловеческие просторы», имела огромное влияние на построения русских философов – Н. А. Бердяева, о. С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, о. П. Флоренского, С. Н. Трубецкого, Е. Н. Трубецкого и некоторых других.

---

[19] Не могу не упомянуть тут «Некрополь» В. Ф. Ходасевича. Из того, что он пишет, ясно вижу, что он не располагал тем, что я слышал от Эллиса и от Белого о Блоке. Тем не менее, с *поразительной интуицией* Ходасевич *почти* подошел к расшифровке путанных отношений между женою Блока и Белым. Он же указал, какие действительные фигуры прячутся за действующими лицами в «Огненном ангеле». И сделал это (снова проявление поразительной догадки и интуиции), опираясь главным образом на то, что в «материалах к биографии Брюсова», выпущенных в 1934 г. его вдовой, мельком указывается, что в основу «Огненного ангела» положен «действительный эпизод».

Мочульский в книге о Вл. Соловьеве писал, что в русской литературе нет личности более «загадочной». Вероятно, он прав. Загадочны прежде всего «Три видения», которые Соловьев называет «самым значительным из того, что со мною случилось в жизни». Три раза он видел *Ее.* Первый раз в церкви, будучи девятилетним ребенком, второй раз в 1875 г. в зале для чтения в Британском Музее и третий раз в 1876 г. в Египте, куда он поехал, влекомый таинственным зовом. Здесь, в пустыне, где арабы приняли его за шайтана и хотели арестовать, он «всю Ее видел»:

Очами полными лазурного огня
Глядела Ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня ...

О, лучезарная! Тобой я не обманут,
Я всю Тебя в пустыне увидал ...
В моей душе те розы не завянут,
Куда-бы ни умчал житейский вал.
Один лишь миг. Виденье скрылось,
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

Кто она? «Душа мира», «София», «Богоматерь», «Лучезарное и Небесное существо, отделенное от тьмы земной материи»?

Среди рукописей покойного Вл. Соловьева, разбиравшихся его братом, находились странные заметки, отмечавшиеся буквой «S», и письма, за подписью «Sophie», составленные измененной рукою Соловьева и имевшие характер любовной переписки. Они несомненно писались самим Соловьевым, но составлялись так, будто приходили к нему откуда-то извне и вызывали его на ответ. Эта странная переписка между «S» и философом, по словам Белого (с перепиской был знаком

и Эллис), «нас смущала. Мы потом обращались к поэзии Соловьева, прослеживали зависимость его эротической лирики от догматов теософии и взглядов на смысл любви».

Со странными видениями и перепиской связывается и другая, еще более странная история. В Нижнем Новгороде жила некая Анна Николаевна Шмидт, написавшая философско-мистический трактат «Третий Завет». Незадолго до смерти Соловьева эта особа, неказистой наружности и явно ненормальная, вступила с ним в переписку. Убеждая его в том, что это она являлась ему во всех его видениях, Шмидт сообщала, что имеет миссией открыть Соловьеву, что он – воплощение Христа. Соловьев урезонивал ее в ряде писем, но так как она продолжала настаивать на своем, решил разубедить ее при личном свидании и для этого, по соглашению с нею, приехал во Владимир. Что там произошло – о том ниже: пока скажу, что Шмидт родилась в 1851 г., умерла в 1905 г., и после ее смерти метранпаж «Нижегородского Листка», в котором она сотрудничала, передал ее произведения «Третий Завет» и «Дневник» Мельникову, тот Э. К. Метнеру, а этот Белому. Белый, в свою очередь, рукописи Шмидт передал Морозовой, и после рассмотрения их С. Н. Булгаковым они были с его одобрения напечатаны в 1916 г. в виде книги, в которой, кроме «Третьего Завета» и не всего, а очень сокращенного ее «дневника», находились письма к Шмидт Соловьева. Часть «Третьего Завета» еще в 1904 г. под заглавием «О будущем», была помещена в журнале «Новый Путь» за подписью А. Тимшевский.

Что-же произошло при свидании Вл. Соловьева со Шмидт? Эллис говорил, что Соловьев вернулся с этого свидания «глубоко потрясенный». После его смерти Шмидт, явившись в 1901 г. к М. С. Соловьеву, называла его братом Господним, ибо, по ее словам, она убеждала Вл. Соловьева, что он действительно воплощение Христа. Православному

и глубоко верующему человеку, М. С. Соловьеву эта «ересь», к тому же компрометирующая его знаменитого брата, была крайне тягостна, и о том, что Вл. Соловьев вернулся после свидания со Шмидт «глубоко потрясенным» и в чем-то ею убежденным, было решено молчать.

Но скоро пришлось умалчивать и о другом. Летом 1900 г. Вл. Соловьев уехал на юг, в имение князя С. Н. Трубецкого, откуда до самой кончины (31 июля 1900 г.) посылал брату на хранение запечатанные пакеты. После его смерти пакеты были братом вскрыты и поразили М. С. Соловьева своим содержанием. Вл. Соловьев сообщал, что, подобно Иисусу в пустыне, он изо дня в день искушается дьяволом: днем дьявол ходит за ним по пятам и смеется, а ночью садится около его кровати, ведет с ним долгие возмутительные беседы. В записях Соловьева находилось и описание внешности дьявола, и детальная запись всего, что дьявол ему говорил. Эти записи М. С. Соловьев и его жена решили сжечь, никому не говоря о их существовании и содержании. М. С. Соловьев умер в 1903 г. (жена его в тот-же день застрелилась), но незадолго до его смерти Эллис имел с ним разговор, в котором М. С. Соловьев свой тягостный обет молчания нарушил и кое-что о записях брата ему поведал.

Несмотря на попытки С. Н. Булгакова (в 1902–1903 гг.) в студенческие годы соблазнить меня философией Вл. Соловьева, о чем я уже упоминал, я от нее отталкивался всем своим существом, чувствуя что в ней есть что-то глубоко мне чуждое. Мне казалось, что таинственная, темная софиологическая система Соловьева создана психически-больной личностью. Поэтому рассказ Эллиса был для меня поистине находкой, как бы полностью подтверждавшей мои предчувствия.

«Ваш рассказ, – сказал я Эллису, – исключительно интересен. Он свидетельствует, что Вл. Соловьев был таким же сумасшедшим, как Анна Шмидт. Интересно знать, когда же началось его сумасшествие? Не с того ли момента, когда он начал видеть Ее – Софию? Но если так, то созданная им с этого момента философия есть плод больного мозга. Очень жаль, что уничтожены записи о беседах Соловьева с дьяволом. В дополнение к его любовной переписке с Софией – это много говорящая документация».

Мои слова привели Эллиса в великую ярость.

«Если бы я знал, что из моего рассказа вы сделаете только убогий вывод о сумасшествии Соловьева, не стал бы вам говорить. Сумасшествие! Да почему он сумасшедший? Потому-ли, что видел дьявола? Да я тоже, как Бодлэр, чувствую его присутствие, а иногда его вижу. Решитесь ли вы утверждать, что и Бодлэр, и я сумасшедшие? Вы жалеете, что записи Соловьева сожжены, в ваших глазах они в некотором роде полицейский рапорт о его душевном состоянии. А я очень жалею об их уничтожении и очень за это упрекал М. С. По совсем другой причине. Взгляды Соловьева я не разделяю, но это не мешает мне признавать его большим философом. Для всех было бы крайне важно знать, в каком виде к этому большому человеку являлся дьявол, что и как он ему говорил, в чем убеждал, как его искушал. Ведь одно дело искушать большого философа, другое дело – маленькую монашенку в захолустном монастыре. Сожжение записей Соловьева я считаю почти преступлением. История духовной культуры от этого много потеряла».

В заключение хочу сюда прибавить несколько строк из книги Г. Чулкова «Годы странствий», изданной в 1930 г. в Москве. Рассказав, что Шмидт посетила в 1904 г. Блока

именно потому, что тот был соловьевцем и воспевал под именем «Прекрасной Дамы» – Софию, Чулков пишет:

«Шмидт явилась как-бы живым предостережением всем, кто шел соловьевскими путями (почему?? *Н. В.*). Мы все повторяли гетевское “Das Ewig-Weibliche“; однако, вокруг “вечно женственного” возникали такие марева, что кружились не только слабые головы. Старушка Шмидт, поверившая со всей искренностью безумия, что именно она воплощенная София и с этой странной вестью явившаяся к Вл. Соловьеву незадолго до его смерти, это ли не возмездие одинокому мистику, дерзнувшему на свой страх и риск утверждать новый догмат (фраза абсолютно нелепая в устах особенно Чулкова, на “свой страх и риск” утверждавшего в свое время нелепый догмат “мистического анархизма”! *Н. В.*). Я имел случай в 1922 г. изучить (? *Н. В.*) некоторые загадочные автографа В. Соловьева, до сих пор неопубликованные. Эти автографы – особого рода записи поэта-философа – сделаны им автоматически (?? *Н. В.*) в состоянии транса. Это состояние (как медиумическое) было свойственно Соловьеву по временам. Темою соловьевских записей является все она – София, подлинная (?? *Н. В.*), или мнимая, это другой вопрос. Во всяком случае характер записей таков, что не приходится сомневаться в “демоничности” (?? *Н. В.)* переживаний, сопутствующих духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот».

Приведенные слова, как и вся книга Г. Чулкова, умом не блещут, но нужно удержать указание, что в 1922 г. где-то еще сохранялись и были доступны обозрению некоторые «загадочные» записи Соловьева, «до сих пор неопубликованные». Их стоило бы опубликовать, хотя наверное они не столь интересны, как сожженные записи Соловьева об искушениях его дьяволом.

XI
От «кремневых людей» к «Петербургу»

Летом 1908 г. А. Белый уезжал из Москвы. Жил сначала в Тульской губернии в бывшем имении его матери, потом в Тверской губернии, а в августе ездил в Петербург к Мережковским. Между этими выездами появлялся в Москве то на три-четыре дня, то на неделю. Во время таких его возвращений я раза три встретился с ним. Одна из встреч (кажется, в июле – я уже упоминал о ней) особенно запомнилась: А. Белый казался доппингированным революционным духом, он утверждал, что в деревне под внешним спокойствием скрывается «вулкан», прежняя власть становых и урядников, терроризировавших крестьян, исчезла после 1905–06 гг. Теперь сдерживающая сила, «духовные цепи» – только «попы», «агенты синодальной идеологии». В сборнике стихотворений «Пепел», посвященном «памяти Некрасова», Белый изображал положение страны роковым, невыносимым:

Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой.
Мать Россия, о, родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

Долго так продолжаться не может, уверял он меня, вулкан откроется, лава потечет, все сжигая, пусть выжигает этот проклятый режим. О нем говорил с великой ненавистью, цитируя при этом Некрасова: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Я слушал его, пожимая плечами. Откуда вдруг этот «левый заскок»? Наши оценки политического положения резко расходились. От доводов Белого несло несерьезной, неубедительной «беллетристикой». Я не видел никаких признаков нового взрыва. И не я один. Даже большевики перестали говорить о новой

немедленной революции, и Ленин приказывал большевицкой армии не бойкотировать III Государственную Думу, а постараться в нее войти.

С конца августа Белый больше никуда не выезжал, и мы встречались очень часто. В сентябре (приблизительно в половине месяца) он пришел ко мне с предложением поехать в Петровско-Разумовское: «Мне кое-что там нужно понюхать». Я в этом месте никогда не бывал, хотя раза два получал от студентов тамошней Сельско-Хозяйственной Академии приглашение участвовать в прениях по вопросу об аграрной программе. Предложение Белого я охотно принял. Хотелось среди зелени подышать воздухом наступающей осени. До Бутырской заставы доехали на трамвае, потом пересели в поезд, тащимый паровичком. Белый держал в руках, повидимому, дамский ридикюль – какой-то палевый мешочек с букетом на нем темных цветов и длинным шнуром в качестве ручки. Строго придерживаясь правила, усвоенного в сношениях с Белым, ничему не удивляться, не спрашивать ни о чем, что могло быть похожим на «любопытство к мухе с оторванной головой», я не спросил, зачем он взял этот странный мешочек и что в нем. Думаю, что мое правило иногда раздражало А. Белого – он любил эпатировать и хотел, чтобы слову и акту его удивлялись. Белый был очень весел, в вагоне размахивая своим мешочком в такт стуканью колес, сначала мурлыкал, а потом уже громко стал распевать тонким голоском:

Век и век и Лев Камбек,
Лев Камбек и век и век.

Скоро будет ясно, почему запомнились эти нелепые словечки. Соседи по вагону поглядывали на него и смеялись. Толстая торговка с большой корзиной овощей, заливаясь смехом, тыкала Белого пальцем: ишь, ты, какой студент

веселый! Белый ласково дарил им свою обаятельную улыбку и не переставал распевать о Льве Камбеке. В таком настроении я видел Белого первый раз.

В Петровско-Разумовском он стал таскать меня по обширному парку; было видно, что здесь он не впервые. Но от этой беготни я отказался: у меня, когда слезал из вагона, от неловкого движения подвернулась нога, и стало больно ходить. Солнце пекло, жара была тягостная, я лег в тень под липою недалеко от пруда, предоставив Белому делать что̀ он хочет. Он куда-то скрывался, а, возвратясь и расхаживая по аллее взад и вперед, вынул из мешочка книгу, стал перелистывать ее, что-то бормотал про себя и наконец, подняв ее над головою, крикнул мне:

«Они его убили и должны были убить».

«О ком вы говорите? Кто это он, кто они?»

«Шатов, я говорю о Шатове, столь дорогом лживому попу и лжепророку Федору Михайловичу Достоевскому».

Очевидно, в палевом мешочке были «Бесы», и Белый приехал в Петровско-Разумовское не просто погулять, а на самом деле «кое-что понюхать». Песенку о Льве Камбеке и «Веке» он вытащил из «Бесов». Ее под стук вагонов лепетал Степан Трофимович Верховенский. Наименованию Достоевского «лжепророком» я совсем не удивился: в 1907–1908 г. Белый относился к нему с великой злобой. Достоевский в «Бесах» достаточно объяснил мотивы, толкавшие Петра Верховенского убить Шатова. Белый не мог их не знать, почему же в это убийство он вносит странно звучащее, как бы ободрительное «долженствование»?

«Что значит, они должны были его убить? Значит, вы совершенно расходитесь с Достоевским, для которого – с чем нельзя не согласиться – это убийство было гнуснейшим и мерзейшим актом»?

«Могу вас уверить: когда, касаясь самой глубинной сути этого вопроса, Достоевский говорит “да”, я говорю “нет”, а его “нет” противопоставляю свое “да”».

«Послушайте, Борис Николаевич, вы выражаетесь так темно и загадочно, что мой бедный мозг отказывается вас понимать. Будем говорить проще и яснее: здесь в каком-то гроте Петровско-Разумовского знаменитый Нечаев и его сообщники убили студента Сельско-Хозяйственной Академии Иванова, тот не хотел поддаваться мистификации Нечаева, и труп его бросили, вероятно, вот в этот пруд. Это бессмысленное и мерзкое политическое убийство произвело в свое время громадную сенсацию и нашло себе отражение в “Бесах”. Петр Верховенский прообразом имеет Нечаева, а Шатов в какой-то степени – студента Иванова. Я спрашиваю: почему Верховенский-Нечаев “должен” был, как вы говорите, убить Шатова-Иванова? Говоря “должен”, вы как будто становитесь на сторону Нечаева. Не забываете ли вы, что это фигура аморальная, отвратительная? За исключением временно им околпаченного Бакунина, никто из руководителей русской революции Нечаева своим не считал».

«Вы говорите, что нужно проще отнестись к сути вопроса, все-таки эту простоту нельзя же доводить до последней степени. Достоевский для образа Петра Верховенского карикатурно воспользовался фигурой Нечаева, как в том же романе под видом Кармазинова он высмеял Тургенева, а под видом отца Верховенского – Грановского. Это всем известно, даже гимназистам, и меня, право, удивляет, что вы на этом открытии так настаиваете. Неужели вы думаете, что “Бесы” Достоевского – бытовой романчик, вроде произведений Мачтета или Боборыкина? В “Бесах” символы, в них символика. Меня интересует, хотите ли вы понять, что за нею скрывается или не хотите. О себе скажу – Достоевский меня не об-ма-нет! С другими это может случиться, не со мною».

«Славянофильствующий Шатов, объявляющий русский народ единственным в мире богоносцем, мне чужд. Вы это знаете. Следует ли из этого, что с благословения и одобрения Белого его нужно убить руками аморального авантюриста Петра Верховенского?»

В ответ Белый разражается потоком слов:

«Я удивляюсь, что вы нашли сказать такую малость о Шатове. Марксисты гордятся своими социально-политическими анализами, однако, чутье реакции в данном случае у вас отсутствует. Шатов – самая черная, беспримесная, лампадная реакция, он представитель синодальной темной силы. Никогда не покидающей тенью Шатова является пророчествующий, вонючий, гнусавый, юродивый Семен Яковлевич. Полюбуйтесь этим красавцем. Желтый, лысый, с жидкими волосами, с раздутой правой щекой, перекосившимся ртом, большой бородавкой близ левой ноздри. Эта промозглая дрянь есть тень Шатова, его проекция на экране. Семен Яковлевич, видите ли, кушает уху из мелкой рыбки и картофель в мундире, а вокруг него "миловзоры" стоят на коленях, взирают на святого, крестятся, ждут вещания, милости Господа, благодати. А не к этому ли, в конечном счете, сводится синодальщина, работу которой я недавно видел в деревне? Разве это христианство? Это мерзкая карикатура на него».

«Все, что вы говорите, только беллетристика. Вы художник, если понатужитесь, сможете о Шатове нарисовать еще более хлесткую картиночку. А по адресу бесов – Верховенского, Липутина, Шигалева и прочих – у вас слов осуждения нет. Отвечайте без уверток – кого вы предпочитаете: Шатова или Верховенского-Нечаева?»

«Не делайте мне допроса. Моих убеждений никогда не скрываю. Я открыто заявляю, что лживому христианству Шатова и правительственному православию я, не атеист, предпочитаю открытый атеизм Верховенских или их прообраза,

Нечаева. Нечаев – личность, статуя, а не мразь, не улитка. В Петропавловской крепости силою своего слова он распропагандировал всю стражу. Слово его могло открывать двери тюрьмы. Достоевский подсовывает два символа: Шатов и Петр Верховенский, стремясь со свойственными ему шулерскими приемами возвысить Шатова и огадить Верховенского. Этому шулерству я не подчиняюсь. Достоевский устами Шатова говорит, что Верховенский клоп, невежда, ничего не понимающий в России. Это Шатов и все современные Шатовы ничего не понимают в России. Они не видят, что Россия беременна революцией, они не чувствуют, что она приближается. Только она спасет распятую Россию. Из вулкана уже доносится предвещающий грохот. Предвестники взрыва уже ходят по городам и селам. Я их слышу, а глухие их не слышат, слепые их не видят, тем хуже для них. Каков конечный символический смысл образа Шатова и его тени, Семена Яковлевича, если перенести их на политическую почву? Пропитанный реакцией Достоевский предназначает им миссию закрыть кратер вулкана, чтобы лава из него не полилась, они хотят законопатить кратер тюфячком Семена Яковлевича с желтенькими пятнышками от неудержания скушанной сим святым картофельки в мундире и кислой капусты. Вот куда гнет Достоевский своими поучениями. *Взрыва не избежать. Кратер откроют люди кремневые, пахнущие огнем и серою!*»

«Так как вы находитесь сегодня в трансе вещания и пророчества, то соблаговолите поведать, где, в каких это кругах находятся или из каких кругов придут вами призываемые кремневые люди?»

«Кремневых людей не ищите ни среди членов Государственной Думы, ни среди тверских земцев, ни среди Мережковских, заявляющих "мы и никто кроме нас", ни среди дурачков мистических анархистов вроде Чулкова, ни среди

марксистов с потухшей идеей взрыва в черепной коробке. Вулкан откроют, взрыв произведут люди, на которых указывает перст Ницше: Они не будут добрыми. “Добрые, говорит Ницше, не могут созидать, они начало конца”»...

Размахивая мешочком, куда он вложил книгу, Белый быстро ходил по аллее, то приближаясь ко мне (я продолжал сидеть под липой), то далеко уходя от меня. И говорил, говорил без конца. Речь его становилась все более темной и путанной, а когда он отходил от меня, я даже не был в состоянии уловить, что он говорит. На мои вопросы и замечания он отвечал обидчивым тоном – не делайте мне допроса. В желании Белого подкрасить Верховенских, сделать из них каких-то больших революционеров, спасителей «распятой России», я видел только мозговой выверт, «словесную смутку», оригинальничание. Белый вызывал у меня раздражение, я переставал быть вежливым и, когда он начал доказывать, что *Лжехристы* (нужно думать, идеи Шатова) хуже чем Антихристы (Верховенские?), я уже не выдержал и крикнул:

«Чепуха! Все это чепуха! Недостает лишь ссылок на Апокалипсис и на Жену, облеченную в Солнце!»

Белый находился в это время от меня шагах в пятнадцати. Он остановился и, топая как маленькие дети ногами, визгливо крикнул:

«Вы против меня потому, что до смерти боитесь Верховенских. Вы боитесь взрыва, большой революции. В этом основная причина нападок на меня. Вы во власти буржуазных страхов и чувств. *Вы хотите не настоящей революции, как я, а революции лимонадной*».

Это словечко переполняет мое раздражение, и я пускаю в Белого первым попавшимся на язык ругательным словом:

«Затыкаю уши! Бугаев, вы сегодня просто балда, воображающая себя ультра-революционером».

«Вы не переставая меня оскорбляете! – вопит Белый. – За это я вас накажу».

С протянутой, сжатой в кулак, рукой, сгибаясь, припадая, он угрожающе направляется ко мне. Я вскакиваю. Меня бросает в пот. Вот сейчас произойдет что-то идиотски-ненужное, дикое, нелепое, постыдное, страшное. Но я этого не хочу. Он меня ударит, я потеряю всякое самообладание, превращусь в зверя, изобью его, изувечу, сброшу в пруд. Но я этого не хочу. Все молнией проносится в мозгу... Происходит нечто абсолютно неожиданное, это мог сделать лишь Белый. Он подбегает ко мне, я жмурюсь (разобьет пенснэ, поранит глаз!), ожидаю удара, вместо этого Белый подхватывает меня под руку и тащит:

«Ну, теперь пойдем повидать Алексея Федоровича».

Почти бессознательно спрашиваю:

«Какого Алексея Федоровича?»

«Профессора Фортунатова, он в главном здании Академии!»

Белый держит меня за руку, что-то мурлыкает. Человека, только что желавшего меня «наказать», уже нет. Я силюсь сделать вид, что между нами ничего не произошло. Но мое волнение не могло так быстро пройти. Шотландский душ был слишком неожидан. Ноги мои подгибаются, как макароны. Плетусь, а не иду, и вдруг в сознание острой шпилькой влетает:

«А ведь Белый сумасшедший, конечно, сумасшедший! Может быть, все это только шутка? О, нет, шутки тут не было».

Повидимому, Белый привел меня в библиотеку Академии, а не в личную библиотеку Фортунатова. Там я никогда потом не бывал. Много полок с книгами по стенам и в середине помещения. У окна маленький бородатый человечек держит книгу. Где видел его? В Киеве, шесть или семь лет

назад. Он был профессором Политехнического Института, читал на сельскохозяйственном факультете лекции по экономике и статистике. Я не имел с ним дела: был на механическом факультете. Белый меня представляет ему, но Фортунатов, почти не обращая на меня внимания, тянется к Белому. Не желая мешать их разговору, отхожу в сторону, к книжным полкам. Белый с большим оживлением что-то рассказывает Фортунатову, оба смеются. Фортунатов ласково похлопывает его по щеке, а Белый ластится, прижимаясь к плечу Фортунатова. Видно, они близко знакомы[20].

Рассматривая книги на полках и их перелистывая, набредаю на одно мне неизвестное, и вообще мало известное, итальянское издание (название его теперь забыл) с некоторыми данными о сельскохозяйственных производственных ассоциациях в Италии, найти которые я до тех пор не мог. Среди всяких других вопросов меня тогда интересовали все формы сельскохозяйственных организаций в Европе: я считал, что их образование, усиливая и преобразовывая мелкое хозяйство, свидетельствует, что аграрное развитие идет не по законам, формулированным Марксом. Увидев, что Фортунатов и Белый как будто кончили разговор, я подошел

---

[20] В «Петербурге» Белого в главе «Бал» изображается некий профессор статистики, который, «пофыркивая в клочковатую бороду» и «защипнув двумя пальцами пуговку сюртука» земского деятеля, докладывал ему о «годовом потреблении соли нормальным голландцем». На кого этот шарж? на профессора И. И. Янжула или проф. А. Ф. Фортунатова? Имя Янжула несколько раз упоминается в мемуарах Белого, но *нигде* я не нашел у него даже малейшего указания на А. Ф. Фортунатова. Упоминается только А. А. Фортунатов, вероятно, сын А. Ф. Фортунатова. По оживленному разговору Белого с А. Ф. и ласковой фамильярности, с какой профессор Фортунатов похлопывал Белого по щеке, нужно заключить, что они были близко знакомы. На мой вопрос, был ли А. Ф. Фортунатов посетителем семьи Бугаевых, Эллис ответил, что последние годы жизни отца Белого его, *кажется,* довольно часто посещал Фортунатов и они, конечно, «угощали друг друга всякой цыфирью».

к Фортунатову и спросил, не позволит ли он мне взять указанное издание на сравнительно длительное время, итальянского языка я почти не знаю и разбираться в его данных смогу лишь после долгой возни с ним, прибегая к переводу с помощью словаря. Фортунатов ответил: «Вас я не знаю, но если Борис Николаевич (А. Белый) поручится, что книга не пропадет, вы можете ее взять». «Поручаюсь за Валентинова – как за самого себя», восклицает Белый, и мы оставляем Фортунатова. Белый, помахивая своим мешочком, я держа итальянскую книгу. Об этом эпизоде с взятой книгой упоминаю потому, что по великой халатности Белого она в библиотеку не возвратилась (об этом расскажу в своем месте) и полгода спустя (я уже не жил в Москве) явилась предметом моей переписки с Белым.

Извлеченные из названной книги некоторые цифры я вставил позднее в статью об итальянской кооперации, напечатанную в Петербургском «Вестнике Кооперации» за 1910 г. О ней и статье о датской с.-х. кооперации М. И. Туган-Барановский прислал – весьма приятный для меня – хвалебный отзыв. В своей книге «Основы политической экономии» (изд. 1911 г., стр. 326) он снова назвал «очень интересной» мою статью об итальянской кооперации. Если бы Белый не потащил меня в Петровско-Разумовское, где, случайно набредя на малоизвестное итальянское издание, я получил некоторые нужные мне данные, статья моя, вероятно, не была бы написана.

Добиваться от Белого объяснения более чем странной сцены в парке в мои намерения не могло входить. Если он сумасшедший, искать объяснения его нелепостей и всяких мозговых вывертов излишне. Мысль, что он психически болен, впервые влетела в меня только в парке. До тех пор я никогда об этом не думал. Никогда этого не чувствовал. Я прекрасно видел, что Белый ни на кого не похож – этим-то

он и заинтересовал меня; в этом смысле он выходит из ранга нормальных людей, из поля обычных психических норм. Это не означает еще сумасшествия в клиническом смысле слова. Мысль о помешанности Белого у меня вспыхнула и погасла, но в Петровско-Разумовском в моем отношении к нему что-то перевернулось и не столько сознательно, сколько бессознательно. Потом подкатило решение: лучше подальше от него. В последующие дни, думая о нем, я чувствовал, что прежних отношений между нами быть уже не может, возникла невидимая стена, а через три с половиной месяца, после свидания с ним в присутствии Гершензона, Белый стал для меня уже и по другой причине далеким и неприятно чуждым.

В вагоне, возвращаясь из Петровско-Разумовского, я все-таки не удержался спросить Белого, для чего он взял с собою «Бесов» Достоевского.

«Я хотел в себе некоторые думы и чувства проверить. *Вдохнул переживания в одном месте, выдохну их в другом.* Уже два года как я задумал большой роман о революции. В фундаменте его – революция 1905 г., а от нее этаж повыше, *путь дальше.* Основные символы романа у меня смонтированы. Я, вероятно, дам ему название "Тени" – тени прошлого, тени будущего».

О каком будущем романе говорил Белый? В его мемуарах («Между двух революций», стр. 93) есть такое указание: «Август 1906 г. дал весь материал для романа "Серебряный Голубь", написанного в 1909 г., а месяц сентябрь собрал весь материал к "Петербургу", написанному в 1912 г.».

Очевидно, о будущем «Петербурге» мне и говорил Белый. Название романа было ему подсказано Вячеславом Ивановым. Сам Белый долго колебался, как его назвать и, кроме «Теней», у него были и другие названия: «Красное Домино», «Злые тени», «Путники», «Адмиралтейская игла»,

«Лакированная карета». За писание «Петербурга» А. Белый взялся в 1911 г. для журнала «Русская Мысль»; однако, редактор ее, П. Б. Струве, прочитав врученную ему первую часть романа, пришел от нее в ужас и категорически отказался рукопись принять. Сделав несколько изменений текста, Белый продал роман издательству Некрасова в Ярославле. Около десяти печатных листов было им набрано, но, с согласия Белого, передано издательству «Сирин», в сборнике которого в 1913 г. роман был напечатан полностью. Во время временного бегства Белого из СССР (1922–23 г.) и пребывания его в Берлине было выпущено новое издание «Петербурга», в сравнении с изданием Сирина сильно сокращенное и очень измененное. Наконец, в 1924 г. «Петербург» был переделан Белым в драму и в ноябре 1925 г. впервые представлен на сцене. Роль сенатора исполнял М. А. Чехов, сына сенатора – Берсенев. Оба, особенно Чехов, играли изумительно, оставляя незабываемое впечатление. Драма Белого все-таки на сцене продержалась недолго. «Коллективное» руководство того времени нашло, что не годится давать какое-то прославление террористических деяний эсэров. На этом больше всего, как говорили, настаивал Сталин.

«Петербург» Белого многие, начиная с Вячеслава Иванова, считали «творением гениальным». Такого взгляда придерживался, например, и Н. А. Бердяев. Он сам мне это сказал. Последний по времени биограф и поклонник Белого, К. Мочульский (его книга, изданная в 1955 г., появилась после смерти автора) следующими словами характеризует «Петербург»: Это – «самое сильное и художественно выразительное из всех его [А. Белого] произведений. Это – небывалая еще в литературе запись бреда; утонченными и усложненными словесными приемами строится особый мир – невероятный, фантастический, чудовищный: мир кошмара и ужаса; мир извращенных перспектив, обездушенных людей

и движущихся мертвецов... По сравнению с ним, фантастические сны Гофмана и Эдгара По, навождения Гоголя и Достоевского – кажутся безобидными и нестрашными ...

«Петербург – призрак, и все обитатели его призраки; мир дематериализован, из трехмерного превращен в двухмерный, от вещей остались одни контуры ... Всеми этими приемами *развоплощения* материи подготовлено потрясающее появление Медного Всадника ...

«Это явление – ослепительный взрыв света во тьме. Белый здесь – достойный наследник Пушкина, на мгновение в его герое Дудкине оживает бедный Евгений из "Медного Всадника", и "тяжело-звонкое скакание" царственного всадника наполняет роман своим торжественно-величавым ритмом – и, кажется, "Петербург" Белого – гениальное завершение [? *Н. В.*] гениальной пушкинской поэмы. Но лишь на мгновение. Уже в следующей главе автор снова погружается в свой сумеречный бредовой мир ...

«Белый – создатель новой литературной формы, новой музыкально-ритмической прозы. Учителями его были: Пушкин, автор "Медного Всадника" и "Пиковой Дамы", и Достоевский, творец "Преступления и наказания". В образе одинокого "мечтателя"-революционера Дудкина Белый соединяет черты Евгения, Германа и Раскольникова. Его "Петербург" завершает блистательную традицию великой русской литературы».

Мочульский лично не знал Белого, обширную книгу о нем он составил только на основании мемуаров самого Белого, воспользовавшись ими, именно вследствие незнания Белого, с ошибочным излишком доверия к тому, что Белый о себе писал. Восхваляя Белого, Мочульский не усмотрел, что сцены некоторых бредов и кошмаров в «Петербурге» не подлинные ужасы, а плохие искусственные трюки. Полным незнанием Белого звучат слова Мочульского, что учителем его был

Пушкин. Нет писателя, по духу, по всему складу своему более далекого от Пушкина, чем Белый. Каждой главе «Петербурга» в качестве label, эпиграфа, предпослана механически цитата из Пушкина. Неужели этот приемчик мог убедить Мочульского, что Пушкин – учитель Белого? Говоря о влиянии Достоевского, сказавшемся в «Петербурге», Мочульский ссылается на «Преступление и наказание», а следовало бы сослаться на «Бесы». Неловко читать, будто Дудкин соединяет в себе черты Евгения и Германа у Пушкина и Раскольникова у Достоевского. Два раза искусственно приклеенное к Дудкину напоминание о «судьбах Евгения» не делает Дудкина Евгением Пушкина. Они сходят с ума по-разному, по разным причинам: даже о приблизительном их подобии не может быть и речи.

Впрочем, ошибки Мочульского, да и других аналитиков «Петербурга», меня не очень интересуют. О другом хочу говорить. Не могу забыть сцену, какой меня так поразил Белый в Петровско-Разумовском. Не могу забыть, что он тогда мне вещал, вопя, топая ногами. Это вещание самым ясным образом определяло содержание задуманного им романа. «Символике» лжепророка Достоевского, изгнанию революционных «бесов» из тела России, ее исцелению духом «синодального православия», торжеству в ней людей, подобных Шатову, Белый намеревался противопоставить другую «символику», другую перспективу: *грядущий революционный взрыв, победу не «лимонадной», а «настоящей» революции, торжество в ней не «клопов» вроде Шатова, а людей типа Верховенского-Нечаева, людей «кремневых», пахнущих «огнем и серою».*

Если бы Белый в 1911–1912 г. написал роман с таким содержанием, предвещавшим появление коммунистических Верховенских, предсказал в своем «Петербурге» победу людей, «пахнущих огнем и серою», его пророческое прозрение нужно было бы признать поистине феноменальным.

О том, что осенью 1908 г. Белый задумал именно такой роман, повидимому, *известно лишь мне одному.* Об этом замысле Белого я никаких указаний в печати не встречал. Речей, подобных той, что я слышал от него в Петровско-Разумовском, он перед другими как будто не держал. Для осмотра грота, где произошло убийство Иванова, инспирировавшее аналогичную сцену в «Бесах» Достоевского, Белый приезжал в Петровско-Разумовское и до нашей туда поездки. Очевидно, это место его притягивало, соединяясь с какими-то переживаниями и планами. В 1909 г. Белый был снова в Петровско-Разумовском с Ходасевичем, и они осматривали грот. Но Ходасевич в «Некрополе» ни одного слова не говорит, что посещение грота Белым стояло в какой-то связи с затеваемым романом «Петербург». Это понятно. Белый в это время уже выбросил полностью из головы свое пророчество о победе кремневых людей, пахнущих огнем и серою. Выбросил не в 1909 г. а уже в 1908 г., вероятно, месяца через полтора или два после нашей поездки в Петровско-Разумовское. Мне приходится и в этом случае сказать, что, повидимому, *только я знаю,* в какой обстановке, под чьим влиянием произошла эта удивительная перемена вех. Ключ к объяснению характерного для Белого переворота дам в следующей главе, а пока хочу возможно точнее – это очень важно – установить, *чем* он заменил в «Петербурге» выброшенную из головы революционную, окрашенную нечаевщиной, концепцию.

Белый неоднократно выступал с объяснениями, как создался «Петербург» и в чем его главное содержание, его главный смысл. И, кажется, сделал все, чтобы затемнить, запутать ответ на этот вопрос. Ответ он постоянно «переосмысливал». Он, например, утверждал, что «Петербург» был замышлен, как продолжение «Серебряного голубя». После убийства Дарьяльского столяр Кудеяров исчезает, письмо Дарьяльского Кате к ней все-таки доходит, и для распутывания этого

темного дела дядя Кати, Тодраббе-Грабен, едет в Петербург за помощью к сенатору Аблеухову. Все остальное, пишет он, все будущие фигуры романа были ему темны, неясны. «Образ должен был зажечься от каких-то смутных звучаний; вдруг я услышал звук как бы на "у"; звук этот проходит по всему пространству романа. Внезапно к ноте на "у" присоединился властный мотив оперы Чайковского "Пиковая Дама". Я ничего не выдумывал. Люди выступали предо мною, вырисовывалась незнакомая жизнь. Я только слушал, смотрел ... Материал ко мне подавался в изобильи, превышающем мою способность вмещать: я был измучен физически...»

Несомненно процесс творчества мог происходить так, как его описывает Белый, только тогда не следует впадать в противоречие и одновременно указывать, что во время писания «Петербурга» в 1911–12 гг. «весь материал» к нему был уже собран в сентябре 1906 г. Не смущаясь противоречиями, Белый дал другой вариант зарождения «Петербурга», якобы отмеченный пребыванием в Египте. Там Белый и А. Тургенева с помощью арабов взбирались на верх пирамиды. Ничего экстравагантного в этом взбирании нет. Оно ежегодно практикуется сотнями туристов. В. М. Дорошевич мне рассказывал, что он дважды взбирался на пирамиды. Проводники-арабы это занятие, по его словам, обставив всякими удобствами, превратили в своего рода «индустрию».

Иным изображается взбирание на пирамиду Белым. Для него, всегда болезненно себя охранявшего, оно предстало огромной мистического характера опасностью:

«Вот-вот свергнешься через головы тебя держащих людей головой вниз, вверх пятами... Мы (правильнее было бы, чтоб Белый написал здесь "я" – *Н. В.*) ощутили дикий ужас от *небывалости (? Н. В.)* своего положения. Это странное

физиологическое ощущение, переходящее в моральное чувство вывернутости себя наизнанку здешние арабы называют пирамидной болезнью».

Арабы просто смеются над теми, кто боится влезать на пирамиды. «Проводник, сев под нами на нижних ступенях, готов был принять нас в объятия, если бы мы ринулись вниз: а хотелось низринуться, несмотря ни на что, потому что все что ни есть вскричало: *ужас, яма и петля тебе, человек!* Для меня же эта вывернутость наизнанку связалась с поворотным (? *Н. В.*) моментом всей жизни; последствие пирамидной болезни – перемена органов восприятия; жизнь окрасилась новой тональностью, как будто всходил на рябые ступени одним, сошел же другим; измененное отношение к жизни сказалось скоро начатым "Петербургом"; там передано ощущение стояния перед Сфинксом на протяжении всего романа».

В этой версии происхождения «Петербурга» нет уже ни «у», ни властных мотивов из «Пиковой Дамы», только словечки о сфинксе и об ужасной вывернутости наизнанку. Насколько это все искусственно и придумано, легко показать. Охваченный пирамидной болезнью, создающей «поворотный» момент в его жизни, Белый характеризует свое новое положение криком: «ужас, яма и петля тебе, человек». Он просто забывает, что такую *сакраментальную формулу* он до этого уже пускал в ход при обстоятельствах, не имеющих ничего общего с «пирамидной болезнью» в Египте. Ее дважды шептал Дарьяльский в «Серебряном голубе», очнувшись после пьянства и хлыстовских радений. – «"Ужас и яма, и петля тебе, человек" – невольно шепчут его уста; он благодарит Андрона, соскакивает с телеги; пошатываясь с перепоя, он бредет к столяровской избе». (См. «Серебряный голубь», берлинское издание, часть II, стр. 156, до этого та же формула на стр. 147). При таком сопоставлении слова Белого,

описывающего свое состояние на пирамиде, теряют всякую мистическую окраску. Никакого «поворота» здесь не было. Была ходульность, надуманность, «Балаганчик».

Напрасно думать, что Белый на этом остановится. Он даст еще новый ключ для уразумения содержания «Петербурга» – новое его «переосмысливание». Оно в духе его полоумной «Глоссалолии», звуковой «поэмы», мифологии звуков, вдохновленной антропософией Рудольфа Штейнера и, в сущности, лишь отзвук состояния сумасшествия в Дорнахе, с полной откровенностью им потом описанного в «Записках чудака». Замысел романа, пишет Белый, рождается из звука: «Я, например, знаю происхождение содержания “Петербурга” из *л – к – л – пп— нн – лл*, где “к” – звук духоты, удушения от “пп – *пп*” – давления стен аблеуховского “желтого дома”, а *“лл”* – отблески *“лаков”*, *“лосков”* и “блесков” внутри *“пп – пп”* стен или оболочки “бомбы” (Пепп Пеппович Пепп). А *пл* – носитель этой блещущей тюрьмы, *Аполлон Аполлонович* Аблеухов; а испытывающий удушье *“к”* в *“п”* на *“л”* блесках есть Николай Аполлонович, сын сенатора. – “Нет, вы фантазируете!” – Позвольте, же, наконец: я или не я писал “Петербург”? – Вы, но вы сами абстрагируете! В таком случае я не писал “Петербурга”; нет никакого “Петербурга”: ибо я не позволяю вам отнимать *мое детище;* я знаю его в такой степени, которая вам и не снилась никогда».

На этом материале, интересном более всего для психиатра, останавливаться нет надобности. Конечно, Белый, как автор «Петербурга», знает его лучше, чем кто-либо; однако, невозможно добиться, чтобы без ссылок на Пеппа Пепповича Пеппа, он ясным, человеческим языком изложил, какой же смысл им вложен в его роман, что хотел он им сказать.

Присмотримся к четырем главным «символическим» фигурам «Петербурга». Прежде всего – сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов. Сугубо подчеркивается, что он имел

предком киргиз-кайсацкого мирзу Аб-лая, в крещении Ухова. Мочульский утверждает, что сенатор отражает черты К. П. Победоносцева и Каренина Толстого. Ошибка. Если речь идет о внешности сенатора, то моделью его взята «сухая и черствая» Мария Ивановна Лесковская – крестная мать Белого. «Приставьте бачки, вставьте якуньи глазенки – получится вылитый сенатор». Для внутреннего мира прообразом взят не Победоносцев, а Плеве. «Я, сударь, человек школы Плеве». К этим чертам, пишет Белый, он прибавил «некоторые чудачества и черты нежности отца». Прибавлены и другие черты, в том числе огромная рассеянность. Читая «Преступление Николая Летаева», ясно видишь, как многое, присущее своему отцу, Белый придавал сенатору Аблеухову.

В сыне сенатора, «кантианце» Николае Аполлоновиче, местами ясно узнается сам Белый. Автобиографическая струя в романе очень сильна. Например, в романе Николая Аблеухова с Лихутиной проступает несчастный роман Белого с женою Блока. Ожидая ее окончательного ответа – любит она его или нет, едет ли с ним за границу, Белый с мучительной тоской метался по Петербургу, а после отрицательного ответа – приговора – хотел броситься в Неву. Все нашло свое отражение в «Петербурге». «... воспоминанья о неудачной любви охватили его. Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся, приподнял ногу; и гладкой калошей занес ее над перилами; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но ... Николай Аполлонович опустил свою ногу».

Иногда Белый до такой степени сливается с Николаем Аблеуховым, что вместо Аблеухова просто ставит «я». «Петербург, Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою. Мучитель жестокосердный! Бегал я на ужасных проспектах, чтобы с разбега влететь вот

на этот блистающий мост... О, зеленые, кишащие бациллами воды. Помню роковое мгновение; через сырые перила сентябрьской ночью (1906 г. *Н. В.*) и я перегнулся».

Ходасевич в очерке о Белом напоминает, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чудаке», и в «Москве под ударом» завязкой служит один и тот же семейный конфликт, разыгравшийся в семье Бугаевых. Сцены между его отцом и матерью наложили неизгладимую печать на всю психику Белого, и, хотя виновником их был не только отец, но и истеричка мать, у него родилась и долгие годы таилась ненависть к отцу. Недаром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. «Борьба с ... носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства сделалась на всю жизнь главной, основной, центральной темой всех романов Белого, за исключением "Серебряного Голубя"». Эта тема выдвинута в «Петербурге» с такой ясностью, что настаивать на ее присутствии не приходится. По ходу романа, его логике, нужно было бы ждать, чтобы бомба, врученная провокатором сыну Аблеухова, убила его отца, что с некоторыми изменениями и происходит в драматической переделке «Петербурга». В романе этого нет. Вложенные в сенатора черты отца, черты «нежности», видимо, заставили Белого «папочку» пожалеть. Бомба разрывается в кабинете сенатора, его не убивая, даже не раня. Преступного сына он отсылает за границу, а сам переселяется с возвратившейся к нему женою в имение «Пролетное» и там строчит свои мемуары. Последние годы его жизни изображены почти идиллическими красками. «Колокольчики раскрывали лиловые зевы; в сплошных колокольчиках стояло тяжелое переносное кресло; морщинистый Аполлон

Аполлонович с непробритой щетиной, серебрящейся на щеках, – под парусиновым зонтиком: сидел в кресле».

Сенатор заслуживает этой идиллии. Среди дрянной и больной человечины «Петербурга» этот представитель реакции, в сущности, здоровая и симпатичная персона.

Третья главная фигура «Петербурга» – провокатор Липпанченко. В нем, объясняет Белый, «вплоть до меня впоследствии удививших подробностей, конечно, отразился Азеф. Но мог ли я тогда знать, что Азеф в это самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко; когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов; а если принять во внимание, что восприятие Липпанченко как бреда построено на звуках *л – п – п*, совпадение выглядит поистине поразительно».

Белый стремился уверить, что это он «открыл» Азефа, так же как в «Серебряном голубе» в лице столяра Кудеярова будто бы предсказал фигуру Распутина и «услышал распутинский дух до появления на арене Распутина». Детская похвальба – в натуре Белого.

Ведь уверял же он, что, будучи в конце 1910 г. в Италии, уже тогда почувствовал появление будущего фашизма, а в своем «Петербурге» «предсказал» падение царской власти. «Открыть» в лице Липпанченко Азефа Белому было очень легко: «Петербург» писался в 1911–1912 гг., а Азеф полностью раскрыт в 1908 г., и 13 февраля 1909 г. В. А. Маклаков в Государственной Думе держал свою знаменитую речь о «противоестественном союзе преступника и правительства».

Четвертой виднейшей фигурой «Петербурга» является «неуловимый» революционер, Александр Иванович Дудкин. О «неуловимости» его говорится, разумеется, в насмешку. Он под неотступным присмотром полицейского и действует по указке главного провокатора. Белый поведал, что под видом Дудкина он изобразил одного из виднейших руководителей

боевой организации эсэров – Савинкова конца 1905 г. Делал это, опираясь на то, что ему рассказывала С. П. Ремизова, встречавшаяся с Савинковым. О схожести Савинкова с Дудкиным может идти речь лишь при желании дать злостный шарж на Савинкова. Сквозь Дудкина видеть Савинкова такая же нелепость, как предполагать в Дудкине Евгения из «Медного Всадника» и Германа из «Пиковой Дамы».

Отец и сын Аблеуховы, Липпанченко и Дудкин – центральные, символические фигуры «Петербурга». Жена сенатора, Лихутина, ее муж и другие лица, за исключением, как увидим, *Степки,* имеют второстепенное значение. Они только приложение, смысла романа не определяют. В чем же он? Его нельзя, как ошибочно делает Ходасевич, исчерпать отношениями между отцом и сыном Аблеуховыми, смутным желанием последнего убить отца. Пиксанов видел в «Петербурге» синтезированное изображение политического центра страны в 1905 г. Такой целью Белый сначала как будто задавался. О том ясно говорят его сказанные мне слова в Петровско-Разумовском.

«Фундаментом моего будущего романа – революция 1905 г., а на этом фундаменте, в этаже повыше – путь дальше», т. е. новая революция, которую произведут «люди кремневые, пахнущие огнем и серою». Этот замысел из «Петербурга» исчез. Революция 1905 г. присутствует в романе на заднем, незаметном, плане. Она почти не чувствуется. Обрисована осколками фраз вроде: «Слышал ли ты октябрьскую песню тысяча девятьсот пятого года?», или такими знаками: – «ууу – ууу – ууу. Гудело в пространстве и сквозь “ууу” раздавалось подчас: “Революция ... Эволюция ... Пролетариат ... Забастовка ... Опять забастовка ... Еще: Забастовка».

Революционные массы в романе лишь привесок, «безголовая многоножка», «сколопендра». Революция делается не народом, не пролетариатом, не массой, а отдельными лицами;

притом бросается в глаза, что эти лица одно другого мерзее, ничтожнее, дряннее. Среди них важнейшая «особа» – Липпанченко, и он провокатор. Как бы на секунду вспоминая о былом замысле показать «кремневых людей», Белый говорит о Липпанченко, что с ним можно «слиться в желании истребить», что он может «порабощать волю», что у него «зловещая голова». Все это немедленно стирается, и рисуется другой, настоящий Липпанченко. Если это Азеф, то на девять десятых укороченный, ничего люциферского, сатанинского не имеющий, настолько маленький, что для его убийства сошедшему с ума Дудкину нужен не револьвер, не большой нож, а «миниатюрные ножницы, которыми франтики стригут ногти».

Нечего и говорить о таком деятеле революции, как Николай Аблеухов. Он «изучал Маркса» и «методику социальных явлений», читал «рефератики, ниспровергающие ценности», но разве не видно, что он только крошечный, трусливый, бредящий «Красный Шут»?

Третьего представителя революции – Дудкина – Белый как будто тоже хотел наделить некоторыми «нечаевскими» чертами людей, «пахнущих огнем и серою». Мельком упоминая, что Дудкин проповедовал ниспровержение всей культуры, конец гуманизма, провокацию во имя великой идеи, Белый все это перечеркивает, смахивает. «Неуловимый» предстоит в виде теряющей разум мокрицы, отравленной алкоголем, галлюцинациями, развратом. Это ли Савинков? Такими же *мерзкими мокрицами оказываются все революционеры*, это совершенно ясно из слов, вкладываемых Белым в уста Дудкина:

«Тоска, галлюцинации, водка, курение, частая и тупая боль в голове. Вы думаете, я один? Больны почти все. Все сотрудники партии больны той же болезнью; черты во мне разве что подчеркнулись. Многочасовые собрания, дела,

разговоры о благородном, возвышенном; потом товарищ зовет в ресторан; ну, водка и прочее».

В своем «нехорошем помещении» на чердаке Дудкин однажды прочитал Степке «писулю», полученную из заграницы от некоего теософа. Писуля гласила:

«Ваши (т. е. революционеров) политические убеждения мне ясны, как на ладони: та же *бесовщина* и то же одержание».

В берлинском издании нет всего письма, между тем оно более, чем важно. Его нужно извлечь из первой редакции «Петербурга» 1911 г.:

«В социализме, так же как в декадентстве, идея непроизвольно переходит в эротику. В терроризме тот же садизм и тот же мазохизм, как в желании растлить, как в ложном искании ложного крестного пути. Чаяние светлого воскресения человечества переходит в сладострастную жажду крови, чужой, своей собственной (все равно). Отряхни от себя сладострастную революционную дрожь, ибо она – ложь грядущего на нас восточного хаоса (панмонголизм)».

Нужно ли искать более презрительно-хлесткого суждения о революции, социализме, терроризме, а таким презрением, шаржем, насмешкой, отвращением, издевательством наполнен «Петербург». В нем Белый отошел на громадное расстояние от какой-либо идеализации революции, от какого-либо признака сочувственного к ней отношения. От недавнего ее прославления *ничего* не осталось. В 1911–12 гг. революция 1905 г. ему представляется «приневской» бесовщиной, блудливым одержанием, ничем больше. В Петровско-Разумовском, взывая к революции, Белый мне говорил, что отрицающий революцию Достоевский – реакционер, шулер и лжепророк. В 1910 г. он уже читал о нем восторженный реферат, а в 1911 г. в книге «Трагедия творчества Достоевского и Толстого» объявлял Достоевского пророком, предчувствующим грозу.

До воцарения коммунизма в России «Бесы» Достоевского обычно считались чудовищным пасквилем на революцию. В таком случае «Петербург» Белого нужно назвать пасквилем не меньшим, а большим. «Достоевскому я никогда не подчинюсь», с раздражением уверял меня А. Белый и подчинился до такой степени, что вытягивал из «Бесов» не только дух и стиль, но даже самые незначительные мелочи. Например, из «Бесов» выкрал фамилию *Липутин* и переделал ее в *Лихутин*. С помощью такой же переделки появляется *Липпанченко*. В «Бесах» убитого Шатова тащили Виргинский, Эркель, *Липутин* и Толкаченко – «странная личность, славившаяся огромным изучением преимущественно мошенников и разбойников». Белый – любитель слововерчения. Мы видели, как слово «плоть» с помощью всяких сокращений превращалось у него в «ло». Он соединяет *Липутина* с Толкаченко, берет от первого «*Лип*», от второго «ченко», прибавляет имеющую для него особенное значение букву *«п» (Пепп* Пеппович Пепп), и получается *Липпанченко*. А сделав эту операцию, с «изумлением без пределов» сообщает, что Азеф в это время жил в Берлине под псевдонимом *Липченко* и это совпадение поистине поразительно, если принять во внимание, что восприятие *Липпанченко* как бреда (чьего бреда?) построено на «звуках *л* – *п* – *п*». Все, кто встречался с Белым, знают, насколько он был охоч до таких вывертов и штучек и как часто он с ними галопировал.

Отдавал ли себе Белый отчет в том, что в «Петербурге» он создал отвращающее изображение революции 1905 г.? Вполне. Об этом свидетельствует следующий факт. Вырвавшись в 1922 г. из России, он не нашел в Германии того, за чем ехал. Жить в Дорнахе, продолжая там свое «антропософическое бытие», он уже не мог. Его великий учитель Рудольф Штейнер поддерживать с ним прежних отношений не хотел, порвала с ним связь и А. А. Тургенева. В этой обстановке

у Белого укрепилась мысль, что за границей ему нечего делать, нужно возвратиться в Россию, хотя это намерение он до самой последней минуты скрывал от всех эмигрантов, с которыми имел дело. Он тайно бегал к представителям советской власти с целью испросить прощения и дозволения вернуться в СССР. Беловская дипломатия целиком сказалась при выпуске в Берлине второго издания «Петербурга». С целью показать советской власти, что он отказывается от своих прежних «контрреволюционных» настроений, Белый тщательно вычеркивал или приглушал в новом издании «Петербурга» места, где в первом издании особенно проглядывает его отвращение к революции 1905 г., карикатура и шарж на нее в духе и стиле «Бесов». К сожалению, я не мог найти в Париже во время писания этих строк первого издания «Петербурга». Но я его помню и вижу, что прежний текст вычищен, переработан и резко сокращен – *почти на одну четверть.* Мочульский, в этом отношении более, чем я, счастливый, имел в руках первое издание, и он указывает без всяких нужных сопоставлений следующие в нем перемены: «резкие выпады против “социалистов” и “террористов” смягчаются; выпускается глава “Митинг”, исчезают “интеллигентный партийный сотрудник”, пролетарий сознательный, пролетарий бессознательный, два еврея-социалиста, бундист, мистический анархист, “Рхассея” и “тва-рра-шшы”».

Подобными хирургическими ампутациями прежнего текста Белый делал его менее вирулентным, выпрашивая этим прощение, чтобы, с согнутой спиной, возвратиться в лоно СССР, начать там новую жизнь, со взглядами, не имеющими ничего общего с его прежним мировоззрением.

Белый не ограничился тем, что изобразил революцию в духе «Бесов». Он прибавил к этому нечто другое. Ознакомившись с «Куликовым Полем» Блока, Белый был им «потрясен». *«Действие этого стихотворения на меня было*

действием грома». Несмотря на ссору, у Белого срывается восторженное послание к Блоку, и тот ему на него отвечает «душистым письмом». До сих пор не было случая, чтобы Белый перенимал какую-либо идею, теорию, философию у Блока. Теоретически-косноязычный Блок лишь повторял идейные броски Белого. «Куликово Поле» внесло изменения в их отношения. Но что в сущности хотел сказать своим стихотворением Блок? Мочульский уверяет, что «в дни создания "Куликова Поля" ясновидцу Блоку было открыто [sic] будущее»: он «знал, что Россию ожидают огненные испытания, море крови и беспримерная слава» и уже «слышал торжественную и грозную музыку испепеляющих годов 1914-го, 1917-го, 1941–45-го». Просто неловко это читать, и лучше не говорить, как надо назвать уверения Мочульского. Но даже и это меркнет перед другим толкованием «Куликова Поля», которое дают советские редакторы Государственного Издательства, выпустившего в 1946 г. в одном томе сочинения Блока. В статье Блока «Народ и интелигенция», пишут они, «образы цикла "На поле Куликовом" расшифровываются с полной ясностью: русский стан Дмитрия Донского – это полуторастамиллионный народ, а "вражий стан поганой орды" – несколько сот тысяч "интеллигентов"». От Блока, объяснявшего, например, смерть Комиссаржевской «лиловыми мирами», можно было всего ожидать; однако, только что приведенная расшифровка «Куликова Поля» отдает такой глупостью, что останавливаться на ней не буду. Полезнее прочитать следующую заметку Блока в дневнике от 14 ноября 1911 г.:

«Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью ... Остается маленький последний акт: внешний захват Европы ... Ловкая куколка-японец положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца и глянет "живыми, черными, любопытными" глазками в оловянные глаза *бывшего* арийца».

Если уже расшифровывать «смысл» «Куликова Поля», то нужно идти в этом направлении[21].

В этом направлении и пошел А. Белый, ухватившись за строфу Блока:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Грудь России навеки пронзила стрела «татарвы» – губящей силы Востока. Такая теза тем легче входит в сознание Белого, что хорошо увязывается с концепцией Соловьева о грядущем панмонголизме. Отныне на всем, что совершается в России, Белый видит признаки нашествия Востока; и под революцией, и под реакцией одна и та же восточная стихия – разрушительное «монгольское дело». «Красное домино» прежде мыслилось Белым, как эмблема желанного восстания. Оно делается ныне символом надвигающегося на страну восточного хаоса. Взаимоотношения России с Западом и Востоком – многовековая острая проблема (в наши дни превращающаяся в проблему мирового порядка). Ее большое и сложное содержание Белый в «Петербурге» упростил

---

[21] Я говорил уже, что Белый, постоянно переосмысливая «Петербург», вкладывал в него различные смыслы. Коллекцию «смыслов» стоит дополнить тем, о котором Белый говорит в «Записках Мечтателей» 1922 г. № 6: «Пусть "Петербург" носит совершенно иной внешний вид, чем "Куликово поле", однако, глубинный мотив "Петербурга", неудачно выявленный и загроможденный внешней психологической фабулой, едва слышно читателю укладывается в строки Блока: "Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал, молись". А вся психологическая фабула "Петербурга" есть подлинный рассказ о том, какими оккультными путями злая сила развязывает "дикие страсти под игом ущербной луны" и рассказ о том, как "не знаю что делать с собою, куда мне лететь за тобой"». Этим «смыслом» «Петербург», кажется, опоражнивается уже от всякого смысла.

до крайности. Роман не может быть ученым трактатом, от «Петербурга» этого никто требовать не будет, все же слишком уж видно, что указанная проблема представлена в нем на очень низком уровне. В тексте «Петербурга» Белый чисто механически в разных местах вставляет слова: «туранец», «туранство», «татары», «монгол», «монгольское дело», «всадники Чингиз-Хана», «японцы». Разрисовка текста подобными пятнами должна означать заразу Востоком. Белый подчеркивает, что глава реакции, сенатор Аблеухов, из черепной коробки которого стремительно несутся управляющие Россией циркуляры, киргиз-кайсацкого происхождения. Значит, туранец. Сын сенатора Николай в бредовом сне видит туранца. Он сознает, что «монгол» его кровь, и ощущает арийство только как свою оболочку.

«Туранец воплотился в плоть столбового дворянства, чтобы исполнить заповедную цель: расшатать все устои». Дудкин уверен, что «во всех русских – монгольская кровь». В бреду он постоянно видит «монгола на темно-желтых обоях своей комнаты». Провокатор Липпанченко – «помесь семита с монголом». «Желтые монгольские рожи прорезают площади Петербурга». Давление Востока ощущает и Степка – простой, «без понятиев» парень. На вопрос Дудкина: «А с Петербургом что будет?» он многозначительно замечает: «Кумирню какую-то строят китайцы». Сливая предсказания Соловьева с «жуткими предчувствиями» Блока, Белый пророчествует:

«Бросятся с мест своих все народы земные; брань великая будет – брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!

Куликово поле, я жду тебя.

Воссияет в тот день и последнее Солнце над моей родной землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце,

под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся ко дну океанов – в прародимые, в давно забытые хаосы ...»

Здесь Белый как будто предвосхищает «Скифов» того же Блока. России предназначается на новом «Куликовом Поле» отразить нашествие Востока, спасти этим Европу. Однако так ли уж страдал в то время Белый от мысли, что европейские берега могут опуститься под тяжелой монгольской пятой? В «Петербурге» в самом конце мы узнаем, что культура Европы – *«трухлявая голова», «в ней все умерло, ничего не осталося»; «будет взрыв, все сметется».* Жалеть, значит, нечего. Ведь если Восток несет темь, азиатчину, хаос, отсутствие ценностей, «превращенных в ничто», то и Запад – мир перспектив и «Медного Всадника» – тоже ничего доброго не дает. Он «омертвляет культуру», подменяет «духовную революцию механизацией», вместо ценностей устанавливает «нумерацию по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена», а вместо нового строя «зарегистрированную циркуляцию граждан Проспекта». Двусмысленная шаткость этой «критики» Запада особенно видна в наши дни. Белый бьет по Западу, а попадает в Восток, это там, на всем огромном пространстве за железным занавесом «на вековечные времена введена зарегистрированная циркуляция граждан». Мысль Белого все-таки ясна. Запад он отвергает и в «Петербурге» хоронит и отвергает Петербург Медного Всадника. Он отвертывается и от революции, и от реакции, и от Запада, и от Востока. Чего же он хочет, куда идет?

Намек на ответ – в конце романа. После смерти родителей Николай Аблеухов возвращается на родину, живет в деревне, в имении Пролетном. Прежнего Аблеухова уже нет. Бредящий шут исчез. В драматической переделке «Петербурга» Аблеухов (в угоду большевикам) изображен сходящим с ума.

В романе, наоборот, он показан душевно выздоровевшим, переродившимся: «Носил он поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал сапогами, золотая, лопатообразная борода изменяла его; а шапка волос выделялась серебряной прядью; та прядь появилась внезапно... он жил одиноко; никого-то не знал, ни у кого не бывал; видели его в церкви; в последнее время читал он философа Сковороду».

С этим оригинальным украинским философом конца XVIII века, во многом напоминающим Льва Толстого, пожелавшим, чтоб на могиле его была помещена сочиненная им эпитафия: «Мир ловил меня, но не поймал», Белый познакомился по вышедшей в 1912 г. книге Эрна. Кажется, более всего его привлекли слова Сковороды: «Не хочу наук новых, кроме умностей Христовых, в коих сладостна душа».

Еще более отчетливый ответ на вопрос, куда же шел в «Петербурге» Белый, находим в словах Степки. В романе ему отведено мимоходом десятка полтора строчек. От этой мимолетной фигуры, казалось бы, ничего важного услышать нельзя; однако, несколько его слов, среди неуклюжих других, намечают направление, в котором нужно искать *конечный религиозный смысл «Петербурга»*. Степка верует, что «Рассея – Христова» и «барину» Дудкину предлагает «пошептаться». О чем? «Все о том, об одном: о *втором о Христовом пришествии*». На замечание Дудкина: «Все это вздор», Степка восклицает: «Ей, гряди, Господи». Сравним с «Бесами». Конечный смысл произведения Достоевского сводится к вере, что больная Россия, разлагаемая бесами и бесенятами, выздоровеет и сядет у ног Иисуса. Шатов убежден, что второе пришествие Христа произойдет именно в России, стране-богоносце. Ряд мест в «Петербурге» свидетельствует, что подобная мысль бродит и у Белого. Он высказывает ее в форме, которая, вероятно, должна шокировать верующих людей. В самом деле обратимся к тексту.

София Петровна Лихутина явилась на бал к Цукатовым, не слушая просьбы мужа туда не ехать. Слоняясь по залам, Лихутина увидела белое домино.

... Кто-то печальный и длинный, кого будто видела многое множество раз, весь обернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам; из-под прорезей маски смотрел светлый свет его глаз, заструился с чела, от его костенеющих пальцев ...

Лихутина подумала, что это ее муж приехал за ней – увезти. «Ведь это вы?» «Но печальный и длинный так медленно покачал головой; и велел ей молчать».

«Уж они проходили в переднюю: невыразимое окружало их: невыразимое тут стояло вокруг ... Печальный и длинный ... своей маски не снял. С изумлением София Петровна глядела на длинного: удивлялась тому, что не подали офицерской одежды, но – рваное пальтецо, из которого как-то странно просунулись кисти, напомнивши лилии. Вся рванулась к нему от лакеев, смотревших на зрелище; невыразимое окружало их; невыразимое тут стояло вокруг. Но печальный и длинный на освещенном пороге так медленно покачал головой и велел ей молчать».

Они вышли на улицу.

«... очертание неизвестного спутника высилось перед нею. Рукой помахало в тумане: "Извозчик!" И – все поняла: у печального очертания был ласковый голос – ею слышанный многое множество раз ... Кто мог это быть? Неизвестное возвышало голос: он креп, креп и креп, и казалось, под маскою Кто-то, Безмерно-Огромный. Молчание кидалось на голос; ответствовал пес.

– Кто же вы?

– Вы вот все отрекаетесь от меня: я за всеми хожу. Отрекаетесь, а потом призываете ...

София Петровна тут на миг поняла, что такое перед ней: слезы сжали ей горло; она хотела припасть к этим тонким ногам и руками обвиться вокруг тонких колен неизвестного, но в это мгновение загремела пролетка; и Ванька вдвинулся в светлый свет фонаря; очертание ее усадило в пролетку; когда умоляюще протянула ему из пролетки дрожащие руки, то очертание ей велело молчать. А пролетка уже тронулась; если бы остановилась и, о, если бы повернулась назад в светлое место, где мгновение перед тем Он стоял и где Его не было».

Не будучи знаком с литературой по этому вопросу, все же думаю, вряд ли кто-либо до Белого называл Христа «длинным» и «очертанием», изображая его в белом домино, посещающим бал, вызывающим Ваньку-извозчика, подсаживающим даму в пролетку и чтобы на голос его «ответствовал пес». Белый открыл в этом направлении дорогу и Блоку, и Есенину в «Инонии». После этого почему бы Блоку (на 15 лет позднее) не изобразить Христа идущим, в сопровождении пса, с «кровавым флагом», в «белом венчике из роз» впереди двенадцати красноармейцев, «раздувающих на горе всем буржуям мировой пожар в крови»?

Печальный и длинный появляется не перед одной Лихутиной. Его присутствие чувствует и Николай Аблеухов и хочет пасть на панель:

«Я больной, я глухой ... Успокой меня»

И услышать в ответ:

«Встань»

«Иди»

«Не греши»

«Печальный и длинный» проходит и около Александра Ивановича Дудкина.

«Кто-то, кого Александр Иванович не раз видывал, показался опять в глубине восемнадцатой линии (Васильевского

острова – *Н. В.*); тихо вступил в светлый круг фонаря, но казалось, что свет заструился от головы, от его костенеющих пальцев ...

Александр Иванович вздрагивал, как печальный и длинный всегда обращал на него свой всевидящий взор, свои впалые щеки».

Мочульский много говорит в своем анализе «Петербурга» об «ослепительном видении» и «тяжело-звонком скакании Медного Всадника», но не промолвил *ни слова о* видении «печального и длинного». Как это ни странно, на эту религиозную струю «Петербурга» Мочульский – верующий человек – не обратил никакого внимания, на нее приходится указывать мне, «секуляристу» и позитивисту.

«Петербург» не только мир «извращенных перспектив», картин бреда, галлюцинаций, видений монголов, Шишнарфнэ, Пеппа Пепповича Пеппа, вывертываний себя наизнанку, провокации, одержимости, бесовщины. *В нем «невыразимо» присутствует «печальный и длинный», «Безмерно-Огромный».* Значит, Степка не ошибается: несмотря на всех бесов, «Рассея – Христова», ну, а раз так, нужно «пошептаться» о втором пришествии Христа. Эта тема издавна глубочайше запала в душу Белого. С восемнадцати лет она около него и в нем. К ней Белый шел и в своей «Симфонии» 1902 г. Не он ли изображал Москву, освещенную огнем апокалиптических чаяний, и почившего В. Соловьева, разъезжающего по городу и кричащего: «Конец уже близок, желанное сбудется скоро». И не о том ли говорил в «Симфонии» отец Иоанн: «Разве не видите, что близко, что уже висит над нами? ... Что недолго осталось терпеть?» «И казалось, где-то за спиной *близились чьи-то шаги*».

Приглушенная в «Петербурге», еле отмеченная там мимолетными словами Степки, идея о втором пришествии снова взлетает у Белого в Дорнахе, то выделяясь из сумбура его

помешанного сознания, то утопая в нем. Он верит, что «второе пришествие началось ... Второе пришествие – пресуществление в Христе всей планеты и "Я", обитающих в Базеле, в Петербурге, в Саратове, совершится воистину. Знание это теперь математика новой души».

Уезжая в августе 1916 г. в Россию, плача, что она «погружена в ночь», Белый, однако, верит, что «за ночью – Он» – близятся его шаги.

В 1917 г. я совсем не интересовался – не до этого было – какую позицию занял Белый после февральской революции. Случайно узнал от встречавшегося с Белым Янтарева (мы работали с ним во «Власти Народа»), что Белый придерживается «крайних циммервальдских идей», требует немедленного прекращения «позорной» войны, «снятия с креста распятой России» и, ожидая больших событий – взрыва – более чем когда либо охвачен мессианическими чаяниями. Передача Янтарева была верна. Настроение Белого подтвердило страстное стихотворение, написанное им в августе 1917 г., и призывавшее к «безумству»:

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, –
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины, –
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.
……………………………..
Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез –
Лучем безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.
……………………………..

И Ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия –
Мессия грядущего дня!

Итак, в августе 1917 г. Белый видел в России *Мессию* грядущего дня, поэтому нет ничего неожиданного в том, что Октябрьскую революцию он принял с экстазом, религиозным восторгом и «с умилением»:

И что-то в горле
У меня
Сжимается от умиления.

Блок, воспевая Октябрьскую революцию, написал в январе 1918 г. свои «Двенадцать», Белый в апреле 1918 г. – поэму «Христос Воскресе». Он утверждал, что Христос воскрес не где-либо, а в 1917 г. *именно в России*. «Второе пришествие» в ней произошло. Произошел тот «взрыв», предчувствие и желание которого с ранних лет жило в его сознании. «Волить взрыва» – это я слышал от него осенью 1905 г. И все, что вложил в Белого Вл. Соловьев («конец истории»), все, чем символом «Облеченной в солнце Жены» манил Апокалипсис, то Шатовское, что внушил ему признанный им с некоторым запозданием Достоевский – спеклось, спаялось в его поэме. Она – синтез, заключительный аккорд мистических чаяний и предчувствий.

Россия,
Страна моя –

Ты – та самая Облеченная солнцем Жена,
К которой Возносятся Взоры...
Вижу явственно я:

Россия,
Моя, –
Богоносица,
Побеждающая Змия ...

Народы,
Населяющие Тебя,
Из дыма
Простерли
Длани

В Твои пространства, –
Преисполненные пения
И огня
Слетающего Серафима.
……………………………..
– «Сыны Возлюбленные,

Христос Воскрес!»

Поэма Белого несомненно насыщена густым националистическим духом. Несмотря на антропософическую манеру, с которой Белый представляет воскресение Христа, поэма его далека от Дорнаха и Рудольфа Штейнера. В ней – Степкина «Рассея», богоносица, Россия Шатова. С интернационалистическим духом Октябрьской революции, руководимой Лениным, она не вяжется. Белый осиливает это противоречие грубо малярным способом, намазывая, где только может, плакаты «Третьего Интернационала». У него паровозы хором поют о Третьем Интернационале, о том же «выкладывают телеграфные ленты» и «мелкий дождик стрекочет и твердит: "Третий Интернационал"». Подмалевав таким образом «Рассею» Степки (по Блоку, «кондовую, толстозадую»), Белому уже легче написать:

В эти дни и часы
Совершается
Мировая
Мистерия.

Подобно Блоку, Белый не преминул плюнуть в «очкастого расслабленного интеллигента», не понимающего, что коммунистическая Октябрьская революция – это «комета, летящая

из запредельной действительности и несущая преодоление необходимости в царстве свободы». Он стал певцом этой революции, мистическим национал-коммунистом[22].

И естественно, что, когда голодный, ободранный, обовшивевший (см. его письмо «Асе» – А. А. Тургеневой – напечатанное Ходасевичем в «Современных Записках» в 1934 г.) Белый, убегая из России, появился в Берлине, каждый имел право спросить его: почему вы, национал-коммунист, здесь? Почему вы убежали оттуда вместо того, чтобы вместе с коммунистами вложиться в совершающуюся в России «мистерию»?

Со свойственной ему быстротой в смене вех Белый на это отвечал: «Автора "Христос Воскрес" обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот вздор автор даже не мог (не смел) печатно ответить. Представитель духовного сознания и антропософ не может просто присоединиться к политическим лозунгам. Никто не подумал (все влипли в стадные переживания), что тема поэмы – интимнейшее индивидуальное переживание, независимое от страны, партии, астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал еще Мейстер Экхарт, о том писал апостол Павел. Современность лишь внешний покров поэмы. Ее внутреннее ядро не знает времени».

---

[22] Крайне любопытно происшедшее позднее, в послеленинское время, сближение идеологов атеистического коммунизма с мистическим национал-коммунизмом Белого. Они, конечно, не называют СССР «богоносцем» и страной «Облеченной в солнце Жены», но они утверждают, что «пришествие» Октябрьской революции превратило «Рассею» в светоч мира. Все, о чем мечтало человечество – равенство, свобода, братство – уже будто бы осуществлено в СССР. Советская Россия – учитель мира и творец всех чудес. Все лучшее в мире создано в СССР. Советский Союз – священный конец тысячелетий исторического развития. Сей мистико-националистический образ вбивается в головы с помощью тюрем, расстрелов, концентрационных лагерей, распинающих «Облеченную в солнце Жену».

Возражение Белого для него типично и характерно. Страстное утверждение вчерашнего дня он отметал маленьким поворотом языка, одним каким-нибудь словом: заявив, что поэма «Христос Воскрес» «независима от страны и астрономического времени», он просто сделал вид, что это не он представлял Россию богоносицей и «Женой, облеченной в Солнце». Подобно Блоку, лживо заявившему, что его «Двенадцать» – произведение искусства, лишенное политического смысла и запаха, такое-же отречение от политического содержания своей поэмы «Христос Воскрес» произвел и А. Белый. И тот, и другой – хамелеоны. И Белый – нужно же все-таки это сказать – хамелеон талантливый.

XII
Пленение А. Белого «Вехами» Гершензона

В самом конце декабря 1908 г. – почти накануне Рождества – «красная шапка» (особые посыльные для скорой доставки писем) принесла мне письмо А. Белого: «Я болен, из дома не выхожу, скучаю, убедительно прошу откликнуться на просьбу больного и меня посетить». Хочу сказать об этой болезни и болезнях А. Белого вообще. Я уже говорил о представлении, которое я имел о Белом в течение первых месяцев знакомства с ним. «Голова, крылья, а дальше ничего нет». Он казался «духом», только «духом», бесфизичным, нетелесным, в особенности далеким от каких-либо забот о своем «бренном» теле. Мое представление было ложным, далеким от соответствия с действительностью. Доводя до болезненности, до феноменальной напряженности, внимание к своему духовному «я» (все и всегда превращалось в автобиографию), Белый столь же болезненно относился и к охране, к ощущению «физической» оболочки своего «я». Какие бы трагедии, какие бы «невыносимые» духовные страдания ни испытывал Белый, с уверенностью скажу, что он никогда не мог бы покончить с собою. Советский пресс «вывернул его наизнанку», опорожнил от всего, что Белый считал истинным, святым, не оставил ему даже малюсенькой «форточки», чтобы подышать другим воздухом, Белый все вынес и умер не от недостатка «воздуха».

В 1906 г. летом его отношения с женою Блока приняли столь мучительный для него характер, что он «решил» покончить с собою: «Хочу уходить себя голодом; тайно от друга (Сергея Соловьева), я делаю вид, что я ем; через несколько дней я так слаб, что усилием воли держусь на ногах; тут Сережа, меня заперев, объясняется очень серьезно. Я пойман с поличным; откладываю голодовку».

Все – сущая комедия, театр! Если бы Белый думал на самом деле покончить с собою, он убежал бы в ближайшую рощу (он жил в это время в деревне) и там повесился или бросился под поезд: железная дорога была недалеко. Вместо этого он демонстративно отказывался от супа и жаркого, зная наверняка, что Сережа и «бабуся» это заметят и, конечно, его «убедят» (этого-то и ждал) так называемую «голодовку» окончить. В Петербурге после долгого ожидания ответа от жены Блока – любит ли она его – он снова «решает» покончить с собою. Он хочет броситься в Неву: «Очутился у моста, машинально согнувшися, перегибаясь через перила, едва не бросился».

Конечно, не бросился. После «медитации» вынес заключение, что «самоубийство, как и убийство, есть гадость». Все свелось к тому, что «намерение» броситься в Неву он потом пять раз детально описал, два раза в романе «Петербург». Если самоубийство бросало его в ужас, то почти с таким же страхом относился он даже к маленьким своим болезням. В 1907 г. Белый, Блок и Соколов ездили в Киев читать лекции о символизме. Накануне лекции у Белого заболел живот – с кем это не бывает! Но Белый немедленно вообразил, что у него холера, надвигается смерть, кинулся из своего номера гостиницы в номер Блока, в испуге бегал по комнате, заставил Блока всю ночь ухаживать за собою, как за тяжко больным. А под утро все прошло. В 1908 г., будучи в Петербурге, Белый узнал, что в городе зарегистрировано несколько случаев холеры, и, устрашенный этим, бросил все дела, умчался от холеры в Москву. С какой трагико-мистичностью относился он к своим хворям, особенно хорошо видно из следующего примера. В 1906 г. у Белого обнаружился геморрой – болезнь не опасная, но неприятная, неэстетичная, сопровождавшаяся большими кровотечениями. Подавленный терзавшими его отношениями с женою Блока, он в это время

бегал по Петербургу, по его словам, с бредовой жаждой «убийства» соперника (Блока). «Поднялось “красное домино” в черной маске, с кинжалом в руке, чтобы мстить за святыню: в других и себе».

Он возмущался, что вот, мол, он страдает, а «люди, умевшие не страдать, но капризничать (намек на жену Блока), отдались забавам “козлиных игрищ” в те *именно дни,* когда из меня пролилось ведро крови – не метафорической, настоящей, о-т-р-а-в-л-е-н-н-о-й!»

Эта кровь, извиняюсь за грубость выражения – вылившаяся из геморроидальных шишек, его сознанием воспринимается как кровь особенная, в ее образовании, наверное, играют роль «синие миры».

«Никто не понял, что под коврами гостиных, которые мы попирали, уже виднелась бездна: в нее должны были пасть: Блок или я; я ведро непролитой еще крови прятал под сюртуком».

Из Петербурга, с ведром «непролитой крови», Белый уехал в Мюнхен, а потом в Париж. Он, разумеется, не забывает в своих мемуарах («Между двух революций») подробно рассказать о своей болезни:

«Уже с Мюнхена я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию, огненное “домино”, потухая, как уголь, завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня; ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма... Решил быть стоическим, перемогая страдания, которые пухли от пухнувшей опухоли: ни сидеть, ни лежать ... Ночь – кубари бреда: в трубу вылетал с Николаем Коперником, чтобы винтить в мировой пустоте».

В Париже Белому произвели операцию («разрез был ужасный, как красная яма»), он мастерски ее описал, со злостью замечая, что, когда служители несли его в операционную комнату – «в эти дни Петербург пировал; артистки,

пианистки, эстеты, поэты, попойки и тройки из "Балаганчика", музыка – бум-бум-бум-бум – Кузмина; все неслось галопом, Блок воспевал в "Снежной маске" свое увлечение Волоховой, а у Щ. (жены Блока) был роман. Я-то».

«Пролитие крови» и операцию в парижской больнице, ставшие в воображении и изображении Белого огромным страдальческим актом, якобы никогда не испытанным другими людьми, тем что его выделяло из них и возвышало, Белый не забывал всю жизнь. К своей операции он часто возвращался в мемуарах. В 1922 г., в № 3 издававшегося в Берлине под его редакцией журнала «Эпопея», он разразился по этому поводу совершенно сумасшедшей фразой: «Если бы мы в эти годы умели ходить амфибрахием, ямбом – А. А. Блок был бы жив; не лежал бы в парижской больнице и я».

Смерть Блока и операция геморроя здесь мыслятся происшедшими от одних и тех же причин. В 1933 г., вспоминая, что происходило с ним в 1906 г., Белый счел возможным совершенно серьезно написать следующие слова: «Девятьсот шестой год, год безумной борьбы... до пролития крови своей под ножом оператора».

Такое отношение к своей хвори, поднятие ее на высоту безумно-героического состояния борьбы, акта «вплоть до пролития крови» могло существовать только у Белого. Другой раз, говоря, что силы его души были отданы жене Блока, он писал, что из этого получился «лишь ужас, приведший к ножу оператора». Подобная безвкусная болтовня писалась потому, что он не мог ни к одной своей болезни относиться так, как все другие люди. С этой точки зрения интересно показать, во что под его пером превратилась болезнь, о которой он мне писал, приглашая его посетить.

Придя к нему, я не увидел у него ни малейших признаков болезни. Он был весел, имел хороший вид. «Что у вас?» – «Я простудился», уклончиво ответил Белый. «Был ли у вас

доктор?» – «Да, был» – и замял мои расспросы. И на это имел основание. Слишком было очевидно, что никакой болезни у Белого не было, только самая легкая простуда, вероятно, вылечиваемая одной или двумя таблетками аспирина. Но Белый, со страхом относившийся ко всякой своей хвори, забил тревогу, вызвал себя лечить проф. Усова. Для старика Усова, коллеги отца Белого по университету, Борис Николаевич Бугаев был не Андреем Белым, а Борей и даже Борькой; он видел его еще в пеленках и над «декадентскими» симфониями этого Борьки изрядно потешался. Посмотрите в каком виде подал (в 1933 г.) А. Белый этот визит к нему Усова:

«... Постукивая стетоскопом, он фыркал: – "Знаешь ли, что я тебе скажу, Борька?" – Борькой меня как резнуло (этот, в сущности говоря, мне враждебный кадет обругался). – "Если ты будешь якшаться и впредь с декадентами, то – надул губы он – не жилец ты на свете"».

«Это он произнес с явным желанием меня доконать: папашины сынки не могли простить мне того, что я пошел собственным путем, и использовали даже ложе больного для сведения счетов».

Все в приведенных фразах нелепо. «На ложе» больной не возлежал, свою легонькую простуду перенес на ногах. Проф. Усов, почему-то превращенный в «папенькина сынка», увидев, что «Борька» ничем серьезным не болен, а страдает своей обычной декадентской мнительностью, нужно думать, «Борьку» высмеял и тем его смертельно обидел. И этого Белый ему не мог простить, и спустя 25 лет свел с ним счеты в своих мемуарах, все переврав, все исказив. Этот маленький, но характерный эпизод снова и снова напоминает, с какой осторожностью и недоверием нужно подходить решительно ко всему, что писал о себе Белый.

Когда я пришел к нему, у него сидел гость: маленький, в очках, с очень узкими плечами, растрепанный, с черной

бородой. Бросилось в глаза обилие волос – они залезали ему на щеки, а рука, в которой, облокотясь на ручку кресла, он держал папиросу, была, как у обезьян, густо покрыта черной шерстью. Это был Михаил Осипович Гершензон. Знакомя нас, Белый разразился по моему адресу такими комплиментами, что их передавать мне неловко. Но в его расписывании меня были некоторые фразы, которые нужно привести, так как в связи с ними и «загорелся сыр-бор», началась моя бурная перебранка с Гершензоном, с отсутствием в ней всяких правил вежливости и сдержанности.

«Я вам скажу, Михаил Осипович, что мой друг жил до сего времени под множеством масок. В рабочую среду ходит под именем Евгения Николаевича, в печати выступает под именем Н. Валентинов, по паспорту – Адриан Александрович Дьяков, а на самом деле он – Николай Владиславович Вольский. Последнее время он легализировался, перестал жить под чужим паспортом. Маска, надетая на лицо, исчезла».

Смотря куда-то в сторону, Гершензон буркнул: «Маска упала с лица не только вашего знакомого, она *содрана* теперь с сотен тысяч...»

Меня неприятно ударило слово «содрана».

«В переходе моем и других многих лиц от нелегального состояния к легальному – сказал я – никакой "содранности" нет. Это добровольный акт, продиктованный появившимися возможностями, в связи с изменением общего политического положения страны».

На это Гершензон с великим раздражением бросает:

«Как и почему вы из Иванова сделались Петровым, а из Петрова – Семеновым, совершенно не интересует меня; я говорю о другом, более важном. За последние четыре года, начиная с 1905 г., маска окончательно упала с лица целого общественного слоя, с так называемой русской интеллигенции

и, в особенности, с ее революционной части. Ее преступную безответственность и гадость ныне могут не видеть лишь безнадежно слепые. Своими бессмысленными лозунгами “углублять” революцию, ее расширять, все сметать, все анархически разрушать интеллигенция добилась того, что страна оказалась ни с чем. Вместо “завоеваний” революции – разбитый горшок».

Перебивая Гершензона, я обращаюсь к Белому:

«Стрелы, которые бросает г-н Гершензон, в меня не попадают. Вы знаете, что уже в 1907 г. я утверждал, что революция кончилась и потому ни о каком “углублении” не говорил. Но вы-то стоите на другой точке зрения. Не вы ли, лишь три месяца назад, мне доказывали, что для спасения распятой России нужен новый взрыв, нужна настоящая, углубленная, а не лимонадная революция? С г-ном Гершензоном вы не согласны. Возражайте ему!»

Белый, обаятельно улыбаясь, смотрел на меня и молчал.

Подпрыгивая в своем кресле, Гершензон стал доказывать, что, начиная с 1905 г., политическое руководство, осуществлявшееся русской интеллигенцией – не что иное как непрерывная цепь тупых, злостных ошибок. Преступен ее максимализм осенью 1905 г., преступна затея декабрьского восстания в Москве, недопустимо глупо ее поведение во время Первой и Второй Государственных Дум, преступной аморальностью являются экспроприации, молчаливое приятие которых – позор для русской интеллигенции. Понятно, заключил Гершензон, что мы стоим перед разбитым горшком.

Неоспоримо, что русская революция 1905–06 г. наделала много ошибок, в частности величайшей ошибкой было московское декабрьское восстание (я, хотя участвовал в нем, был против него). Но, возражал я Гершензону, слепы его слова, что революция ничего кроме разбитого горшка не дала. Пусть плоха Государственная Дума, однако, это подобие

парламента, народного представительства, существует и, появись эта третьеиюньская Государственная Дума в 1903 г. или 1904 г. – она была бы принята общественным сознанием как гигантский исторический поворот. Неправда, что революция ничего не дала. Она дала свободу печати, в размерах до сих пор в России не существовавших, принесла некоторую свободу слова, собраний, союзов. Она в какой-то степени поколебала прежнюю подчиненность крестьян помещику, рабочих фабриканту. Вы, г-н Гершензон, – говорил я – читая ваши лекции, ныне пользуетесь свободой, созданной революцией, вы, так сказать, кушаете жолуди, упавшие с дуба, а самый дуб стараетесь подорвать и оплевать[23].

Мои слова буквально взорвали Гершензона. Этот человек обладал способностью «взрываться» и накаляться до самой крайней степени. Хорошо его описавший Белый говорит, что он иногда превращался в «огонь, ураган, землетрясение». В моменты раздражения и полемики он «топал ногами и бил кулаком по столу». «Под очками хмурого, очень строгого лика вырывались огни, под крахмальною грудью кипели вулканы; в иные минуты казалось, что будет сейчас тарарах»; «пламень неистовства» и «огонь ярости начинали блистать в расплавленном его оке». Вот с кем я затеял перебранку – я защищал революцию 1905–06 г., он с неистовством ее клеймил. Он смотрел на меня так, точно во мне сосредоточилось все то зло, которое он хотел бы выжечь огнем.

Вскочив с кресла, подымая высоко над головою кулак, Гершензон кричал:

«Сравнение со свиньей меня нисколько не удивляет. Я усматриваю в этом манеру, принятую жаргоном подполья.

---

[23] Прошу иметь в виду, что передаваемый разговор происходил в декабре 1908 г. Если бы добавить период позднейший, все годы до начала войны, благодетельные последствия революции 1905–06 г. (огромный экономический расцвет) могли бы быть представлены неизмеримо шире.

На отсутствие вежливости я отвечаю уже полным ее отрицанием и без всякого стеснения скажу вам о качествах той интеллигенции, к которой вы принадлежите и с которой теперь окончательно сорвана многих гипнотизировавшая маска».

За этим последовала невероятная по грубости, резкости, озлобленности характеристика русской интеллигенции вообще, а не только ее – революционной части. Интеллигенция России чужда всякой культуры, не имеет никаких правовых понятий. Она – невежественное стадо, начиненное фанатизмом, тупым высокомерием, ничем неоправдываемым самомнением. Интеллигенция состоит не из личностей, а из больных калек. Общественное дело в руках уродов неминуемо должно было окончиться крахом.

Передаю минимум – об этом придется еще писать дальше.

Воспользовавшись моментом, когда удается вымолвить слово, я обращаюсь к А. Белому: «Борис Николаевич, почему вы молчите? Напоминаю, что недавно в Петровско-Разумовском вы сочли нужным воспевать доблесть даже таких фигур, как Нечаев. Вы находили их необходимыми для революции. Теперь г-н Гершензон перед вами клеймит не Нечаевых, а вообще всю интеллигенцию. Скажите хотя бы словечко в ее защиту».

Нечто абсолютно непостижимое и невиданное: А. Белый, обычно словоизвергающий и словотворческий вулкан... упорно молчал.

Продолжая свои нападки, Гершензон доказывал, что народные массы, примкнувшие в 1905 г. к интеллигенции, скоро почувствовали, «что за птица эта хваленая интеллигенция», и от нее отшатнулись. Это произошло сначала в городе, и тому доказательство – отсутствие поддержки декабрьского восстания, и еще яснее отсутствие ее во время разгона Государственной Думы. В деревне крестьяне сначала тоже пошли

«за громилами и поджигателями помещичьих усадеб», действующими по указкам революционных партий, но, так как это противоречило «глубоко установившимся в крестьянстве нравственным и правовым понятиям», они повернулись спиною ко всяким «интеллигентным и неинтеллигентным громилам».

«Не нравственные и правовые понятия – отвечаю я – пресекли аграрное движение, а нагайки казацкие и военные отряды».

«Ваше замечание, – кричит Гершензон – лишь подтверждает, что вы не понимаете русского народа, ровно ничего не знаете о нем, вы все чужды ему. Вас от народа отделяет пропасть. Вы ему ненужны. Тщетно славянофилы учили, что душа народа отличается от искривленной, безобразной, больной психики интеллигенции. Интеллигенция этого до сих пор не поняла, мудрые указания славянофилов от лба ее отлетели как горох от стены».

Как ни раздражало меня все, что говорил Гершензон, поведение Белого злило в гораздо большей степени. В своих мемуарах он пишет, что в годы детства и юности на него накатывала странная «немота», и «Бореньку» тогда считали «идиотиком». В виде немотствующего идиотика он присутствовал и при моей перебранке с Гершензоном. Задирая его, стремясь прекратить эту, на меня удручающе действовавшую, немоту, я в третий раз обратился к Белому:

«Слышите, что говорит г-н Гершензон о славянофилах, знатоках России и русского народа? Вы, конечно, с этим не согласны. Ведь еще недавно вы мне доказывали, что Шатов Достоевского именно потому, что он славянофильствовал, ровно ничего не понимает в русском народе и есть бесприместная, темная, лимонадная реакция. Я жду ваших возражений г-ну Гершензону. Жду от вас и указания,

что он ошибается, считая, что аграрное движение совершенно прекратилось. Не вы ли еще не так давно – летом – меня уверяли, что деревня сейчас подобна вулкану, из которого того и гляди польется лава?»

Моему изумлению нет пределов.

И на этот – *уже на третий – вызов Белый ничего не ответил!* Спор с Гершензоном продолжался. Слова, им мне бросаемые, мои ответы ему (я к этому вынуждался) были столь лишены вежливости, так резки, что «атмосфера» в комнате накалялась, делалась непродыхаемой. Взвинчивала нервы не только таинственная немота Белого. Таинственно и непонятно было, что Гершензон не обращал никакого внимания на замечания, которыми я «провоцировал» Белого. Казалось бы, мои разоблачения речи Белого в Петровско-Разумовском должны были вызвать у Гершензона яростную критику Белого. Вместо этого, отстраняя Белого, он неистово накидывался на меня. После часа перебранки я решил, что лучше всего будет уйти.

«Наш спор – сказал я, – принял такие формы, что боюсь, как бы не вступить в драку, но сегодня у меня нет желания драться».

Я кивнул головой Гершензону, пожал руку Белому и пошел в переднюю. Белый бросился за мною, суетливо стал помогать надеть шубу и приглашать меня придти к нему на Рождество ...

«Пожалуйста, очень прошу, приходите, я уже начал устраивать елку. Будет очень весело».

Я сухо поблагодарил его – вряд ли, мол, останусь на Рождество в Москве. Это была отговорка. Я прожил в Москве до начала февраля 1909 г., когда уехал в Житомир (там в разъезжающей по России оперной труппе была моя жена), а оттуда в Киев. После того как я увидел «немотствующего»

Белого, желание встречаться с ним полностью исчезло у меня, и я уехал из Москвы, с ним не простившись.

А теперь к тому, что сказано, необходимые добавления.

В марте 1909 г. – три месяца спустя после только что описанного – вышел в свет сборник «Вехи», имевший огромный успех: через два месяца после его выхода появляется второе издание, еще через два месяца третье издание. Нет другой книги, которая в эти годы имела бы такой резонанс, заставила бы о себе так много говорить. Относясь к этой книге объективно, без страсти, можно теперь увидеть, что она не была лишена верных мыслей и оценок, но тогда она вызвала бурю. Сборник, приглашавший пересмотреть все «основы традиционного мировоззрения» русской интеллигенции, «сменить вехи», провозглашая «первенство духовной жизни над внешними формами общежития», был понят не только в кругах революционной, партийной, радикальной интеллигенции, им особенно задетой, но и среди многих кадетов – либералов –, как тенденциозный, реакционный, почти черносотенный приговор над идеями и стремлениями, воодушевлявшими в течение десятилетий лучшую и наиболее активную часть русского общества. Отсюда резкая критика, протест, негодование. Сборник содержал статьи Гершензона, Бердяева, Булгакова, Струве, Франка, Кистяковского, Изгоева. Идея сборника принадлежала Гершензону, он собирал для него статьи, в этом смысле был его редактором, и ему же в «Вехах» принадлежит наиболее агрессивная статья о русской интеллигенции. Из беседы в 1913 г. с С. Н. Булгаковым мне стало известно, что он и П. Б. Струве дружески намекнули Гершензону, что было бы хорошо, если бы он внес в свою статью кое-какие смягчения и оговорки. Гершензон на это пошел, но оговорки, делая его растрепанную, стилистически плохо написанную статью, противоречивой (особенно в ее

конце), лишь немного смягчили ее агрессивный, озлобленный тон. Вот несколько цитат, достаточно характеризующих ее содержание:

Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотично как у нас ... Общественность заполонила сознание ... Распад личности ... сделал интеллигента калекою ... Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь: «Все на улицу! Стыдно сидеть дома!» И все сознания высыпали на площадь, хромые, слепые, безрукие: ни одно не оставалось дома. Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома – грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, да оно и легче и занятнее, нежели черная работа дома ... Никто не жил – все делали (или делали вид, что делают) общественное дело. Не жили даже эгоистически, не радовались жизни, не наслаждались свободно ее утехами, но урывками хватали куски и глотали, почти не разжевывая, стыдясь и вместе вожделея, как проказливая собака ...

... В целом интеллигентский быт ужасен, подлинная мерзость запустения: ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности, день уходит неизвестно на что, сегодня так, а завтра, по вдохновению, все вверх ногами; праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности; перед властью – то гордый вызов, то покладистость ... Наша интеллигенция на 9/10 поражена неврастенией: почти нет здоровых людей, все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью ... Чем больше люди уходили в общественность, тем больше калечилось их сознание, а чем больше оно калечилось, тем жаднее бросалось на общественность ... Личностей не было – была однородная масса, потому что каждая личность оскоплялась уже на школьной скамье ... А масса интеллигенции была безлична со всеми свойствами стада: тупой косностью своего радикализма и фанатической нетерпимостью ... Будь в России хоть горсть цельных людей с развитым сознанием,

т. е. таких, в которых высокий строй мыслей органически претворен в личность, деспотизм был бы немыслим (?? *Н. В.*)... История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения – сплошной кошмар...

То фанатическое пренебрежение к эгоизму, как личному, так и государственному, которое было одним из главных догматов интеллигентской веры, причинило нам неисчислимый вред. Эгоизм, самоутверждение – великая сила; именно она делает западную буржуазию могучим *бессознательным* орудием Божьего дела на земле... [На Западе] нет той метафизической розни [между народом и интеллигенцией], как у нас ... Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности ... Что народная душа *качественно* другая, это нам и на ум не приходило. Мы и вообще забыли думать о строе души... Напрасно твердили славянофилы о своебытной насыщенности народного духа, препятствующей проникновению в народ *нашей* образованности... Мы не понимали, что народ наш – ребенок по знанию, но старик по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению. Интеллигенция выбивалась из сил, чтобы просветить народ, она засыпала его миллионами экземпляров популярно-научных книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые журналы, и все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы препарировать весь этот материал к его уже готовым понятиям. Могла ли интеллигенция – кучка искалеченных душ – остаться близкой народу? ... Сонмище больных, изолированное в родной стране, вот что такое русская интеллигенция. Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению, она не могла победить деспотизм: ее поражение было предопределено. Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит – значит не все сказать. Он, главное, не видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе. Мы даже не догадывались об этом... Мы для него [народа] – не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже

ненавидит, что мы свои. *Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной*[24].

Эта статья, когда я был в конце декабря у Белого, конечно, уже была написана, и, если соединить только что приведенные из нее цитаты с теми словами, что я передал выше, можно уже составить полное и точное представление, какого рода взглядами была в то время наполнена голова Гершензона. С тех пор прошло 45 лет, прежним страстям, казалось бы, нет уже места, и все-таки, вспоминая все, что с неистовством вылетало из уст Гершензона, я не могу даже теперь подавить в себе неприятного чувства. Я понимаю мое решение уйти: слушать Гершензона было нельзя, можно было действительно дойти до драки. В своем неистовстве этот культурный человек несомненно дошел до настоящего черносотенства. Ведь именно в черносотенных кругах, в какой-нибудь «Земщине» или «Русском Знамени» считали интеллигенцию «сонмищем жидо-масонов», людьми чуждыми народу, мерзкими безбожниками, развращающими народ и толкающими его на всякие преступления. Этот дух сквозил из статьи Гершензона (хотя она была смягчена), но с еще большей силою выпирал из того, что я слышал от него. В 1933 г. Белый, уже подмятый советской властью, и к ней приспособляясь, писал:

«... в минуту своих обуянностей [Гершензон] был как слепой; путал даже не так как большой, а как маленький, в драку вступивший ребенок; считаю несчастным, но, к счастью, минутным заскоком составленный некогда им сборник "Вехи"; хотел он сказать "нет" кадетской общественности; а повел себя как черносотенник; вскоре по выходе "Вех" Гершензон

---

[24] От слов «нам не только» и до конца фразы подчеркнуто мною. – *Н. В.*

испугался того, что наделал; позднее о “Вехах” – ни слова[25]; ни слова и я, потому что я понял: хотел-то он выскочить из интеллигенции; и сослепа выскочил не туда; его подлинная природа сказалась позднее: не в сочувствии даже к Октябрьскому перевороту, а в воистину диком, ревущем восторге, с которым он встретил его».

Гершензон был исследователем русской барской культуры; о том свидетельствуют его книги – о Чаадаеве, Печерине, Тургеневе, Грибоедовской Москве, и вел он эти исследования не с большевицким отрицанием этой культуры, а с любовным к ней отношением. Откуда его «ревущий» восторг перед Октябрьской революцией, анализировать не буду, но большевиком он не стал, дожил до 1925 г., и, не умри «во время», его судьба наверное была бы плачевной. Сейчас не об этом идет речь, сейчас я хочу показать, что Белый лгал, стремясь уверить, что он будто бы отрицательно отнесся к «минутному черносотенному заскоку» Гершензона и к сборнику «Вехи». Белый, вероятно, думал, что в 1933 г. никто не знает, что по выходе «Вех» он приветствовал сборник в статье «Правда о русской интеллигенции», напечатанной под псевдонимом «Яновский» в майской книге журнала «Весы» за 1909 г. Вот что он писал:

«Поднялась инсинуация; “Вехи”-де шаг направо, тут-де замаскированное черносотенство; печать не ответила авторам “Вех” добросовестным разбором их положений, а военно-полевым расстрелом сборника; тем не менее, “Вехи” читаются интеллигенцией : русская интеллигенция не может не видеть явной правдивости авторов и красноречивой правды о самой себе, но устами своих глашатаев интеллигенция перенесла центр обвинения с себя, как целого, на семь злополучных авторов. Интеллигенция – эта духовная буржуазия – давно осознала себя как класс; остается думать, что идеологи

---

[25] Неверно. Гершензон от своей статьи не отрекался и в 1913 г. – *Н. В.*

ее часто бывают ею инспирированы; ведь она пишет себе самой о себе самой; пресса – угодливое зеркало русской интеллигенции... и в негодовании прессы по поводу выхода “Вех” слышатся иногда те же ноты, какие слышатся в негодовании лицемерных развратников при виде наготы; нагота, в которой предстают нам подчас слова авторов “Вех”, должна раздражать развратных любителей прикровенного слова; прикровенное слово сперва извратило смысл статей Бердяева, Гершензона, Струве и др., а потом совершило над ними варварскую расправу».

Сей «документ» свидетельствует, что Белый лгал, заявляя, что был против «Вех», и, обнаруживая его ложь, я могу теперь показать, в какой обстановке он сделал свой поворот на 180° от «взрывчатых» идей, слышанных мной в Петровско-Разумовском: он прыгнул от Верховенского-Нечаева к «Вехам» и затем переделал до неузнаваемости свой прежний проект «Петербурга».

У Белого всю жизнь был какой-нибудь сменяемый «собеседник», которому он открывал свою душу, свои страдания, мысли, литературные планы. Ему всегда был нужен кто-нибудь, кому он мог бы рассказывать о своем «Я». К такому лицу он временно прислонялся, в некоторой степени им заражался, а потом обычно со злобой, с ссорой от него уходил. В этом положении перебывали Мережковский, Гиппиус, конечно Блок, Сергей Соловьев, Эллис, Вяч. Иванов, Ходасевич, Метнер, «Ася» (А. А. Тургенева), позднее Моргенштерн и другие. Одно время в «собеседники» попал и я. По словам Белого, первая встреча его с Гершензоном произошла в ноябре 1907 г. Это возможно, но постоянным «собеседником» Гершензон тогда еще не стал. Это произошло позднее – в конце октября или начале ноября 1908 г. Постоянному общению с Гершензоном способствовало то обстоятельство, что Гершензон жил в том же Никольском переулке, что и Белый,

на расстоянии лишь нескольких домов от него. И так как Белый всегда предпочитал заходам к нему «собеседников» свои полеты к ним, он стал часто бывать у Гершензона и подпал под его влияние. Об этом говорят не только письма Белого ко мне в 1909 г., но гораздо больше и подробнее его мемуары, где целая глава посвящена Гершензону. Там Белый писал: «Он стал для меня родным, он на все “мое” откликался». И еще: «Он казался мне ... каким-то гением стихий, оплодотворявшим Москву умственной жизнью ... он бурлил – на Москву, на Россию, на мир из маленького кабинетика».

У Гершензона Белый встречался с другими авторами «Вех», с Бердяевым, с Булгаковым, но в противоположность Бердяеву, «потчевавшему третьягодняшним, уже остывшим блюдом», у Гершензона он, по его выражению «*лакомился, так сказать, у самой плиты*». «Он не только поддерживал добрым словом, но всюду, где мог, укреплял мое реномэ». Он открыл «для меня страницы журнала (“Критическое обозрение”), набитого профессорскими именами». Попав в сети Гершензона, получая от него «семена мыслительности» и «лакомясь у самой плиты», Белый стал с аппетитом кушать пирог с черносотенным изюмом, выпеченный Гершензоном в конце 1908 г. для «Вех». Он глубоко проникся духом статьи Гершензона с теми к ней словесными добавлениями, которые слышал я, а он еще больше. От журнала символистов «Весы», наполнявшегося статьями Белого, перейти к «Вехам», к позиции Гершензона, было тем легче, что Белый тоже всегда утверждал «первенство духовной жизни над внешними формами общежития». И если Гершензон бичевал «общественность, заполонившую сознание», то то же самое не менее яростно делали «Весы», постоянно указывая, что эта общественность, вторгаясь в литературу, поэзию, во все искусство, принижает его до уровня «вульгарной прокламации». Понятно, почему немотствовал Белый, не отвечая на мои вызовы,

а Гершензон эти вызовы игнорировал, делая глухое ухо, когда я напоминал о том, какого рода речи держал Белый в Петровско-Разумовском. Очевидно обо всем этом они уже достаточно говорили. Гершензон выбил из его головы петровско-разумовские мысли о кремневых людях, призываемых делать вторую революцию[26], но все же, щадя «реномэ», самолюбие Белого, об этом говорить не считал нужным (кое-что, как я покажу, у него все-таки прорвалось). Ведомый Гершензоном, и сменяя в конце 1908 г. вехи – а постоянно менять их отвечало его натуре – Белый отвернулся от «общественности», притягивавшей его в 1905 и 1907 гг. и почти весь 1908 г. С революции он «сдирал» ее ореол, а с руководительницы ее – интеллигенции – «маски». Взгляды, усвоенные от Гершензона, отразились в созданных после этого произведениях Белого – в небольшой доле в «Серебряном голубе», в громадной – в «Петербурге». Белый говорил: *«Гершензона считаю я крестным отцом романов моих»* («Между двух революций», стр. 297). Однако, в советское время он считал, конечно, нужным тщательно скрывать, в каком направлении Гершензон его «крестил» в «Петербурге». А в этом романе, под влиянием его крестного отца, революция 1905 г. – как мы уже видели – изображена в отвратительном, отталкивающем виде: она делалась «сонмищем больных», оторванных от народа, «кучкой искалеченных душ», бесами, бесенятами, пораженными бредом, отравленными алкоголем и развратом. Сей роман, появившийся в 1913 г. в сборнике «Сирин», был горячо одобрен Гершензоном и двумя другими авторами «Вех», Бердяевым[27] и Булгаковым, но П. Б. Струве, несмотря на все давление на него, отказался печатать его на страницах «Русской Мысли».

---

[26] Какая ирония! Тот же Гершензон, девять лет спустя, будет приветствовать приход к власти «кремневых людей, пахнущих огнем и серою».

[27] Бердяев об А. Белом: «Как писатель и художник, он стоит многими головами выше Горького, в нем были черты гениальности».

Когда, благодаря общению с Белым, знаешь, что́ влияло на создание «Петербурга», анализ этого произведения, проделанный, например, Мочульским, видевшим в нем какие-то отзвуки поэм Пушкина, представляется *полнейшим недоразумением.* «Куликово Поле» Блока наложило на «Петербург» печать некоторых внешних схем («влияние Востока»), но сильная руководящая линия в нем исходит, разумеется, не от Пушкина, а от Гершензона. Своими постоянными переосмысливаниями и разноречивыми толкованиями «Петербурга» Белый сознательно и бессознательно скрывал этот факт: толчок, испытанный им от того, что он позднее назвал «черносотенным заскоком Гершензона», был отнюдь не минутным.

Здесь снова я хотел бы возвратиться, хотя на это не раз уже обращалось внимание на предыдущих страницах, к тому, как мало можно верить Белому в его автобиографических рассказах. Для доказательства приведу большую выдержку из «Между двух революций» – те строки, где Белый описывает свои мысли, убеждения *осенью 1908 г.,* т. е. именно в то время, когда я видел его, слышал о нем от других и потому могу проверить, насколько верно то, что он позднее о себе писал:

«... передо мною, – писал Белый, – взвился занавес, за которым вперилась горгона, каменя все мое существо: ка-пи-та-лизм!.. В созерцании этого зрелища я и стал "мистиком", ибо я пережил свой полон, как "мистический" заговор неведомых "оккультистов", отравляющих своей эманацией все ...

«Ужасы капитализма осознавал я всегда; но теперь я пережил эти ужасы с новою, прямо-таки сумасшедшею яркостью, как нечто, направленное на меня лично; и не совсем верил я, будто ужасы эти – механический результат социального строя, мне виделся заговор; чудилось: нечто крадется

со спины; виделся почти “лик”, подстерегающий в тенях кабинета; слышался почти шопот:

– Я, я! Я – гублю без возврата!

«Фразу эту позднее я вставил в роман “Петербург” в сцену сходящего с ума истерика-революционера ...

«Я ощущением, не мировоззрением даже, переживал в эти годы: убей, полони, но к чему – задразненье? Есть еще, стало быть, что-то, присевшее за капитализмом, что ему придает такой демонский лик; мысль о тайных организациях во мне оживала; об организациях каких-то капиталистов (тех, а не этих), вооруженных особою мощью, неведомой прочим; заработала мысль о масонстве, которое ненавидел я;... но попробуй заговорить в те годы о масонстве, как темной силе, с кадетами? В лучшем случае получил бы я дурака: какие такие масоны? Их – нет... Теперь, из 1933 г., – все знают: Милюков, Ковалевский, Кокошкин, Терещенко, Керенский, Карташев, братья Астровы, Баженов ... люди, с которыми мне приходилось встречаться тогда иль поздней, оказались реальными деятелями моих бредень, хотя, вероятно, играли в них жалкую пассивную роль; теперь обнаружено документами: мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне; припахи кухни я чувствовал, переживая их как “оккультный” феномен.

«Вот в чем коренилась моя тогдашняя мистика: из испуга перед незримою гадиной. Переживания, напоминающие заболевание, долго жили во мне; начались же они в Москве с *осени 1908 г.* ... личные встречи с капиталистами не соответствовали химере; безвкусные, пошлые, себялюбивые хищники, чисто вымытые и любезные, мне казались невинными в сравнении с персонажами бредов моих; и я думал о них: на них просто печать деформации класса; капитализм – ужасное зло; это знал я по Марксу и личному опыту; мировой переворот их сметет; когда он будет? Кто знает? Через сто,

двести лет? Ни Каутский, ни Бебель не давали на этот счет никаких указаний, а с Лениным я был незнаком; капитализм – ненавидимый мною факт; но что тут поделаешь? ...

«Меньшевики, с которыми я часто в эти годы встречался, накачивали меня мирными социал-демократическими представлениями; представления ж о конкрете меня давящего ужаса чуемых адских кухонь оставались не вскрыты; они были "оккультный" феномен, над вскрытием которого долго работало воображенье мое (да и Блока, как оказалось впоследствии). Места им не было в меньшевицкой редакции, где капиталист являлся скорее невинною жертвой несчастно сложившейся для него ситуации: с вида урод, а в сущности до-брень-кий. "Бред" стал реальностью с эпохи войны: открылся ключ к моим ужасам».

Разберемся в этом нагромождении ужасов, испытанных Белым *в конце 1908 г.* В своих мемуарах (1933 г.) он особенно подчеркивает, что в эпоху 1905–1908 г.г. ему пришлось встречаться с некоторыми большевиками. Он упоминает, например, А. С. Тинкер, ставшую позднее, с тридцатых годов, женою В. Д. Бонч-Бруевича, оказывавшего Белому полезное для него покровительство. В общении с большевиками он настойчиво предлагает видеть доказательство его издавна очень революционных воззрений. Что же касается меньшевиков, с которыми «в эти годы он часто встречался», то не подлежит сомнению, что, не называя меня, он имеет в виду только меня, так как никаких других меньшевиков, в сущности, он не знал: он видел раз у меня Череванина, имел одну мимолетную встречу с Загорским, но часто встречался только со мною. Какие были у Белого мотивы меня не называть? Может быть, он не хотел меня «дразнить» и тем вызвать в эмигрантской печати на ответ, который был бы для него неприятным разоблачением? А может быть и по другой причине: вероятно, по сохранившейся у него какой-то ко мне

симпатии, ему было неловко слишком уж бесцеремонно обращаться с моим именем. Потому-то свою «операцию» он производит под прикрытием. Белый язвит, что в то время, когда он «по Марксу» знал, что «капитализм ужасное зло», «горгона» с «демонским ликом», с «адской кухней», подготовляющей войны и все ужасы, «меньшевики», иначе говоря – я, накачивали его «мирными-социал-демократическими представлениями», убеждали, что капитализм «в сущности добренький». Совершенно так же, как в Петровско-Разумовском, он представляет меня стоящим за «лимонадную революцию», а себя сторонником «настоящей революции», делаемой «кремневыми людьми, пахнущими огнем и серою». Нагромождая всякую словесную чепуху, Белый скрывает, что к концу 1908 г. от его революционности не осталось ни малейшего следа. Гершензон ее выпотрошил из его головы. Прежде в речах и писаниях Белого, иногда в очень резкой форме, присутствовали антикапиталистические настроения и фразеология. Они были очень явственны летом 1908 г., когда он составлял сборник стихов «Пепел», посвященный Некрасову, и в предисловии к нему с гневом говорил о «бреде капиталистической культуры». Все исчезло в процессе общения с Гершензоном.

В споре со мною Гершензон, противопоставляя «сонмищу» больной, душевно искалеченной русской интеллигенции «здоровую, живущую цельной душевной жизнью» буржуазию Запада, помпезно утверждал (о том и написал), что эта буржуазия – «могучее орудие Божьего дела на земле». Я крикнул ему, что недалеко от его дома находится церковь «Спаса на Песках», и нужно ожидать, что славянофильствующий г-н Гершензон будет ходить в нее заказывать молебны о здравии европейского капитализма, выпестовывающего буржуазию, которая де «осуществляет Божье дело на земле».

От этой фразы Гершензон пришел в бешенство.

«Не угощайте меня вашими антикапиталистическими шпаргалками. Плюю на них, всегда плевал и буду плевать[28]. Они никогда ко мне не прилипали, а теперь к моему величайшему удовольствию и *Борис Николаевич Бугаев эти антикапиталистические шпаргалки тоже сбросил в помойную яму*».

До этого момента на мои вызовы Белого Гершензон упорно и сознательно не обращал внимания, не желая соглашаться со мною, что Белый повернулся на 180°. Слова, что он «теперь» сбросил «шпаргалки» в помойную яму, вероятно, вырвались у Гершензона невольно, но они разоблачают Белого. Они свидетельствуют, что в конце 1908 г. о «капиталистических горгонах» Белый уже и не думал. То, что он написал потом об этом времени, было выдумкой, ложью. Белый стал встречаться с Бердяевым и Булгаковым, стал писать в «Критическом Обозрении», набитом профессорскими именами (Зелинского, Мануйлова, Озерова, Хвостова, Венгерова, Чупрова, Шершеневича и т. д.), он виделся с кн. Евгением Трубецким, отношения с которым, как и с другими профессорами, сообщает он, приняли «прямо-таки дружелюбный характер». Кто поверит, что в этом «буржуазном» обществе он держал, мог держать, считал нужным держать речи о капиталистической горгоне? Антикапитализм настолько исчез из сознания Белого что позднее в «Петербурге» при описании революции 1905 г. о нем нет и помину, хотя всем известно, что антикапиталистические формулы в ней гуляли и редкая прокламация не кончалась словами: «долой капитализм». В «Петербурге» ни у кого из действующих там революционеров нет этого слова на языке. Есть «туранство», есть «монгольское дело», есть «всадники Чингиз-хана» – и *ни одной фразы против капитализма.* Что же тогда означает «шепот»: «Я, я! Я – гублю без возврата»?

---

[28] Откуда же тогда у него «рев восторга» перед антикапиталистической Октябрьской революцией?

Ведь эта фраза, навеянная, как уверяет Белый, ужасом перед капитализмом, вставлена в «Петербург»? Да, там один раз такой шепот слышит Дудкин, а другой раз Николай Аблеухов. Но ни в какой, даже отдаленной связи с «капиталистической горгоной», он не находится, так как «Я – гублю без возврата» всплывает у Дудкина, когда он видит «монгола» на обоях своей комнаты, а у Аблеухова, когда тот слышит цокание Медного Всадника.

Белый пишет, что документами обнаружено, что мировая война и секретные планы подготовлены оккультистами-масонами. Белый спускается здесь до уровня невежественного агитпропа какого-нибудь колхоза и, будучи хитрым, а в некоторых отношениях рекордно изворотливым, в этого агитпропа превращается сознательно. Дело в том, что в советское время его постоянно щипали и кусали за мистицизм. Обвинение было опасным. После всяких безнадежных попыток доказать, что он никогда не был мистиком, Белый решил все-таки в этом греховном «уклоне» признаться, придав своей мистике сильнейшую революционную, антикапиталистическую окраску. Он стал доказывать, что, ненавидя капитализм, почувствовал «с сумасшедшею яркостью», что за горгоной за занавесом скрываются оккультисты, тайные организации, ненавистные масоны, адские кухни, подготовляющие гнусные заговоры и войну. «Вот в чем коренилась моя тогдашняя мистика: из испуга пред незримой гадиной». Поданная в этом виде, мистика Белого, скрывая свой прежний соловьевский, апокалиптический религиозный характер, приобретая только антикапиталистический, в некотором роде материалистический, аспект, могла уже с удобством приспособляться к агитпроповскому советскому мировоззрению и – на что и рассчитывал Белый – в какой-то мере спасать его от обвинений в поповском реакционном мистицизме. «Товарищи, поймите, ведь я был мистиком только из ненависти

к капитализму, который ненавидите и вы. Я не виноват, что не знал раньше Ленина и диалектического материализма». Это была мимикрия, приспособление к советской среде с пусканием в ход в качестве защитной окраски «горгоны капитализма». Два раза Белого одолевали с особенной силою бредовые мысли об окружающих и преследующих его оккультных силах, каких-то тайных, коварных врагах. Но капитализм в этих построениях *никакой* роли не играл. Бредовые мысли разлагали сознание Белого в Дорнахе в течение приступа сразившей его душевной болезни. И бредовые мысли об оккультистах стали появляться у Белого в конце 1908 г. Кто и что на это его толкал? Это я сейчас покажу.

В феврале 1909 г., незадолго до отъезда из Москвы, я встретился с Эллисом. Он был в подавленном настроении. Его материальное положение было плачевным. В «Весах» (Поляков перестал их финансировать) у него были какие-то большие неприятности: о всех, в том числе о Брюсове и Белом, он говорил с раздражением и на мой вопрос, чтó делает сейчас Белый, с злой усмешкой ответил: «Бегает исповедываться к *раввину* (Гершензону), а потом бежит со второй исповедью к Минцловой».

Остановимся на этой особе.

Минцлову, дочь известного в Москве адвоката, я видел один только раз в кафе на Тверской улице – меня познакомил с нею приехавший из Петербурга Арабажин, двоюродный брат Белого. Она произвела на меня самое неприятное впечатление: толстый обрубок, грязные, желтоватые волосы, огромный, глупый лоб, узенькие свиные глазки и, главное – речи. За два года я привык говорить с символистами, к их «воздуху» достаточно принюхался и на всякие мистические «смутки» мог не реагировать. Но Минцлова раздражала своими таинственными намеками, вроде: «Как маловажно то, что вы говорите, в сравнении с тем или кем, что вот здесь,

рядом с нами находится и нас слушает». «О ком вы говорите?» «Да зачем мне отвечать – ведь все равно вы этого не поймете. У вас нет для этого органов восприятия».

Минцлова была вхожа ко всем писателям и особенно к символистам. В Петербурге она была постоянным гостем и другом Вяч. Иванова, а в Москве «обрабатывала» А. Белого. Осенью 1908 г. Белый действительно бегал не только к «раввину» – проникаться у него духом «Вех». Мысль его бежала и в другом направлении: он входил «в стихию теософических дум», штудировал «Doctrine secrète» Блаватской, посещал теософический кружок Христофоровой, где у него и завязались отношения с Минцловой, уже прошедшей через антропософскую школу Рудольфа Штейнера. «Оккультистка» Минцлова была несомненно *сумасшедшей,* и она околдовала Белого. Так же как Гершензону, он посвящает ей в своих мемуарах целую главу. «*В мое сознание она сумела вложить личинку бреда*». «Догадываясь о ее душевной болезни, я все же не мог не внимать ей». «Я стал объектом почти ежедневных экспериментов ее по умению ослаблять волю; на болевых точках души моей ею брались прямо-таки виртуозно аккорды: – Вы избранный!» Она шептала Белому о разных тайнах, ужасах, таинственных врагах, убеждала, что об этом нельзя говорить вслух, надо шептаться. Она открывала ему свою тайну: она послана «ими» с миссией «возжечь» сердца и создать братства, обновляющие жизнь; к несчастью, она не могла выполнить все обещания, данные «им». Теперь «они следят за ней». «Они решили ее убрать». «Они удаляют ее навсегда от людей». Она должна исчезнуть. Кто это «они»? – спрашивал себя Белый. «Темплиеры, масоны, розенкрейцеры?» – и терялся в догадках. А Минцловой слушался и ей подчинялся: она познакомила Белого с «правилами духовного упражнения», и, уехав в начале 1910 г. в Бобровку (необитаемый помещичий дом с глухонемым служителем),

он там в течение *трех недель* предавался этим упражнениям. Об этом Белый сообщает в мемуарах в берлинской «Эпопее» 1923 г., № 4. Это достаточно свидетельствует, насколько сильно на него было влияние Минцловой, но позднее, в 1933 г., Белый признания переделывает и говорит, что от общения с Минцловой у него остались лишь ненависть к таинственным силам, братствам, всяким «магиям и эликсирам», хранящимся «в подспудных шкафах». Все это неверно: «оккультные силы» с их «заговорами», с «подстерегающими шепотами» и «адскими кухнями» из его сознания не вылетели: только этот «оккультный» феномен, приспособляясь к советчине, он стал объяснять давлением на него «ужасного», им ненавидимого капитализма, который он знал «по Марксу». Минцлова таинственно исчезла из Москвы в августе 1910 г. Что с нею сталось, о том не знает ни один из ее знакомых. Белый делает догадку, что она бросилась в океан, при последнем свидании она шептала ему: «Пучина зовет!... Атлантический океан, я с ним связана!»[29]

Я не зря остановился на знакомстве Белого с Минцловой. Общение с нею отразилось на литературном творчестве Белого. Наполняющие «Петербург» бредовые композиции (бред Дудкина, бред Николая Аблеухова) *им сформированы по типу бредовых рассказов Минцловой,* влагавших в душу Белого «личинки бреда» и производивших на него жуткое впечатление. Он признает, что *«в рисовке бредов она была ослепительна»*. Роман «Петербург», таким образом, создался не под одним каким-либо влиянием, а под синтетическим: в нем можно найти влияние «Куликова Поля» Блока, «Бесов»

---

[29] Вл. Соловьев последние годы был психически больным; Шмидт, уверявшая, что она душа мира, явно сумасшедшая; Блок умер в состоянии помешательства; А. Белый сходил с ума; Минцлова – сумасшедшая. «Касание» к «иным мирам» и «мирам лиловым» даром не проходит. В подчинении мистике есть что-то страшное, губительное.

Достоевского, Гершензона эпохи «Вех», Соловьева и – добавлю – рассказов сумасшедшей Минцловой. Многообразие заимствований ничуть не отымает художественной силы у этого романа. В нем есть очень слабые трюки, но ряд страниц, посвященных, например, сенатору Аблеухову, силен, выразителен. Художественный талант Белого был громаден. Необходимо к этому добавить, что влияние бредовых рассказов Минцловой о таинственных врагах и оккультных силах сказывается, но далеко не в такой степени как в «Петербурге», уже в романе «Серебряный голубь». Он писался в 1909 г. – в период только первых встреч его с Минцловой, она не успела еще тогда заразить его душу огромным бредовым зарядом.

В заключение, в связи с судьбой книги, взятой мною из библиотеки Петровско-Разумовской Академии, скажу о письмах ко мне Белого. Уезжая из Москвы, я условился с моей сестрой, что она отнесет книгу Белому. Моей просьбы она не выполнила и, высылая мне в Киев разные вещи и книги, послала вместе с ними и книгу из Академии. Я немедленно направил ее заказным пакетом Белому. Не получая подтверждения о ее получении и не испытывая большого желания вступать с ним в переписку, я отправил ему только маленькое письмо: всего несколько строк с просьбой сообщить, что книга им получена и передана в Академию. На это в ответ я получил от него длинное письмо, с кривыми строчками, с огромными буквами, причем буквы вроде «у» и «р» своими нижними частями из строчки верхней врезались в нижнюю строку. Письмо, весьма путаного содержания, сообщало, что его роман «Серебряный голубь» начал печататься в «Весах». «Там есть некие места, которые Вам должны понравиться – Вы ведь защищали Шатова» [? ! *Н. В.*]. Белый добавлял, что «очень чувствует» мое отсутствие и рассчитывает, «как то условлено» [? просто выдумка – *Н. В.*], что я скоро возвращусь в Москву. О книге ни одного слова.

Пишу о ней Белому второе письмо. Ответ Белого еще более путаный. Пишет о каких-то врагах, «отравляющих его и без того тяжелую жизнь» (очевидно, Минцлова действовала!), отчаянно – непонятно за что – ругает Брюсова и с огромным умилением пишет о Гершензоне. «Питаю к нему великую, великую любовь и уважение, встречаюсь с ним очень часто». Кстати, прибавляет Белый, «Гершензон просил Вам кланяться, а видеться с Вами не хотел бы». В постскриптуме вопрос: «О какой книге Вы меня спрашиваете? Петцольта я давным-давно Вам отдал, а больше книг у Вас не брал».

Сжимая зубы, шлю Белому третье письмо, как дитяти терпеливо объясняю, о какой книге идет речь. После долгого молчания Белый отвечает. Все, что я писал об итальянской книге, отлетело от него как горох от стены. Он пишет, что внимательно пересмотрел содержание своего книжного шкафа и не нашел в нем ни одной книги, о которой можно было бы сказать, что она принадлежит мне или взята у меня. В том же письме Белый много говорит о своих литературных планах. Прежде всего он намерен составить большую книгу о философской сущности символизма: хочет ясно показать всем «нашим врагам» что́ такое символизм. В эту книгу войдут кое-какие уже появившиеся в печати статьи, бо́льшая же часть ее будет состоять из новых произведений. Один из очерков, «основные мысли которого я неоднократно пред вами развивал, намерен посвятить вам, в знак благодарности за большую отзывчивость и внимание, проявленное вами ко мне во время трудных минут первых мыслительных попыток монтирования философского религиозного каркаса символизма». Нужно ли говорить, что никакого такого посвящения мне очерка Белый не сделал! Параллельно с работой над книгою о символизме, сообщал Белый, он намерен начать подготовку своего второго романа – «Лакированная карета» (речь шла о будущем «Петербурге»). «Михаил

Осипович меня толкает за него взяться скорее». Видя, что о книге из Академии я у Белого ничего не добьюсь, я о моей с ним переписке сообщил проф. А. Ф. Фортунатову, указав, что, если книга не попадет в его руки, не я тому виновник. Конечно, копию письма послал А. Белому. От него последовала холодная и явно недовольная реплика в нескольких строках: «Я измучен работой и всякими неприятностями. У меня нет времени видеть А. Ф. Фортунатова». О книге ничего. На этом наша переписка окончилась.

Содержание

Николай Владиславович Валентинов

Два года с символистами

Воспоминания

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru